ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+

2015

11

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

“СЕРБИЯ И СЕРБЫ”

Основан в 1955 году

Сербское общество на протяжении минувшей четверти века, начиная с падения Берлинской стены и распада Югославии вплоть до наших дней, пережило кризис, который никакая писательская фантазия, какой бы гениальной она ни была, не могла вообразить, описать и объяснить. Этот кризис во многом определил и новое лицо сербской литературы и в значительной степени изменил ее роль в обществе — писатель больше не моральный арбитр и не политический пророк.

Произошло и значительное тематическое расширение сербской литературы. Поиск не упрощенных, не черно-белых ответов на драматические моменты недавней истории, воспоминания о жестких временах, оставивших шрамы в душах людей, в какой-то мере оказал влияние и на характер современной сербской словесности, и на писательское воображение.

И в этом, на наш взгляд, и заключается специфика современной литературы Сербии — ее прозы (главным образом малой прозы), поэзии, драматургии, документалистики.

Мы благодарны всем сербским авторам за любезное разрешение безвозмездно опубликовать их произведения на страницах журнала “Иностранная литература”.

Хотелось бы отдельно поблагодарить Группу компаний “Comita” за помощь в организации выпуска.

Группа компаний “Comita” — международная инжиниринговая компания, активно поддерживающая образовательные, гуманитарные и спортивные проекты в Сербии, России, Греции, Словении и других странах.

Любинка Милинчич,
составитель номера

Comita
Comita Group • Группа компаний Комита

Comita
ГРУППА КОМПАНИЙ

[11]
2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Сербия и сербы

3 Горан Петрович *Снег, следы...* Фрагменты еще не дописанного романа. Перевод Ларисы Савельевой

80 Милена Маркович *Драконоубийцы. Героическое кабаре.* Пьеса. Перевод Ларисы Савельевой

Из современной поэзии

132 Любомир Симович, Борислав Радович, Томислав Маринкович, Гойко Божович, Мирослав Максимович. Перевод Жанны Перковской

Антология новеллы

146 Давид Албахари *Тайное общество.* Перевод Василия Соколова

162 Михайло Пантич *Клуб замерзающих.* Перевод Ларисы Савельевой

174 Владимир Тасич *Тайная история электронной музыки.* Перевод Василия Соколова

187 Александар Тишма *Величайший знаток в мире.* Перевод Василия Соколова

200 Гордана Чирьянич *Эрогенная зона.* Перевод Василия Соколова

212 Милица Мичич-Димовска *У перекрестка.* Перевод Василия Соколова

219 Радован Бели-Маркович *Возвращение Лазара Дражича.* Перевод Василия Соколова

229 Мирьяна Павлович *А где здесь я?* Перевод Евгении Шатько

237 Драган Великич *Трактат о тишине.* Перевод Ольги Панькиной

Из классики XX века

242 Жанна Перковская *"Как воздух, вдыхаемый нами ежесекундно..."*

244 Стеван Раичкович *Стихи.* Перевод Жанны Перковской

247 Иван В. Лалич *Стихи.* Перевод Жанны Перковской

Литературное наследие

249 Стефан Лазаревич *Слово любви.* Перевод Ольги Панькиной. Вступление Любинки Милинчич. Перевод вступления Василия Соколова

Документальная проза

253 Юрий Лобачев *Когда Волга впадала в Саву.* Фрагмент книги. Перевод Ольги Панькиной

Писатель путешествует

266 Йован Максимович *В гостях у Толстого.* Перевод Василия Соколова

Библиография

273 Сербская литература на страницах "ИЛ"

Авторы номера

279

© "Иностранная литература", 2015

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

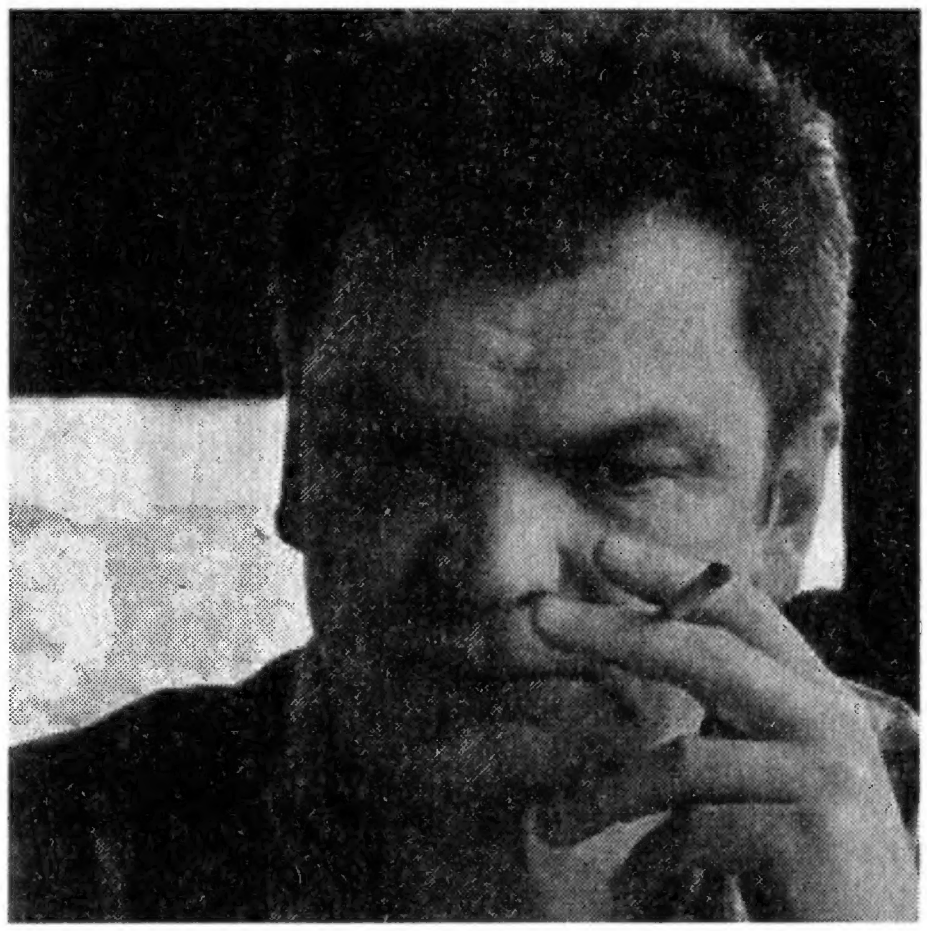
М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Горан Петрович



Снег, следы...

Фрагменты еще не дописанного романа

Перевод Ларисы Савельевой

I

ДО СНЕГА НЕ ПОМНЮ НИЧЕГО. Много раз я пытался вернуться назад, пробиться сквозь пелену белого, но мне не удавалось перейти границу памяти. Иногда я сомневаюсь: а было ли что-нибудь до снега.

ВАЛИЛО, КАК НЫНЕШНЕЙ НОЧЬЮ. Щедро... Сейчас я знаю, снег — утешение. Меньше видно всякой всячины. И хотя можно догадаться, что там, под сугробами, с холма все выглядит чистым, неиспорченным, словно на миг нам все прощено, словно дана неожиданная и, конечно же, незаслуженная возможность начать наши жизни с самого начала.

Окна изнутри затуманены дыханием, снаружи засыпаны метелью. Там, снаружи, осталось несколько мерцающих станционных фонарей, да и они, похоже, затухают. Подмигивание стрелок и сигнальных огней вдоль полотна едва заметно. Но я чувствую, даже в такой темноте, что все вдруг стало иным — кротким, успокаивающе простым.

© Горан Петровић, 2015
© Лариса Савельева. Перевод, 2015

Поэтому, несмотря на холод, открываю разбухшие створки окон, ветер подхватывает пыльные шторы, вышвыривает их через проем наружу, хочет оторвать... И я, несмотря на возраст, наклоняюсь, вытягиваю обе руки, насколько могу... Да и правда, стоит одной-единственной снежинке упасть на лоб, на щеку, на ладонь, и человек чувствует, что не одинок, что к нему прикоснулось что-то небесное, забытое.

Прислушиваюсь... Слышны стоны усталых балок потолка... Скрип снега, скапливающегося на крыше... Слышно тарахтение обезумевшего флюгера, внизу, над коньком склада... Шуршание выстиранных и задубевших на морозе спецовок, забытых на веревке... Где-то далеко, в горах, в лесу, треск сосновых веток под тяжестью снега и писк расщепляемого морозом ствола березы... Слышно мелкое поскрипывание наста под лапами зверья, вопреки страху перед людьми спустившегося с гор в поисках пищи... И слышны все более сильные удары моего сердца — это мог бы быть тот снег, который не прекратится, пока не покроет все, совсем все. Это могла бы быть та ночь, которую я так долго ждал.

Сейчас, под конец жизни, я знаю, что снег — большое утешение. Однако тогда я был напуган.

СЛЕДЫ. Помню, как я оглянулся и увидел, что первые отпечатки моих сапожек и топтавшихся вокруг меня полуботинок взрослых, уже не видны.

И еще помню, что оглядывался несколько раз, и всякий раз оказывалось, что заметны лишь свежие, только что оставленные следы. Остальных не видно.

Когда меня, наконец, подвели от фасада главного станционного здания к двери в вестибюль на крытом крыльце, увешанном сказочной бахромой сосулек, снег полностью заровнял углубления от шагов вдоль железной дороги. Теперь совсем нельзя было понять, откуда я здесь взялся.

Позже оказалось, что неизвестно и то, в каком направлении следовал поезд. Да, все утверждали, что это был "Восточный экспресс". По крайней мере, на этот счет сомнений не было. Однако прибыл ли он с востока или с запада, то есть из Стамбула или Парижа, незадолго до полуночи или сразу после нее, осталось невыясненным. И еще долгие годы, и для досужего народа за столиками, и для изрядно выпивших, это оставалось излюбленным предметом ожесточенных споров, ссор, поводом для драки, иногда даже бывало, что кто-то хватался за нож или палил в потолок зала "Ресторации"... Правда под конец, независимо от масштаба стычки, стороны примирялись, обнимались, заказывали друг другу выпивку, даже братались, соглашаясь с тем, что то событие имело истори-

ческое значение. “Симплон-Восточный экспресс” тогда в первый и последний раз остановился на узловой станции Ч. Той ночью, и больше никогда.

Знаменитый состав простоял всего пару минут. Этого оказалось достаточно, чтобы последняя дверь последнего пульмановского вагона открылась. И я оказался снаружи.

ПОЧТИ ВСЕ БЫЛО БЕЛЫМ. Сквозь снежную вьюгу, то тут, то там смутно виднелось черное или сизое. Признаюсь, не уверен, что смог бы вспомнить другие цвета. Кроме неярких красных деталей... Темно-красный огонек за стеклом фонаря в руке у путейского рабочего. Темно-красная засохшая капля крови на носовом платке стрелочника, которым он то и дело вытирал свое облысевшее темя. Темно-красные нашивки на рукавах шинели дежурного по станции. Темно-красный околыш фуражки начальника станции. И позже, в служебной квартире, на втором этаже главного станционного здания, — темно-красная помада на вопросительно сложенных губах жены начальника станции. А когда она, такая большая, наклонилась, чтобы получше меня рассмотреть, я заметил, что и зернышки кораллов в ее сережках тоже были темно-красными.

Другим оттенкам я дал названия позже, со временем, в зависимости от того, с чем они для меня оказались связаны. В сущности, к старости я стал заполнять цветом контуры воспоминаний с такой же страстью, с какой дети разрисовывают “раскраски”. Постельное белье, которым меня тогда укутали, было цвета увядшей, полегшей мальвы. Цвет чая за завтраком я назвал бы крепко-зеленым. Куриный суп за обедом дымился паром, но не настолько, чтобы не увидеть, что он прозрачно-желт. Натертую тыкву в сладком пироге за ужином я бы описал как печено-оранжевую. Трубочный табак начальника станции был определенно густо-золотым. Жена начальника станции куталась в вязаную шаль цвета безбрежно синего неба. Ваза для фруктов, из альпаки, на столе в столовой поблескивала лунным старо-серебряным. А яблоки в ней — три маленьких солнца — рдеющим зрелорумяным. В то время как ковер на полу комнаты с вытканным узором “Древо жизни” являл собой неописуемое сплетение всех этих и множества других красок.

ТО ЖЕ И СО СЛОВАМИ. Сначала я собравшихся людей не понимал. Все же не могу утверждать, знал ли я этот язык или со временем выучил и сроднился с ним. По тону и мелодии я как будто что-то угадывал...

Человек с фонарем, путейский рабочий: говорил бессвязно, но громко, он был взволнован больше всех, не успевал до-

кончить одной фразы, как уже начинал новую, слова сбивались в кучу, в неразберихе толкались и спотыкались, а потом на холоде разлетались в стороны от краев облачка пара из его рта...

Человек с голой головой, стрелочник, повторял, как мне казалось, одно и то же, ему не удавалось продвинуться дальше нескольких слов и вздохов, он отдувался, постоянно оглядывался, то мял в руках носовой платок, то почесывал лысое темя, да так часто, что открылась старая ранка, царапина, возникшая от вечного расчесывания, из нее поползла темно-красная капля, и тут ему пришлось вытереть кровь уже со лба...

Человек с нашивками, дежурный по станции: этот, похоже, ни разу не сказал что-то свое, от себя, он то и дело тянулся к внутреннему карману шинели, доставал то ли тетрадку, то ли брошюру, позже я узнал, что это "Инструкция по обращению с найденными предметами", и зачитывал оттуда, что́ предусмотрено в такого рода случаях, время от времени указывая на меня диском на ручке, который дежурные по станции поднимают по прибытии или отправлении поезда, а во всех других случаях важно держат под мышкой, с достоинством вышагивая вдоль перрона...

Человек в фуражке, начальник станции, долго ничего не говорил, слушал, что рассказывают подчиненные, молчал и молчал, потом прошептал всего одно слово, я не слышал какое, но этим словом он определил мою дальнейшую судьбу...

Женщина с накрашенными губами и коралловыми сережками, жена начальника станции, говорила медленно, убедительно-ласково, в ее голосе мерцала забота, она округляла слова, стараясь, чтобы каждое получилось ласковым, и, на всякий случай, дополнительно выделяла гласные звуки...

Видно поэтому, первыми словами, которые я понял, а может быть, и выучил, были именно ее слова. Прежде чем уложить спать и закутать со всех сторон одеялом, она подвела меня к окну, раздвинула занавески, вытерла запотевшее стекло и указала на то, что за ним. Сказала:

— Снег. — А потом показала на себя. Добавив: — Джула.

Так получилось, что снег — это не только самое раннее, что я нахожу в своей памяти, но и первое слово, которое я запомнил. Снег.

Затем следовало имя крупной, нежной женщины. Джула.

РУКИ. Должно быть, это был полированный латунный поручень последней двери последнего пульмановского вагона "Симплон-Восточный экспресс", держась за который было легче спуститься по ступенькам на перрон. Скорее всего,

сам поезд я покинул спиной вперед, как это обычно и делают дети. В любом случае без перчаток было больно, правая ладонь прилипала к холодному металлу, подушечки пальцев ужасно пекло...

Потом, на перроне, моя ладошка оказалась в ладони путейского рабочего. Боже, какой же большой и теплой была она у этого человека. Позже я убедился в том, что у всех путейских рабочих грубые, но большие и теплые ладони, похожие на деревянные лопаты для хлеба.

Потом, когда мы немного прошли вдоль путей, рабочий передал меня стрелочнику. Тот был объят постоянным страхом сделать какую-нибудь роковую ошибку, и из-за этого вечного кошмара его ладонь была потной. И позже я убедился, что у всех стрелочников потные ладони, они постоянно теребят носовые платки, им постоянно мерещатся сошедшие с рельсов железнодорожные составы, вагоны которых переворачиваются и летят в пропасть, или лобовые столкновения двух поездов, проследовавших навстречу друг другу на красный сигнал семафора.

Потом, не доходя нескольких шагов до главного здания станции, стрелочник передал меня дежурному по станции. У дежурного по станции рука оказалась крепкой, она свидетельствовала о том, что с ним не пошутишь, все должно соответствовать Служебной инструкции и Расписанию движения поездов, железная дорога — это огромный и более чем сложный механизм, в котором у каждого свое, строго определенное, место, и достаточно зубцам одной шестеренки не совпасть с зубцами другой шестеренки — все запнется, развалится и покатится в разные стороны. И позже я убедился, что все дежурные по станции имеют особенность: руководить людьми без снисхождения, а техникой без колебаний, решительно.

Потом дежурный по станции, перед дверью в вестибюль, передал меня начальнику станции. У того ладонь была другой. Ни холодной, ни теплой, ни сухой, ни потной, ни слишком мягкой, ни слишком жесткой... Вообще-то, позже я убедился, что у всех начальников станции такие, другие, ладони. Будто и их руки говорят, что они здесь временно, на неопределенный срок, вечно между одним и другим назначениями, чаще всего до перевода в еще большую глушь. А может быть — почему бы и нет, человеку свойственно надеяться — и до перевода в столицу, на улицу Неманину, в один из прекрасно отделанных кабинетов только что законченного здания Министерства транспорта Королевства Югославии, где одновременно находится и Генеральная дирекция государст-

венных железных дорог. По размеру и количеству кабинетов считающегося в последние семь или восемь лет самым большим зданием на Балканах. Настолько большим, что посетитель, особенно если он из провинции, особенно если хочет передать какое-нибудь заявление или жалобу, особенно если не приготовил для нужного чиновника “смазку”, может в поисках нужного ему окошка или кабинета блуждать здесь целыми днями и даже совершенно бесследно исчезнуть в лабиринте лестниц и коридоров.

И в конце концов начальник станции в служебной квартире на втором этаже главного здания узловой станции Ч. передал меня своей жене. Такая крупная, что ей трудно было наклоняться, она посмотрела мне прямо в глаза, улыбнулась... И тут же прижала к себе. За всю свою жизнь она еще такого не делала, она не могла иметь детей, но все ее несостоявшееся материнство разом, неосознанно, проявило себя в этом объятии. Позже я убедился в том, что все женщины, какими бы они ни были страстными любовницами, время от времени чувствуют потребность обнимать заботливо, как матери.

ОНА ПАХЛА СОБОЙ. Никогда потом я не чувствовал больше такого запаха, и мне не с чем его сравнить и хотя бы приблизительно как-то назвать. А ведь говорят, что обоняние отказывает последним. Человек помнит тот или иной запах даже тогда, когда все остальное уже потонуло в забвении.

Снаружи пахло снегом. Хотя время от времени, когда ветер менял направление, чувствовался тяжелый, удушающий дым из очагов в рабочих бараках на том конце виадука, за путями. Здесь, кроме как для локомотивов, всегда использовали самый плохой уголь, да еще и подмачивали его водой, чтобы медленнее горел. В Ч. никогда нельзя было предсказать, насколько длинной окажется зима, бывало, прихватит уже в октябре, а отпустит только в апреле. Еще меньше было известно, а не забудут ли в столице про них, про эту глушь, пришлют ли достаточный запас? Как это забудут?! Хм, как? А вот так! С постоянным расширением сети железнодорожного сообщения станция утрачивала свое былое значение... Поэтому и сбрызгивали водой уголь для отопления рабочих бараков и мастерской. А со временем сложился не вполне приличный ритуал, когда на эту лежащую под навесом кучу, расставив ноги и мурлыча под нос любимый мотив, облегчался после излишка горячей ракии кто-либо бредущий из “Ресторации”. Не знаю почему, доказательств у меня нет, да и не мог я тогда знать ни эту, ни любую другую песню, но я уверен, что той ночью с того конца виадука доносилось с запинками: “Все сча-

стье ищут на этом свете... и в Белый город свои пути... и ты не первый, и ты не третий... кто хочет счастье свое найти...". А может быть, я слушал этот шлягер несколькими годами позже. Причем столько раз, что все у меня в голове перепуталось.

Снаружи пахло снегом и дымом из очагов рабочих бараков, а внутри — только что закипевшим компотом из сушеного чернослива, крышка уже пританцовывала... Пахло яблочной кожурой: рядом с раскаленной плитой она от жара съежилась и свернулась клубочком... Пахло трубочным табаком, который начальник станции тайком от жены, стоило ей повернуться к нему спиной, приправлял щепоткой драгоценной молотой корицы... И время от времени пахло чернилами, которыми он каждую ночь писал подробнейшие служебные письма, составлял всякие протоколы... Да-да, пахло даже свежими чернилами — если пузырек как следует потрясти и быстро открыть, от него дохнет чем-то похожим на "эликсиры" торгующих вразнос аптекарей-шарлатанов и других обманщиков, продающих заговоры от хвори и порчи. Правда, этот запах, как и магия их слов, тут же бесследно улетучивался.

Всему можно было подобрать имя, одному только запаху Джулы я не мог дать определения. Но помню его и сейчас. Она пахла собой.

ОТКЛОНЕНИЕ. Та ночь была важной. Очень важной. Нужно иметь в виду, я тогда этого не знал. Джула мне рассказала позже. Или я со временем выдумал эту историю из потребности все распределить по своим местам, установить хоть какую-то последовательность происходивших событий, объяснить самому себе, почему я здесь остался.

Так или примерно так, но начальник станции той ночью, как и требовала его должность, собирался зарегистрировать странный случай с "Восточным экспрессом". Он взял у дежурного по станции "Транспортный журнал станции", имея в виду переписать из него в "Протокол об отклонениях за 1931 год" все детали произошедшего. Все служебные записи в этих документах должны совпадать, до каждой буквы, до каждой цифры.

Первое: числа такого-то и такого-то, во столько-то часов и минут, международный поезд номер такой-то, следовавший оттуда-то, пересек границу станции Ч. с соблюдением соответствующей скорости и в соответствии с командами сигнализации.

Второе: здесь он, вопреки предписанию "Расписания поездов", резко остановился.

Третье: очень недолго, примерно столько-то и столько-то, он оставался, железнодорожники говорят “стоял”, на первом пути.

Четвертое: затем “Симплон-Ориент экспресс” тронулся в прежнем направлении. Перед этим никто из поездной бригады не появился, как того требуют правила, чтобы объяснить персоналу станции причины остановки на непредусмотренной станции. (А ведь чисто по-человечески — хотя это и не для служебной бумаги — остановиться, а потом, когда местные железнодорожники уже бежали в сторону состава, тронуться было просто неприлично.) Было ли это распоряжением начальника маршрута “Восточного экспресса”? А может быть, поезд остановился по техническим причинам или из-за невиданной метели? Или кто-то по ошибке или умышленно потянул ручку аварийной остановки “стоп-кран”? Или же налицо глупая шутка, баловство?

В последней графе “Протокола об отклонениях”, в графе называвшейся “Комментарии”, обычно пустой, начальник станции написал: “После отбытия состава на перроне обнаружен мальчик. Один. О том, что потеряно или найдено малолетнее лицо утром сообщить телеграфом и составить “Сообщение о розыске” с соответствующим описанием”.

Однако ничего из перечисленного в “Комментариях” так никогда и не было сделано. Той ночью Джула разговаривала с мужем. Это означает, что он все время повторял одно и то же: “Не проси, Джулка, не могу...” Он любил ее так называть, ласково, как когда-то, когда они только обручились, когда она была стройной как молодое деревце, хотя с тех пор несколько прибавила в весе, соответственно, и в объеме талии.

Он все повторял и повторял, но Джула не отступалась, настаивала: “Калоперович, выбирай! Или я уезжаю, первым утренним... Я больше не могу! Хватит! Что это у тебя за очередные назначения, каждый раз все хуже и хуже, как в наказание... А я всегда с тобой. Что я такое, в самом деле?! Твой чемодан, только из человеческой кожи! Смотри, какая я стала, вот-вот лопну, а все ем и ем, одна страдаю из-за несправедливости к нам обоим. Свои желания я давно уже отставила в сторону, чтобы хватило места для твоих... Соглашайся, Джулка, на это... Поддержи, Джулка, то... Ты, Калоперович, хороший человек, поэтому я тебя и люблю, но знай, они никогда не пошлют тебя в нормальное место. Ты не стучишь кулаком по столу, не звонишь каждый день начальнику отделения, чтобы поныть и пожаловаться, не поздравляешь шефа по телеграфу с днем рождения, не посылаешь ему с почтовым вагоном немножко сырка, колбаски и

шкварочек под Рождество... Даже твой собственный кум, а он занимает высокое положение, годами не интересуется твоими делами. Они, Калоперович, ничего от тебя не ждут. А что еще хуже, они тебя не боятся. Поэтому они тебя просто забыли... Живу на узловой станции, муж у меня — начальник станции, а все мои путешествия — это сесть в углу, поставить ноги на педаль "зингера" и строчить, строчить, торопясь залатать дырки, которые ты прожигаешь углями из своей дурацкой трубки. Хорошо я нагулялась, по-барски, мир повидала: целых две стены, да еще и паутину в углу... Выбирай! А не то с первым же утренним уеду... И вещи складывать не буду. Все тебе оставляю! И баночку с корицей! Думаешь, я не вижу как ты шаришь на кухне, хотя я тебя и просила не тратить корицу, она дорогая, она мне нужна для сладкого пирога с тертой тыквой! Пожалуйста, она твоя, пользуйся, хоть всю в табак себе высыпи! А я, если только вспомню свою девичью фамилию, твою носить больше не собираюсь! И имей в виду, этого ребенка я заберу с собой!"

Калоперович все повторял: "Ладно, Джулка, обещаю, к корице не притронусь больше... Не надо, Джулка... Не могу, Джулка... Это не по закону, Джулка...", но в конце концов, уже на рассвете, взял новый пузырек с чернилами, потряс, открыл и половину его вылил на открытую страницу "Транспортного журнала станции", а оставшуюся на открытую страницу "Протокола об отклонениях за 1931 год". Запахло "эликсиром". Когда чернила высохли, прочитать проезжал ли здесь "Восточный экспресс", было невозможно, а тем более невозможно было узнать, откуда он прибыл и сколько стоял. Так начальник станции, хотя бы отчасти, успокоил свою совесть. Он, если дело дойдет до расследования, пожалуйста, все зафиксировал. Только вот...

— С кем не бывает, — сказал он удивленному дежурному по станции. — Очень, конечно, неприятно.

В любом случае, так оно было или не так, в "Транспортном журнале станции" и в "Протоколе об отклонениях за 1931 год" это единственные чернильные пятна. Все остальное подробно описано дежурным по станции или разборчивым почерком Калоперовича, а из-за разлитых чернил не видно только то, единственное, что меня интересовало. Бесчетное число раз я подносил эти страницы к окну, пытаясь рассмотреть, что скрывается под чернилами. Тщетно.

Поэтому одни могли утверждать:

— Тебя оставили.

Другие:

— Тебя потеряли.

А Джула меня обнимала:

— Хороший мой, не плачь... Бог с ними, у них своей жизни нет, вот и судят о чужой... Солнышко мое, то, что "Восточный экспресс" остановился здесь, никакое не отклонение, как они хотели написать в своих протоколах! Да, пусть отклонение! Но будто я не знаю... Это было чудо, дело рук самого́ святого Николая! Это он, чудотворец, прислал тебя сюда!

ИМЯ. Постоянные ссылки на чудо и святого Николая, защитника детей, рыбаков, кораблей, мореплавателей, вообще путешественников, а как я узнал позже, и заключенных, привели к тому, что у меня появилось имя.

Снег все еще шел. Она подвела меня к окну. Раздвинула занавески. Вытерла запотевшее стекло. И показала на то, что за ним. Сказала так же, как и в ту ночь:

— Снег. — Потом показала на себя. Снова добавила: — Джула. — Потом показала на меня. Впервые выговорив: — Никола.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ. Это имя никогда не стало официальным, потому что у меня никогда не было никакого документа, ни выписки из "Книги записей рождения", ни выписки из "Книги записей крещения", ни медицинской страховки, ни заверенной справки о группе крови, ни ученического билета, ни военного билета, ни трудовой книжки, ни удостоверения личности, ни проездного билета, ни любого другого документа, не было даже обычной справки о регистрации временного пребывания ни в одном из нескольких государств, в которых я жил. Можно предположить, что после меня не останется записи и в "Книге записей смерти". А потом настанет день, когда никто не сможет достоверно подтвердить, что я вообще существовал.

Отчасти вина за это лежит на моих приемных матери и отце. Они боялись, что все обнаружится, если они отвезут меня даже в ближайший город к доктору: несколько месяцев что-то было не в порядке с подушечками пальцев на моей правой руке. Обожженные холодом чувствительные кончики пальцев могло повредить, до крови поцарапать, все более или менее шершавое, даже сухие хлебные крошки. А о том, что Джула и Калоперович никогда и не начинали оформление процесса усыновления, я даже не говорю. Поэтому обо мне не знало ни государство, ни церковь, ни здравоохранение, ни просвещение, ни армия... А может, и к лучшему, что все так получилось. В противном случае еще неизвестно, дожил бы я до своих лет или нет.

Но одно знаю, и позже мне это казалось забавным. Такая махина, такой мощный порядок, который проникает повсю-

ду и тщательно ведет учет всей территории и собственности, сознания людей и их тел, ума и силы, а вот, однако же, не знает обо мне бедном, потерянном на узловой станции. Опять же и я иногда себе это представляю, что наверняка они все-таки как-то меня чувствуют, хотя не могут точно объяснить, что им так мешает, — чешется, жмет, — но, должно быть, все-таки чувствуют, что кого-то они пропустили, кого-то не учли. И это, эта мысль, иногда наполняет меня неописуемой радостью.

Правда, можно трактовать это и так, что Джула и Калоперович поступили эгоистично, что они отчаянно хотели сохранить меня только для самих себя. Но если бы они поступили иначе, по закону, позже я, видимо, оказался бы в Доме для сирот и малолетних без родительского надзора, и кто знает, что бы со мной стало.

Потому что если я потерялся, то почему меня никто никогда не искал, обо мне как будто никто не произнес ни слова. В свое время я просмотрел объявления во всех доступных мне газетах за 1931-й и два следующих года. Бывало, люди публиковали сообщения о потере котенка, щенка или канарейки, тратили массу слов на описание четвероногого члена семьи или пернатого любимца, но ни о каком мальчике не было и упоминания...

А если меня бросили, я не уверен, что те, кто это сделал потом могли спокойно, как люди, дышать — ведь кем надо быть, чтобы бросить ребенка среди такого снега. Да еще и без перчаток. Да еще и именно здесь. В местечке Ч., окруженном несколькими горными хребтами.

ЗИМА. Что только ни делали Калоперович и Джула, что ни выдумывали, как ни выкручивались, это я узнал позже — оттуда, отсюда.

Он в начале той зимы повторял и повторял, что самое позднее завтра или послезавтра протелеграфирует в Белград и сообщит кому следует. Подчиненные только диву давались, потому что начальник станции слыл человеком исполнительным и такого его небрежного отношения к своим обязанностям они не замечали и в менее важных случаях. Вот он, осторожно, тук-тук, в дверях кабинета — его вечный заместитель хотел бы кое-что сказать...

— Знаю, знаю... Как раз думал послать депешу под грифом “срочно”, но телеграфист со вчерашнего дня на больничном... Отправили на три месяца в “Санаториум”, ему разные голоса слышатся... А вот ведь считается, что у телеграфистов жизнь, как сахар, сидят в тепле, работа не пыльная, можно сказать, наслаждаются жизнью, и вдруг, видите, страшные

последствия, в каждой профессии есть свой риск... — говорил Калоперович заместителю, стараясь чем угодно замутить совершенно ясную тему разговора. — Кстати, а как вы считаете, что, если нам в этом году покрасить скамейки в зале ожидания, а в вестибюле подвесить к столбам горшки с душистой геранью? И вот еще, но никому ни слова, только вам говорю, хочу, чтобы это стало сюрпризом... Я решил заказать "Bahnhofautomat", музыкальную машину из Швейцарии! Чтобы пассажирам было чем развлечься, когда им приходится проводить здесь некоторое время... Все-таки мы серьезный государственный железнодорожный узел, а не какой-нибудь там переезд рядом с деревней.

Она в середине той зимы заказала по каталогу несколько отрезов тканей и подкладки, катушки с нитками и пуговицы, и принялась меня обшивать. И "зингер", словно почувствовав, что на этот раз речь идет не о починке и заплатках, не капризничал, не останавливался, не зажевывал материал, не ломал иглы. Строчил и строчил, как будто понимал Джулину радость, оттого что шьет новое, для новой жизни, для ребенка. Эгей, новая жизнь, что может быть лучше. А когда наложенным платежом прибыло и несколько пар обуви, Джула избавилась от одежды, в которой я здесь появился. Пальтишко до колена, сапожки на шнурках, шаровары, шарф, шапка с козырьком, даже носовой платок, все это, постиранное и выглаженное, было сложено в ее старый чемодан, извлеченный из-под супружеской кровати, из которого она без всякого сожаления повытаскивала долго хранившуюся там девичью дребедень: все еще пахнущие духами приглашения на церемонию обручения и венчания, вышедшие из моды банты, два-три платья, впрочем давно уже тесные... Однако ей не удалось самостоятельно перетащить этот чемодан на чердак служебной квартиры, а поскольку она не хотела, чтобы о нем знал даже и Калоперович, то позвала первого же железнодорожного рабочего, которого увидела в окно.

— Если вам не трудно, знаете, я тут делала генеральную уборку, там кое-какие ненужные вещи... — неловко притворяясь, бормотала Джула. — Не годится, не дамское это дело карабкаться вверх по лестнице. А вы такой сильный. Ох, какие у вас руки, прямо лопаты для хлеба.

ВЕСНА. Что только ни делали Калоперович и Джула, что ни выдумывали, как ни выкручивались.

Он в ту весну навсегда избавился от самого опасного свидетеля, дежурного по станции, который, чуть что, лез во внутренний карман шинели то за одной, то за другой инструкцией. Этот дежурный никогда не допустил бы, чтобы что-то

делалось с нарушением инструкций, изложенных в брошюре “Порядок работы станции”, рано или поздно донес бы на него. Поэтому Калоперович тайком, изо дня в день, мучаясь, сочинял и наконец сочинил о нем хвалебную оду, занявшую целый двойной лист бумаги в клеточку, предложив “указанному выше адресату”, то есть Верховной комиссии по оценке работы служащих и чиновников, перевести дежурного по станции, да не куда-нибудь, а в Белград. При этом следует иметь в виду, что столичный вокзал для многих железнодорожников совершенно недостижим, хотя другие вокзалы находятся в чуть большем или чуть меньшем удалении от столицы. Прикрывая избытком слов недостаточную убедительность, он писал: “Уважаемые господа, обращаюсь к вам потому, что только там, в нашей столице, многочисленные достоинства этого исключительного человека наконец-то смогут проявиться в полной мере и послужить процветанию государственного и межгосударственного железнодорожного сообщения”.

— Коллега, поздравляю! А еще говорят, что нет справедливости! Хотя, конечно, мне жаль, ваш отъезд для нас невосполнимая потеря... — Калоперович скроил опечаленное лицо, прощаясь с “неожиданно” получившим повышение дежурным по станции. — Завидую вам... С другой стороны, нет худа без добра, у меня теперь появилась надежда. Я знаю, что в столице вы будете изо всех сил способствовать тому, чтобы наш транспортный узел Ч. получил тот ранг, которого заслуживает...

Она в ту весну сначала пыталась что-то объяснять, хотя никто ее ни о чем не спрашивал, говорила, что не очень-то хорошо, что я хоть и временно, но нахожусь у нее, потому что она, знаете, не привыкла, у нее нет опыта с детьми, это слишком большая ответственность...

— Да и не хватает у меня нервов целый день заниматься с ним, — говорила Джула всякому, кого ни встретит, стараясь выглядеть недовольной. — Сколько же всего этому ребенку нужно! То одно, то другое, и завтрак, и полдник, и обед, и чай, и ужин... Купание, переодевание, перед сном обязательно, изволь, рассказывай сказку без конца и без начала... Да еще и эти его обмороженные пальцы, с таким трудом я его вылечила, к каждой подушечке прибинтовывала ветошь с гусиным жиром, проваренную в девяти водах. Если бы знала, я бы и в бреду не взяла на себя такие обязанности!

ЛЕТО. Что только ни делали Калоперович и Джула, что ни выдумывали.

Он в то лето, без зазрения совести, откровенно обманул собственного кума, который нежданно-негаданно появился

по прошествии семи долгих лет. Собственно говоря, кум с женой отправились на море, но тут произошла какая-то заминка: им пришлось делать пересадку, а между поездами у них было три часа и сорок пять минут, и тогда кум и сказал жене, что раз уж они оказались в Ч., было бы прекрасно повидаться с Калоперовичами и выпить кофе, но обед для них ни в коем случае готовить не надо... Кум краснел, извинялся, он был приятно удивлен рождением малыша, столько работы в Министерстве транспорта, не успевает поднять голову, целыми днями пропадает на работе, недавно стал большой шишкой... А то бы, конечно, послал открытку, из тех, что пороскошней... Разумеется, такое событие достойно и бокала хорошего вина за здоровье мальчика. Но он не может, у него нет привычки пить что бы то ни было не за обедом... Вот только... Нельзя ли, если хозяевам не помешает, воспользоваться их ванной комнатой, щетину он просто не переносит, бреется обычно с утра и ближе к вечеру, выехали сегодня ранним утром, и он уже чувствует, как зудит кожа...

— Мы назвали его Николой, — сказал Калоперович, хотя кум и не спрашивал, как зовут мальчика. — Ванная вон там, сейчас Джулка нагреет воды и принесет полотенце... Джулка, дай куму то, самое красивое, с цветами, мы его для особых случаев бережем... А может быть, все-таки перекусим, время еще есть?

Она в то лето, без зазрения совести, откровенно обманула собственную куму, рассказывая ей о своей вымышленной беременности, после которой она, как видишь, немного раздалась в боках, и ей так и не удалось избавиться от лишних килограммов... А еще про то, что она сразу поняла, какой Никола умный ребенок... Представляете, он все помнит, вот еще весной рассказывала я ему одну историю, а тут, несколько дней назад, решила ее повторить, а он мне: “Э-э, не так! В прошлый раз, Джула, было по-другому, то-то и то-то, ты забыла...” Куме стало неловко, ведь на самом деле, получается, что они отдалились друг от друга, в следующий раз она этому малышу, Николе, так его назвали, купит деревянную лошадку... А что касается обеда, на это они и не рассчитывали, но только, заклинаю вас, не надо никаких излишеств, им, пока попадут на море, еще трястись до позднего вечера и ее может укачать... Не может быть, неужели вы никогда не были на море?! В любом случае, как только устроимся, сразу пошлем вам открытку, цветную.

— Никола, ты слышишь, кума тебе купит деревянную лошадку, — сказала Джула и, с легкостью поднявшись, принялась накрывать на стол, расставлять лучшую посуду, которой

они пользовались не часто, только по праздникам. — Да я мигом, не бойтесь, не опоздаете... Кроме того, дорогой кум, приказы здесь отдает начальник станции, и у него есть полномочия, которые позволяют задерживать поезда! Да, конечно, а кто узнает, отчего состав стоит — из-за поломки или ждет, когда будет готов мой пирог с натертой тыквой! Ведь правда, Калоперович?

ОСЕНЬ. Что только ни делали Калоперович и Джула.

Он в ту осень принимал инспектора. Точнее, он его принял не сразу, сначала заподозрил: этот человек в дверях вагона первого класса, этот человек с растерянным взглядом, словно не понимающий, где он находится, мог быть только инспектором. И хотя на улице было еще тепло, Калоперович превратился в глыбу льда — человек, едва успев спуститься на перрон, достал блокнот и принялся в нем что-то чирикать. Записывает замечания! Не роман же писать он приехал сюда! Так, значит, дежурный по станции все-таки на него донес, в конце концов прислали кого-то разобраться в этом деле! Многие приходят в ужас, оттого что у них чего-то не хватает, а он в ужасе от того, что у него что-то лишнее! И это лишнее все растет и растет, словно его поливают, за полгода на три сантиметра вырос. Такого от инспектора не спрячешь. И — прощай государственная служба! К счастью, почти сразу выяснилось, что инспектор просто ошибся, вместо того чтобы сойти на гораздо более важной и крупной станции У., он перепутал и сошел в Ч. Более того, инспектор вообще не знал, что Ч. существует, область так велика, столько в ней деревень, поселков и городов, да еще реки, долины и горы, а еще ко всему этому переезды с шлагбаумами, мосты, тоннели — голова лопнет, как бочка без обруча, но пьет он умеренно, ведь в ней надо удерживать столько названий. Кроме того, У. или Ч., первые буквы названия станции над вестибюлем главного здания издали так похожи...

— Да бросьте вы, ничего страшного, что по ошибке! Вы позволите налить вам можжевеловой? Для нас ваше посещение, пусть и по случайности, — большая честь, — сказал Калоперович, он знал, что столичные люди привыкли к любезностям, даже к откровенно фальшивым. — Знай мы заранее, встретили б вас со всеми почестями, как положено... Не согласитесь ли выпить еще рюмочку можжевеловой? Э, да что же я спрашиваю, конечно, согласитесь... Джулка, жена моя, что же ты такие маленькие рюмки поставила, если нет побольше, давай нам по две! Нет, знаешь, принеси-ка все шесть, весь комплект!

Она в ту осень сама, лично, провожала инспектора, напоминая ему, чтобы не забыл портфель, чтобы осторожно,

здесь ковер завернулся, что это дверь в кладовку, а выход из комнаты там, чтобы не споткнулся на пороге, чтобы не скатился вниз по лестнице... И при этом постоянно соглашаясь с ним, что их место действительно на краю всего, но именно поэтому оно, вот вы буквально у меня с языка, — рай Божий! Здесь такой покой, можно сказать климатический курорт, особенно зимой, когда совсем ничего не происходит, только снег валит и валит... Во всяком случае, тут можно полностью расслабиться, жить в покое и мечтать, а по такому снегу куда деваться... Какая жалость, что господин инспектор так спешит, а то можно было бы прогуляться до холма, над станцией. У холма нет имени, это довольно странно, потому что здесь название получает даже каждый крупный камень, название есть даже у того, чего на самом деле давно нет... Наверху, там, огромное здание, строил его неизвестно кто, неизвестно когда, неизвестно зачем, сейчас оно заброшено, и, покуда тепло, подходить к нему близко не стоит, там много змей, но это достопримечательность, которой мог бы гордиться и гораздо более крупный населенный пункт... Нет, нет, не этот вагон, третий... Нет, поезд еще не тронулся, это ему только кажется... Кошелку она ему подаст... Осторожно, осторожно, надо глубоко вдохнуть и сосредоточиться... Правой за поручень, так... Левой ногой на ступеньку...

— Какая жалость, что вы так быстро уезжаете?! В кошелку я вам положила можжевеловой, будете иногда нас вспоминать... А банка варенья из дикой ежевики это вашей супруге, отвезите ей, пусть попробует наши дары природы, самые лучшие. Теперь знаете, где мы живем, приезжайте со всей семьей. Никола с вашими мальчиками смогут здесь вволю набегаться! — говорила Джула, напоследок даже слегка переборщив. — Знаете, как говорят, это еще не край света.

ВТОРАЯ ЗИМА. Прошел год. Все, кто работал на станции, уже привыкли к тому, что я здесь живу. Кто-то забыл обстоятельства, при которых я появился в Ч. Кто-то считал меня приемным ребенком Джулы и Калоперовича. Те, кто были здесь впервые, думали, что я сын Джулы и Калоперовича. Они слышали рассказ о "Восточном экспрессе", о последнем пульмановском вагоне, но были уверены, что это просто одна из железнодорожных легенд, историй, которые помогают скоротать время, служат поводом завязать в "Ресторации" дискуссию, не важно, вокруг чего, было бы о чем поспорить.

Кроме того, большинство из тех, кто здесь работали, собственных детей видели редко, продолжительные паузы между дежурствами использовать для общения с детьми почти никогда не удавалось — на станции постоянно не хватало пер-

сонала, и работа было организована в две смены. Все сводилось к нескольким свободным дням по случаю праздников, важных семейных торжеств и похорон родни. Все сводилось к тем нескольким свободным дням в году, когда обязательно нужно хоть как-то заняться еще и запущенным хозяйством и одинокой женой. После чего, через девять месяцев примерно, тянул ручки еще один новорожденный. Которого точно так же редко видишь и который растет, вспоминая сгорбленные плечи и затылок отца, возвращающегося на работу в Ч. Более отчетливо вспоминая его спину и затылок, чем его улыбку и лицо... И так из года в год, от дня святого, покровителя семьи, до похорон, от похорон до дня поминовения, и так до пенсии, при условии, что хватит здоровья дожить до нее и человек не загнется от какой-нибудь болезни. Во всяком случае, в Ч. всем было приятно смотреть на ребенка пусть даже и чужого. Казалось, что я был маленькой радостью почти для всякого, кто здесь работал.

— Ну, начальник, как дела? Справляешься? — приветствовали меня рабочие-осмотрщики с молотками в руках, проходя мимо места за главным станционным зданием, где я играл на свежевыпавшем снегу. Перед этим поклявшись Джуле не снимать перчаток.

— Парнишка, вот, возьми, пригодится, когда соберешься куда-нибудь поехать, — подмигивали мне кондукторы, протягивая разноцветные кусочки картона — прокомпостированные билеты на поезд.

Потом я часами разглядывал их, зачарованный загадочными цифрами и буквами.

— Малыши, малыши... Что такое? Теперь вас двое?! Удивительно, шеф ничего мне не сказал, почему счастливый папочка не похвалился прибавлением семейства, не угостил коллег можжевеловкой?! Вот вам две вкусненьких конфетки, а уж поздравлять госпожу Джулу я пойду с цветами, а вам двоим принесу по плитке шоколада... Какая же радость, и ведь сразу видно, что вы родные братья, вот я, к примеру, всю жизнь страдал, что был единственным ребенком... — говорил, "удваивая" увиденное, новый дежурный по станции.

Он был действительно особенным, не таким как остальные, те, что были до него и после. И хотя его прозвище было Стопка, во время дежурства он не пил, зато после окончания смены не просыхал до тех пор, пока мир вокруг него не начинал "умножаться". Или хотя бы "удваиваться".

— Джулина радость, а ты еще подрос?! Вчера карапуз, а сегодня настоящий парень! Да ты и снежки умеешь лепить?! А разбить окно в котельной слабо?! Да погоди ты, дай спро-

сить... Признавайся, ты уже начал ухаживать за девчонками в зале ожидания?! Самое время, а то поздно будет! У тебя всего пять-шесть лет в запасе! Пора открывать сезон! Не упусти момент, городские девочки с родителями сейчас отправляются на каникулы, кататься на лыжах, к ним надо просто подойти и начать рассказывать про локомотивы, поезда, вокзалы... Вот, например, вокзал Келети, в Будапеште, он огромный, и все перроны под крышей, а крыша — стеклянная! Вот красотища! Можешь не сомневаться, девчонки, открыв рот, слушать будут. Мама не рассердится, если мы с тобой отправимся в "Ресторацию", выпьем по стаканчику лимонада и я тебе расскажу какую-нибудь историю из тех, что случались со мной в разных концах света? — иногда машинисты, вернувшись из поездки, не умели вовремя остановиться.

Стеклянная крыша?! Пожалуй, правы те, кто не верит россказням машинистов.

Не проходило и дня, чтобы рядом со мной кто-нибудь не остановился поболтать. Кроме телеграфиста. Он ни разу не сказал мне ни единого слова. С тех пор как вернулся после болезни, из какого-то там "Санаториума", он что-нибудь говорил только при крайней необходимости. Лечение не помогло. Он по-прежнему слышал разные голоса и звуки и поэтому решил не добавлять к этому шуму еще и свой, изъял его из общего множества. Телеграфист проходил мимо молча, стараясь идти по протоптанной тропинке, чтобы избежать скрипа снега, мрачный, ссутулившийся, с поднятым воротником, закрывавшим ему уши... Но не проходило ни одного дня, чтобы кто-то другой не остановился рядом со мной, иногда даже чтобы просто примерить мне на голову железнодорожную фуражку. И делал шаг назад, чтобы придирчивее меня осмотреть:

— Калоперович-младший, провалиться мне на этом месте, из тебя получится настоящий железнодорожник!

Это пожелание было самым лучшим. Дети любят головные уборы взрослых. И сейчас помню, как под слишком большой для меня фуражкой я тотчас начинал представлять себе, как я встречаю и провожаю пассажирские и товарные составы. Мне даже снилось, как передо мной проходят и проходят поезда, как они встречаются, все было как наяву, с той только разницей, что в моих снах "Симплон-Восточный экспресс" останавливался у перрона железнодорожного узла Ч., мощный локомотив отдувался, стоя на месте, готовый в любой момент дать гудок и отправиться в далекий мир, весь потный, он с трудом сдерживал себя — ждали только, когда я возьмусь за латунный поручень, чтобы войти в последний пульмановский вагон.

Так медленно таяла и вторая зима. Снег сползал с крыш. Задубевшие на морозе, поношенные нижние рубахи и спецовки рабочих, распятые между бараками на веревке, теперь махали рукавами. Водосточные трубы грохотали, когда у них внутри оттаивал кусок льда. Бахрома сосулек истончалась, с крыши над входом в вестибюль капало. Прямо за шиворот каждому, а если сложить всех вместе, то всем.

КАКИМ Я ЗАПОМНИЛ "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС"? Тот, первый, я не помню. По ту сторону все бело. Засыпано снегом. По-видимому, все мои "картинки" "Восточного экспресса" относятся к более позднему периоду, когда я уже провел здесь год или два.

Тем не менее помню, что часто, всегда около полуночи, я смотрел, как этот поезд проезжает нашу станцию, и при этом не то что не останавливается, но и не снижает скорости. Мне даже казалось, что состав ускоряет движение.

Помню, как я просыпался, сам собой, долго, как с душистого сеновала, где полно сухих стеблей мальвы, выбирался из благоухающей постели и, не чувствуя холода от пола, босой, в одной ночной рубашке, встав на цыпочки, стоял у окна. Ожидая, когда издалека, всего на несколько мгновений появятся огни "Восточного экспресса", пронесутся и погаснут вдали.

Откуда они появлялись и где гасли? С востока? Или, наоборот, с запада? Тогда я этого не знал. Да я и сейчас не могу определить сторону света до тех пор, пока солнце не пригреет и не станет видно, какое растение куда смотрит, хотя за прошедшее время на крышу складского здания и поставили флюгер из кованого железа с указателем, стрелками и буквами С, В, Ю, З. Но это уже другая история.

Как бы то ни было, мои "снимки" "Восточного экспресса" сделаны уже потом, из окна служебной квартиры начальника станции. И, видимо, обусловлены тем, что как-то раз меня застукала Джула. Она не стала меня ругать за то, что стою босой, не спрашивала, что я здесь делаю. Она только набросила мне на плечи свою широкую шаль, и обняла. Спросила:

— Голубчик, ты не против, если мы посмотрим вместе?

И мы остались возле окна. Примерно через четверть часа прошел "Восточный экспресс". Я тогда не понимал Джулу, эту крупную, нежную женщину, но запомнил как она глубоко вздыхала:

— Ах! Это самый прекрасный поезд в мире! Он как кинофильм!

Как кинофильм?! Что такое — кинофильм?! Джула объяснила... Но это сравнение я в полной мере понял лишь спустя

много лет, во время войны, точнее в самом конце войны, когда какой-то немецкий военный кинооператор при отступлении бросил в Ч. три окованных металлом больших ящика с фото- и киноаппаратурой, с черной ручной полевой камерой, химикатами для проявления фотографий, но, главное, там был кинопроектор и жестяные коробки с катушками пленки.

Следует сказать, что в состав "Восточного экспресса" входили сверкающие темно-синие, с белыми крышами, так называемые пульмановские вагоны, а среди них были еще и особые вагоны-салоны. Все они были комфортабельны, снабжены особыми рессорами, уменьшавшими тряску, и, кроме того, отличались очень большими окнами. Окна даже глубокой ночью были ярко освещены, должно быть, думал я, в таком поезде никто никогда не спит, одно развлечение следует за другим, ужин длится долго, открывают бутылки с шампанским, дамы поминутно меняют роскошные туалеты на еще более роскошные, господа играют в карты, вертят колесо рулетки, а потом, смеясь, танцуют до утра. Когда "Симплон-Восточный экспресс" на всех парах проносился мимо нас, Джуле казалось, что окна вагонов похожи на движущиеся картинки, на кинокадры, а весь поезд — на фрагмент фильма. Конечно же, достойного глубокого вздоха.

Позже я слышал от одного машиниста, хотя сомневаюсь, что машинистам можно верить, что не одни мы были такими. Люди поджидали знаменитый состав вдоль всего пути его следования. Кому не хотелось стоять рядом с путями, приходили с табуреткой или скамеечкой, семьи приносили даже лавки, и кое-где, например, на пологом склоне, образовывались настоящие летние амфитеатры под открытым небом. Бывало, даже всем селом ждали, когда начнется фильм — появится поезд. Мужчины молча курили в темноте, повсюду краснели кончики сигарет. Старухи, чтоб не сидеть без дела, "вслепую" вязали жилетки и чулки, они твердо знали, где лицевая, где изнаночная петли, спица позвякивала о спицу. А молодые женщины качали детишек и будили их, когда вдоль железной дороги начиналось движение роскошных картинок... Я не случайно оговорился насчет своих сомнений относительно правдивости машинистов, потому что из своих поездок они всегда возвращаются с историями, в которые им самим порой было трудно поверить.

Из ночи в ночь стояли мы с Джулой в темноте у окна служебной квартиры на втором этаже главного станционного здания железнодорожного узла Ч. и смотрели всегда новый фрагмент фильма, ослепительные картины другого мира, ко-

торые вспыхивали в нашем затерявшемся среди гор местечке. Точнее, я-то смотрел на этот поезд как на поезд, но Джула воспринимала его как фильм. Время от времени вздыхая:

— Ты видел?! Подарил ей коралловые бусы! Да-а, если бусы такие, могу себе представить, какое тогда у них море...

— Ты видел?! Надо же как милуются! И что он ей там нашептывает! Надеюсь, они обручены...

— Ты видел?! У них в поезде музыкальный салон с роялем! Жалко не слышно, что там за музыка... Вот так я смотрю и на жизнь, без звука...

И так далее: видел ли то, видел ли другое...

А КАК-ТО РАЗ И Я ВЫСКАЗАЛСЯ. Потянул Джулу за рукав. Пришлось несколько раз подергать, настолько она была увлечена движущимися кадрами. Спросил:

— А они нас видят?

Джула смутилась. Ответила не сразу. Наклонилась, поцеловала меня в голову и вздохнула:

— Не уверена... Думаю, не успевают... — И тут же решительно добавила: — По правде сказать, с тех пор как приехал ты, мне это безразлично!

II

ДОЖДЬ, ВОРОНЫ... ОНА ЖДАЛА, КОГДА НАЧНУТСЯ ДОЖДИ. Не хотела, чтобы я увидел ее слезы. Должно быть, надеялась, что я, еще маленький, не смогу отличить их от дождевых капель.

Она больше не была такой большой. С тех пор как заболела, все время теряла вес. Просто таяла. Не помогало и то, что муж перестал ласково называть ее легкомысленным именем Джулка, и пользовался теперь только настоящим, веским именем — Джула.

Как-то утром он получил телеграмму, чуть не поперхнувшись от счастья, с криком выбежал из кабинета и, перескакивая через две ступеньки, взлетел по лестнице в служебную квартиру:

— Джула... Джула... Танцуй, танцуй!

— Что?! Уезжаем отсюда?! Да мне, Калоперович, уже никуда и не хочется... — сказала она равнодушно.

— Нет, нет... Наоборот! Мир придет к нам! — начальник станции был в возбуждении. — Около полудня. Есть на что посмотреть. И послушать! Хватит жить без звука! Ну, Джула, танцуй!

ТАНЦУЙ! Но то, что действительно около полудня белградским деловым поездом прибыл уполномоченный пред-

ставитель на Балканах лучшей швейцарской фирмы, производящей музыкальные аппараты, не помогло. Не помогло и то, что вслед за ним, в опломбированном вагоне товарного поезда прибыл единственный груз, правда, крупногабаритный, с надписью FRAGILE![1], который представлял собой заказанный некоторое время назад “Bahnhofautomat”.

Представитель был из наших, в свое время он провел полгода в городе Сент-Круа, в мастерских инженера Огюста Ласьера, где совершенствовался в монтаже и обслуживании сложных музыкальных аппаратов.

— Поздравляю вас с тем, что вы выбрали именно нашу продукцию! — такими словами представитель приветствовал Калоперовича, который застеснялся и покраснел.

А “Bahnhofautomat”? Это был самый красивый, самый роскошный и, соответственно, самый дорогой аппарат из ассортимента фирмы. С застекленной передней частью, своего рода витриной, в которой находилась одетая в красно-белый костюм кукла-арлекин, готовая, как только в соответствующую щель сунут монетку, тут же поклониться и начать дирижировать, то есть поднимать руки в ритме звучащей из аппарата музыки, а когда музыка закончится, снова поклониться, что означало и конец номера. Кроме того, в этой застекленной части был искусственный снег, который сначала медленно поднимался, роился, а потом падал еще несколько минут после окончания композиции. Этот “Bahnhofautomat” отличался еще и тем, что в его репертуаре было целых сорок девять увертюр, вальсов, полек и маршей, так что у путешественника был богатый выбор мелодий, чтобы скрасить время, проведенное в зале ожидания или в вестибюле. Тут, правда, требуется сделать небольшое уточнение: все это при условии, что у путешественника в кармане найдется монетка в десять швейцарских сантимов! Потому что автомат приводился в действие только такими деньгами. Местную монету в десять пар машина проглотила, сначала было слышно как монетка катится, катится и катится по желобу, потом как канал отправляет ее в кассу, а потом она издала последнее “звяк!” глубоко в утробе механизма. За десять пар только эти звуки. Звяканье. И тишина. Арлекин стоит неподвижно. Снег лежит спокойно. Музыки — никакой. В то время как за десять сантимов путешественник мог не только выбрать мелодию, но и полюбоваться танцующими снежинками и прекрасной куклой.

1. “Не бросать!” (*франц.*) (*Прим. перев.*)

— Не считаете ли вы, что это может создать нам трудности?! — Калоперович был разочарован. — Здесь, в Ч., поезда ждут простые люди. Мы действительно важный железнодорожный узел, но мы не в Швейцарии. Подумайте сами, откуда у здешнего народа швейцарские франки, а следовательно и сантимы?! Здесь человека можно наизнанку вывернуть и потрясти, но из него даже динары вряд ли будут долго сыпаться! Я не хотел бы тратить лишних слов...

— Уважаемый, вам следовало внимательно прочитать то, что в инструкции написано мелким шрифтом! — вспылил представитель фирмы. Базовая цена данной "премиум" модели музыкального аппарата относительно доступна именно потому, что он работает только за швейцарскую валюту. Которая, как известно, является самой стабильной в мире. Один раз в месяц наш работник приезжает снять кассу. Семьдесят процентов выручки принадлежат производителю, двадцать — представительству, а оставшиеся десять вам или железнодорожной станции, эти десять процентов нас не интересуют... Так сказано в инструкции. Модель была разработана для железнодорожной компании "Юра-Симплон". У нас имеются более простые модели, с тремя мелодиями, они могут работать и за монету в десять пар. Но вы хотели самую лучшую. О переделке аппарата не может быть и речи. Кстати говоря, даже не пытайтесь вытащить ящичек с деньгами, он установлен так, что для этого вам пришлось бы демонтировать весь механизм, а этот механизм настолько сложен, что собрать его вам никогда не удастся без помощи квалифицированного и уполномоченного лица, каковым являюсь я.

— Вытащить ящичек с деньгами?! Вы за кого меня принимаете?! — оскорбился Калоперович. — Давайте договор, я подпишу!

— Ну, если вы не хотите прочитать... — пожал плечами представитель и протянул бумаги. — Здесь, здесь и здесь. В трех экземплярах.

И Калоперович заплатил за музыкальную машину. Из тех денег, что откладывал "на черный день". Всю сумму. Наличными. В динарах. Плюс налог и таможенный сбор, и за доставку, и за монтаж, и курсовую разницу... Отдал все, что у него было. Точнее отдал почти все, что у него было. На остаток сбережений купил двести тридцать восемь швейцарских франков в виде монет по десять сантимов. На что ему нужен "Bahnhofautomat", который не работает, который нельзя привести в действие? Сделал он это ради пассажиров, ради осуществления своего давнишней мечты превратить железнодорожную станцию Ч. в одно из чудес света. А еще ради

Джулы, чтобы музыка и арлекин хоть немного отвлекли ее от пожирающей изнутри болезни. И, представьте себе, у представителя была наготове мелочь. Он отсчитал две тысячи триста восемьдесят монет. По крайней мере сказал, что их именно столько. Полный мешочек. Калоперович не проверял. Побоялся его обидеть...

Веселый это был месяц. Начальник станции монетки не продавал. Если кому-то хотелось слушать музыку, он их просто дарил. Этот месяц был месяцем радости, но уже на следующий, после изъятия монет из ящичка, оставшаяся сумма составляла лишь десятую часть первоначальной. Еще через месяц монет хватало только на то, чтобы запускать музыкальную машину всего раз в день. Правда, случилось так, что на станцию как-то раз занесло иностранца, у которого в карманах нашлась мелочь, и он потратил тридцать сантимов, хотя кое-кто утверждал, что целых сорок. А потом Калоперович уже не мог раздавать пассажирам монетки, он за свой счет покупал ровно столько, чтобы оставалось Джуле и чтобы он мог в чрезвычайных обстоятельствах, например, когда опаздывает поезд, чем-то занять народ в зале ожидания и в вестибюле.

При этом работник отвечавший за извлечение денег из автомата, продолжал регулярно, раз в месяц, появляться, чтобы забрать доход. Который, вообще-то, был немалым. Потому что несмотря на внятное объяснение, каким образом работает музыкальная машина и какие монеты требуется опускать в щель, наш народ оставался упрямым, и всегда находился кто-то, кто думает, что он умнее аппарата и сможет обмануть его, накормив местными монетами. Не проходило и дня, чтобы кто-то из пассажиров не попытался использовать десять пар... После чего прогулявшись по залу ожидания, начинал чувствовать: что-то не дает ему покоя, и повторял попытку... А потом пробовал и в третий раз, тут же... А уж когда Бог отказывался помочь и в третий раз... э-э, тут надежда превращалась в желание добиться своего назло, любой ценой, и человек был готов вывернуть все свои карманы, поменять все имевшиеся у него деньги, чтобы “кормить” музыкальную машину все время, пока остается здесь, хотя с самого начала было ясно, что она будет “глотать” монетки, ничего не давая взамен. Должно быть, именно поэтому, тот парень, который приезжал вынимать деньги из ящичка, однажды нашел в нем три золотые монеты — видно, у кого-то совсем отказали тормоза. Три самые настоящие золотые монеты, из тех, что в народе назывались “малый Франц Иосиф” (в городе такие было принято дарить детям при рождении, чтобы те потом хранили их всю жизнь, а в селах их собирали

на монисто для приданого), здесь кто-то спустил за минуту просто из упрямства. Парень выгреб из музыкальной машины и золотые монеты, и все другие монеты, имеющие и не имеющие хождения, а еще жетоны для телефонов-автоматов, какие бывают в больших городах, и даже десяток одинаковых перламутровых пуговиц от рубашки, которую кто-то надел в дорогу и в Ч. приехал застегнутым, а уехал расхристанным до пупа.

— Доход есть доход... Вы невнимательно прочитали, что написано в договоре мелким шрифтом, — сказал парень удивленному Калоперовичу.

Вот так. Хотя всегда лучше вспоминать хорошее. Пожилые пассажиры, оказавшись в зале ожидания, наслаждались музыкой. Пауза между двумя поездами теперь радовала, как песня. Те, кто помоложе, радовались танцу снежинок и прекрасного арлекина. А Джула? И ей было приятно, на несколько минут она забывала о болезни. Но ни от чего другого толку не было, она таяла.

ЭЛИКСИР. Не было толку и оттого, что один из множества аптекарей-шарлатанов, жалея ее, признался Калоперовичу, что его "медицинское снадобье" на самом деле просто обычная вода, налитая в флаконы из водопроводной колонки в Ф., то есть на предыдущей станции. И что на узловой станции Ч. он нальет воду, которую в качестве средства "Универсальный и чудодейственный эликсир Живалевича — ежедневная доза здоровья" будет предлагать в А., то есть на следующей станции. Где опять нальет воду, которую будет продавать... И так далее, от деревни до села, от села до городишки, от городишки до города, от города до Белграда, там передышка, и снова за дело. Работа нелегкая — постоянно в пути, постоянно сталкиваешься с людскими бедами и постоянно надо людей обманывать. Все равно как во время предвыборной кампании в парламент. Поэтому "аптекарь" не упускал случая облегчить свои муки совести:

— Ведь я могу рассчитывать на вашу скромность? Не хочу оговаривать конкурентов... Но в отличие от большинства моих коллег, у меня есть принципы. Во-первых, воду я беру только из проверенных общественных колонок, никогда не пользуюсь природными источниками, а тем более всякими там колодцами. Во-вторых, слежу за гигиеничностью флаконов, регулярно их стерилизую, в кипятке. В-третьих, к воде никогда ничего не добавляю. И вреда никакого не будет, кто станет с этим спорить? А я, по крайней мере, могу быть уверен, что людей не травлю. Но вот в случае с вашей супругой, может, было бы лучше не обнадеживать вас напрасно... Мои

снадобья, знаете ли, для таких вещей, что сами собой проходят, вроде насморка, ячменя, типуна.

— Спасибо вам, господин Живалевич... — Калоперовича потрясла искренность псевдоаптекаря. — Хотя, знаете, я думал... Ведь запах медикаментов...

— Да не за что, мой долг помогать людям, — оживился Живалевич. — А может быть, вам взять один флакон для себя, в качестве общеукрепляющего, вы устали от забот, это видно... Что касается запаха, так это от клея, которым я приклеиваю этикетки. Кто же поверит препарату без декларации.

И Калоперович купил склянку "Универсального и чудодейственного эликсира". Попробовать. А вдруг Живалевич ошибается. А вдруг эликсир имеет свойства, о которых аптекарь не знает, ведь он не настоящий аптекарь.

НО ТОЛКУ НЕ БЫЛО НИ ОТ ЧЕГО. Сейчас я знаю, что толку не было и оттого, что Джула в конце концов согласилась поехать в Белград, к врачу.

— Ох, как же мне не хочется складывать вещи, за все эти годы я здесь так обжилась, понятия не имею, где у меня что. Тебе не попадались мои выходные туфли, те, на высоком каблуке? — именно так она и сказала тогда. — Кстати, имей в виду, мы едем только к врачу и сразу же возвращаемся. Куме с кумом я сообщать о нашем приезде не собираюсь, они нам так и не прислали открытку с моря.

— Джула, не надо, прошу тебя... — развел руками Калоперович. — Может быть, открытка затерялась.

— Да, как же, затерялась! И деревянная лошадка тоже затерялась! Ну, Калоперович... И выбрось ты, наконец, набор для бритья, который кум забыл, чтоб он и не напоминал о нем вовсе.

Несессер с набором для бритья Калоперович не выбросил. Просто убрал его с глаз долой, отнес в переполненный склад потерянных вещей. Там он будет в надежном месте. Там можно найти что-нибудь только по чистой случайности, когда настойчиво ищешь что-то совсем другое.

Как бы то ни было, Джула несколько раз откладывала поездку, до тех пор пока у нее не появилась уверенность в том, что скоро пойдут дожди. Должно быть, именно из-за этого она то и дело подходила к окну, раздвигала занавески и смотрела в небеса. Нельзя было сказать, что она грустит или в плохом настроении, просто всякий раз, когда она видела ворон над помойкой, по ее лицу пробегала тень. Мне казалось, что из всего на свете ее беспокоит только одно — черная стая, которая перемещается с места на место на все разрастающейся помойке по ту сторону путей, к северу от рабочих

бараков, это не так уж и далеко, если пойти напрямую, по виадуку. Она говорила:

— Ну, так глядишь, они однажды и за людей возьмутся. Никола, детка, пока меня нет, смотри, чтобы черти тебя не попутали, не ходи туда...

Возможно, она ничего не преувеличивала. Вороны здесь были не только крупными, не только ловкими, но и умными — вместе, в паре или небольшой группой они переносили даже довольно тяжелые выкинутые предметы. На узловой станции Ч. уже давно никто не удивлялся, если видел "пролетающий" помятый жестяной таз или дырявую "выварку", то есть кастрюлю для кипячения белья, а бывало и треть выброшенного матраца, а за ней вторую и, наконец, третью, с торчащими пружинами и свисающими прядями так называемых морских водорослей. Тем не менее, почему вороны все это таскают по свалке, никто не знал, да туда никто и не заходил. Обычно все оставляли ненужное на самой границе этого другого мира. Поначалу из-за пресловутой лени. Потом, оправдывая себя тем, что теперь уже поздно, что теперь просто невозможно пройти между кучками, соединившимися в кучи, и горками, сросшимися в горы. А под конец признали, что не хотели бы углубляться туда ни на шаг. Свалка со временем расширялась и расширялась, с одной стороны дойдя до самой железнодорожной насыпи.

НЕБО ЗАТЯНУЛО. Черные птицы спустились на землю. Посыпал дождь. Упорный. Мелкий. Было видно, что идти он будет еще долго.

Джула сложила вещи. Привела в порядок служебную квартиру на втором этаже главного станционного здания. Оставила наготовленную еду в кастрюльках и большой противень сладкого пирога с натертой тыквой. Еды было на целую неделю ее отсутствия. Все мне объяснила, что где — по цвету посуды.

— Смотри сюда... В красной кастрюльке в белый горошек суп с кнедлями. В синей в белый горошек — джувеч... — перечисляла она, приподнимая крышки, а под конец сказала. — Никола, очень прошу тебя, ешь по порядку, как я говорю, не начинай с пирога, он на сладкое, после обеда.

И не захотела, чтобы мы с ней попрощались на крытом крыльце вокзала перед вестибюлем, а потребовала сделать это на перроне, под дождем, прямо у поезда. Двигалась она настолько неуверенно, прихрамывая, что Калоперович счел нужным найти этому оправдание:

— Не обращай внимания! Это у тебя из-за каблуков, ты просто отвыкла...

— Ах ты мой Калопер, какой ты у меня добрый... — она взглянула на него с благодарностью, хотела ответить чем-то ему приятным, задумалась и сказала, хотя никогда не одобряла его страсти к табаку. — Как же льет, прикрой трубку, погаснет...

Уже стоя рядом с вагоном, наклонилась поцеловать меня в лоб. Было заметно, что губы она накрасила ярче, чем обычно. Наши лица были мокрыми.

— Деточка, ты уже взрослый... Ты же сможешь несколько дней побыть один? Увидишь, это совсем не страшно. Всего несколько дней... А если за это время подрастешь, то в шкафу для тебя есть новые рубашки, брюки и два пальтишка, я всего тебе нашила, несколько размеров, навырост...

Я утвердительно кивнул. Калоперович отдавал последние распоряжения своему вечному заместителю. Кроме того, он дал ему и монетку в десять сантимов, бросить в щель музыкального автомата, чтобы привести в движение арлекина и запустить вальс, который Джула особенно любила. Заместитель открыл было рот:

— Позвольте кое-что сказать...

— Нет, нет, не сейчас... В другой раз, когда мы вернемся... — прошептал Калоперович, хотя, казалось, он и сам не верит в свои слова. — Сейчас, прошу вас, сейчас запустите музыку...

Вечный заместитель, зажав монету в кулаке, потрусил к зданию вокзала. Мимо троицы железнодорожных рабочих, махавших руками. Из всех, кто вышел проводить начальника и его жену, только они стояли в стороне. Не приближались, они не умели красиво выражать свои чувства, не знали, что полагается говорить в подобных случаях, но зато неутомимо, все вместе махали своими большими руками. По щекам Джулы сползали капли:

— Господи, какие же у них ладони, прямо как лопаты для хлеба...

Потом она попыталась улыбнуться:

— Ну, пойдем...

Улыбка, удалась ей только со второго раза:

— Пойдем, а то я совсем промокну...

Они вошли в вагон. Из зала ожидания послышались звуки вальса. Должно быть, и арлекин дирижировал в своей стеклянной витрине. И вокруг него кружился снег, и все было белым-бело... Свисток дежурного по станции на миг заглушил музыку. Локомотив равнодушно вздохнул. Вагоны клацнули, словно сопротивляясь, словно отказываясь во всем этом участвовать, но в конце концов растянулись настолько, насколь-

ко допускала сцепка... Состав медленно покидал узловую станцию Ч.

С перрона он казался огромным, но стоило ему доползти до первого изгиба полотна, когда весь он стал виден сбоку, как стало очевидно, что состоит он всего лишь из паровоза, тендера с влажным углем, одного пассажирского и одного почтового вагона.

“Bahnhofautomat” замолк. Вальс закончился. Кукла, наверняка, поклонилась, опустила голову, ее руки повисли. Снег в витрине улегся. Из зала ожидания веяло тишиной.

ОДИНОКИЙ. Новый начальник станции был одиноким. Хотя приехал он не один. Его звали Богичевич. Выглядел он внушительно. Не слишком высокий, не слишком толстый, он, тем не менее, оставлял впечатление чего-то очень основательного, тяжелого, да и усищи у него были огромные, таких я еще не видел. Под мышкой держал складную шахматную доску с фигурами внутри. Других личных вещей у него не было. Не считая “посыльного”, некоего кондуктора по имени Цицмил. Как ему удалось добиться того, чтобы при переводе со станции Л. на узловую станцию Ч. с ним откомандировали и этого кондуктора, осталось тайной. Во всяком случае, это было все, что у него было. А не было у него трех пальцев на левой руке: среднего, безымянного и мизинца.

Богичевич приехал ровно через семь дней после того как уехали Джула и Калоперович, я как раз выскреб ложкой последнюю кастрюльку и доел края сладкого пирога с тыквой... Стало тепло, было трудно дышать от влаги, испарявшейся из земли после стольких дождей, а на новом начальнике станции была шинель. Правда, внакидку. Потом оказалось, что он ее вообще никогда не надевает. Носил так и летом, и даже самой холодной зимой. Люди окоченевают, стучат зубами, а он так, внакидку. В небрежно наброшенной шинели сидел в кабинете перед подчиненными, вышагивал по перрону перед пассажирами, так же одетый забирался на холм над узловой станцией осмотреть местность отсюда, от никому не нужного здания, и так же, в шинели на плечах, ходил по служебной квартире по ночам, без сна, то от стены к стене, то вокруг обеденного стола, один-одинешенек. И даже, что было еще более неприлично, носил накинутую шинель не только тогда, когда был в пижаме, а и оставшись в одном нижнем белье, а то и просто в кальсонах, длинных трикотажных подштанниках сивого цвета. Он и спал, накрывшись шинелью, а вместо подушки использовал свою руку с неполным набором пальцев.

Если он, случалось, и снимал шинель, то никогда не делал этого самостоятельно, а всегда орал: “Цицмил!”. И его “по-

сыльный" с готовностью вскакивал со своей лавочки возле печки, чтобы подхватить шинель. При этом Цицмил всегда растягивал рот в гримасу, которая должна была походить на улыбку. Но на этом "должна была походить" все и заканчивалось.

ПОЗВОЛЬТЕКОЕЧТОСКАЗАТЬ. Совершенно очевидно, что привилегированное положение этого Цицмила в чисто человеческом смысле глубоко оскорбляло вечного заместителя начальника станции. У которого, между прочим, было и имя, и фамилия, но которого все звали не иначе как Позвольтекоечтосказать, потому что именно так он начинал любую фразу. После чего, как правило, больше ничего не следовало. Заместитель начальника станции терпел недолго, ему хотелось показать, кто здесь заместитель, и всего несколько дней спустя он назначил Цицмила сопровождать поезд на маршруте Ч.-Д. (железнодорожная магистраль К.). Однако Богичевич немедленно отменил распоряжение и обрушился на него со словами:

– Никогда и не думай больше посылать его куда бы то ни было без моего особого разрешения!

– Позвольтекоечтосказать... – заместитель хотел было заявить, что кондуктор обязан совершать рейсы, что служебные обязанности кондуктора состоят не в том, чтобы целыми днями услужливо болтаться рядом с начальником станции, а в том, чтобы компостером пробивать билеты, переходя от купе до купе, а если начальнику что и понадобится, в профессиональном ли, в человеческом ли смысле, то на это имеется он, опытный заместитель, все это хотел высказать Позвольтекоечтосказать, но по своему обыкновению не продвинулся дальше обычного для него начала.

– Молчать, когда я говорю! – рявкнул уже совершенно излишне Богичевич. – Цицмил остается здесь. Со мной. Пока я не распоряжусь по-другому!

Не стоит повторять, что Цицмил растянул рот в гримасу, которая должна была походить на улыбку. Позвольтекоечтосказать понуро покинул кабинет, размышляя о том, что на этот раз он, пожалуй, хватил через край и что впредь следует держать язык за зубами. Почему именно он, единственный из всех на станции, должен лезть вперед! Этот Богичевич ненормальный. С такими не следует вступать в пререкания. Нужно быть мудрым, и без лишних слов дожидаться своих пяти минут...

А Цицмилу он еще отомстит. При первой же возможности. Сорвет с этого подхалима маску, отправит его на какую-нибудь местную линию, где кондуктора могут и поколотить,

если тот будет слишком настойчиво требовать предъявления билетов... Вот взять, например, село Т., они там все как один дикари, скандалисты, по собственной прихоти переносят границы земельных участков, рубят чужой лес, налогов в казну не платят, у них даже церкви нету... У них даже погоста нет, да и на что он им, раз все их мужчины умирают в тюрьмах, их и хоронят на тюремных кладбищах. Работать кондуктором поезда, который делает остановку в Е., — дело рискованное.

Однако "первая возможность" так никогда и не представилась. Чокнутый Богичевич и наполовину улыбающийся Цицмил вместе пробыли на узловой станции Ч. целых семь лет. И покинули ее вместе. Хотя — каждый по-своему.

А КТО ТЫ ТАКОЙ?! Я знаю все это, потому что присутствовал там лично. Хотя, вероятно, имеет место и то, что называют компенсирующей памятью. Старея, человек постепенно забывает, где граница между тем, что действительно произошло, и тем, что есть только в его голове.

Новый начальник станции поначалу не обращал на меня никакого внимания. Я даже не уверен, заметил ли он меня вообще, такого маленького. Правда, встречались мы с ним в небольшой служебной квартире, но в мою комнату он никогда не заглядывал, ко мне никак не обращался, только Цицмил в обеденное время приносил мне тарелку того, что они оба вместе ели, какую-нибудь холостяцкую еду, приготовленную только потому, что надо же чем-то питаться... Когда Богичевич наконец-то решил обратить на меня внимание, он в отвратительном настроении после одной из своих бессонных ночей, как только я вышел из туалета, заорал на меня в первый и последний раз:

— Стоять! А кто ты такой, что с утра болтаешься у меня под ногами?! Думаешь, я тебя не видел? Что ты вообще здесь делаешь?! Кроме того что вечно сидишь в клозете, именно тогда, когда и мне туда надо?!

— Я — Никола, — ответил я неуверенно. — Я здесь живу.

— Никола, говоришь?! — смягчился Богичевич, кто его разберет почему, и с тех пор время от времени и только со мной одним разговаривал довольно мягко. — Да, да... Ты тот, кто остался после Калоперовича и его жены. Печально, печально... Нашел я письмо Калоперовича в служебном сейфе, он, на всякий случай, описал твою историю, попросил того, кто придет вместо него... Кстати говоря, он оставил тебе музыкальную машину и немного мелочи. Распорядился, чтобы в случае, если он не вернется, тебе передали все их имущество. Ладно, мебель, "зингер" его жены, это хоть что-то стоит...

Однако этот Калоперович был гол как сокол! Столько лет на государственной службе, а осталось от него только несколько книг, швейцарская дребедень в зале ожидания и горсть мелочи... Печально, печально... Что мне с тобой делать?! Говоришь, здесь живешь?!

— Живу! — я сжал кулаки, еще чуть-чуть и расплачусь...

— Ну, так тогда и живи! — решил Богичевич, не знаю, прямо тут, на месте, или же он рассматривал и взвешивал мою судьбу все предыдущие дни.

— Выше голову, выпрямись, грудь вперед! Не вздумай тут мне скулить, как какая-нибудь размазня... Имей в виду — слез я не переношу. Запомни, раз живешь, живи, брат, как герой! — Богичевич устремил взгляд вдаль, в наброшенной на плечи шинели он походил на генерала.

Потом словно бы очнулся и как-то мягко добавил:

— И тапки надень, простудишься...

И окончательно придя в себя, заорал:

— Цицмил!

"Посыльный" вскочил со своей лавочки возле печки и растянул рот в гримасу, которая должна была походить на улыбку.

— Цицмил, слушай меня внимательно: все, что есть у меня, должно быть и для него, для этого человека! Даже больше! Я могу и всухомятку, а ему готовь горячее, плюс стакан молока... Прочитай какие-нибудь рецепты, старайся готовить для него как следует, мне можешь так же, как и раньше... Когда мое стираешь, можешь как попало, как и раньше, но для него, вот этого человека, Цицмил, белое белье должно быть откипяченным... Мое гладить не надо, мне на это плевать, но для него, вот этого человека, все должно выглядеть, как на витрине магазина на Теразие... Смотри, Цицмил, он ни в чем не должен нуждаться, а не то пристрелю тебя как тетерева! А сейчас разойдись! Оба! Мне нужно продолжить партию, противник не ждет!

ИГРА НА ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. Вот такую, решающую, шахматную партию разыгрывал Богичевич. Целых пять лет, предшествовавших его прибытию в Ч., плюс следующие семь, которые он провел здесь. Повсюду, куда бы его ни переводили по службе, а он сменил ровно девять железнодорожных станций, одно время был даже в Л., недалеко от моря, там, где заканчивалась дорога, — повсюду его сопровождала складная шахматная доска с фигурами внутри и, помня каждый последний ход, он продолжал и продолжал ту одну-единственную партию, играя с самим собой, то есть против самого себя. Повсюду его сопровождала складная шахматная

доска и кондуктор Цицмил в качестве “посыльного” или, как в этом случае было бы лучше сказать, в качестве “секунданта”. Ибо это была дуэль. Не на жизнь, а на смерть. На все — или ничего. Поэтому сделать очередной ход Богичевич не спешил, он долго раздумывал, иногда месяцами выискивая слабое место противника, разрабатывая тактику нападения или защиты. Его можно было разбудить среди ночи, и он без ошибки скажет, на каком поле какая фигура находится... Единственное, чего он не помнил, единственное, что он забыл, так это то, кто в этой борьбе играл белыми, а кто черными. За годы игры все смешалось.

В памяти Богичевича начало партии укутал плотный туман. В еще более густом тумане осталась причина — зачем вообще он этим занимается?! И что он делал до того, как занялся шахматами?! Забыл. Позже я понял, люди редко что начисто забывают. Если их внимательно слушать, если попытаться увязать, что и когда они сказали, что у них сорвалось с языка, постепенно начнешь понимать, что ничто не отодвинуто и не вытеснено навсегда, оно просто рассыпано, разбросано там и сям или до лучших времен упрятано в надежное место. Но стоит соединить частички этого “забытого начисто”, и вот за первой частичкой, появляется вторая, а за третьей уже выстраивается целый ряд предполагаемого. Иногда случается, что человека в большей степени определяет не то, что у него есть, а то, что он потерял, — это я теперь прекрасно понимаю.

Богичевич действительно забыл, кто начал шахматную партию и что он делал до того, как ее начать, но я, внимательно слушая его в течение целых семи лет, в основном сумел все восстановить. И то, что поначалу казалось безнадежно загадочным, объяснялось очень просто. По-человечески предсказуемо.

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ ПРЕДСКАЗУЕМО. В случае Богичевича дело было так: когда он с “похвальным прилежанием” и “примерным поведением” окончил Государственную школу железнодорожного транспорта, он был молод и полон энтузиазма. Кроме того, Богичевич был видным, стройным, прекрасно держался, форма на нем сидела великолепно, а по своему значению она лишь немного уступает военной, девушки на него оглядывались, и даже женщины, из тех, что склонны к мечтаниям, не оставались равнодушными, посматривали на него украдкой. Все эти его особенности сразу же были замечены и начальством, и, ввиду того, что в таком громоздком механизме, как железные дороги, неординарные фигуры не нужны, напротив, необходимы те, кто легко вписываются

и приспосабливаются, новичка Богичевича послали ждать "на запасном пути", на Богом забытой станции, где репей и чертополох вырастали между шпалами со скоростью большей, чем скорость поезда, и где нет нужды раз в неделю сверять свои карманные часы с казенными стенными часами. Так это обычно и делается, посылаешь его притереться, а возвращается парень "маленьким винтиком" и потом, куда его ни "завинти", до самой пенсии будет служить надежно. Однако Богичевич был не того поля ягода. У него был особый характер, своя собственная "особая резьба".

На ту Богом забытую станцию Богичевич приехал в слегка сдвинутой на затылок фуражке, с ухоженными усиками, дюжиной белых рубашек и парой серебряных запонок в виде колеса с крылышками ангела – символа железной дороги, в начищенных до глянца туфлях с только что набитыми "подковками", так что, когда он шагал вдоль перрона, слышно было далеко... Походка легкая, уверенная, по ней сразу был виден человек, решивший, что в жизни для него нет ничего трудного и он готов добросовестно выполнять любую работу. Даже помогать дорожным рабочим пропалывать колючки между шпалами... С утра и до поздней ночи он занимался своими обязанностями и лишь небольшую часть времени тратил на разговоры по телефону. Но зато почти каждый день. Разговоры личного характера, с некой молодой особой, об этом свидетельствовал его голос, становившийся сладким как сироп. Совсем иначе, официальным тоном, говорил он с неким господином из Генеральной дирекции, которого постоянно и увлеченно осыпал предложениями о том, что́ можно исправить и переделать, причем не только на Богом забытой станции, но и шире, во всей системе железнодорожного транспорта.

– Конфетка моя, не плачь, целую тебя. Конфетка моя, когда я вернусь, мы с тобой будем по полдня пикироваться, причем ежедневно, – так обычно заканчивал он разговоры с некой особой, машинально почесывая в паху.

– Извините, что отрываю от дел... Получен ли ответ на мое письмо? – так обычно начинал он разговоры с неким господином, несколько раз даже уже заранее сложив вещи, в полной готовности направиться в Белград, чтобы там, перед членами Комитета, объяснить и обосновать все лично.

Но время расправляется и с более целеустремленными людьми. Сначала разговоры становились все короче и короче, потом Богичевичу все труднее удавалось застать на месте своих собеседников, кто-то все холоднее сообщал ему, что барышня "только что ушла к модистке", а господин такой-то

“вот-вот должен прийти с банкета по случаю его очередного продвижения по службе”.

– Как? Не звонить?! Сменила номер?! – так, в отчаянии, закончил он переговоры личного свойства.

И с не меньшим отчаянием служебные:

– Ответ отрицательный?! Не может быть! Неужели по всем пунктам?! Слишком подробно?! – Да, как же. Станут они докладывать Комитету о том, что, по мнению Богичевича, понятия не имеют о происходящем на местах! Что удивительного? Ведь это их совершенно не интересует! Вот если бы речь шла о подробностях их драгоценных жизней, они бы каждую мелочь изучили так, словно это центр универсума!

И он утратил лоск. Все остальное стало лишь следствием. Туфли больше не блестели. Подковки стерлись, шагал он все тише и тише, в конце концов уже не было разницы между тем, шел ли вдоль перрона сам Богичевич или же ползла его вчерашняя или позавчерашняя тень. Рубашки одна за другой приобретали сероватый оттенок, начали изнашиваться. Серебряными запонками он больше не пользовался. Усики подстригал все реже. Слегка сдвинутая на затылок фуражка теперь сползала низко на лоб. Как-то раз во взгляде какой-то молоденькой крестьянки в зале ожидания он прочитал полное равнодушие к себе и понял, что теперь он уже не тот, что был, и форма сидит на нем точно так же, как и на любом другом железнодорожнике.

Некоторое время он продолжал звонить той особе и тому господину, даже иногда разговаривал с ними, нежно с ней, решительно с ним, хотя все, кто оказывался в эти моменты в его кабинете, опускали головы, делая вид, что не слушают, что не слышат повторяющийся прерывистый сигнал с другого конца линии, ясный знак того, что на самом деле телефонистке не удалось установить связь. Потом он прекратил и это. Ему больше не хотелось притворяться, что он все еще не отказался от своих былых намерений. Он уже не обращал внимания на колючки между шпалами. Он перестал заводить карманные часы. Серебряные запонки в виде колеса с крылышками ангела он теперь чаще носил в кармане, чем на рукавах... Так он утратил лоск. А вскоре на этой Богом забытой станции утратил и три пальца правой руки.

ВСЕ ПРОИЗОШЛО В ОДНО МГНОВЕНИЕ. Поэтому и я буду краток. Одна кумушка заболталась на перроне с другой кумушкой, словно они сто лет не виделись... Всего на мгновение она упустила из вида свою внучку... Девчушка, любопытная и подвижная, как все дети, спрыгнула на полотно между двумя расцепленными вагонами, которые должны были пе-

регнать на запасные пути... Маневровый локомотив тихо тронулся, толкнул первый из них... Неожиданно пришедший в движение вагон, неминуемо должен был задавить ребенка... Первая кумушка схватилась за голову, вторая закричала и стала звать на помощь... Богичевич краем глаза увидел все это... Подбежал, не думая о себе, вытолкнул девочку с рельсов... Схватился рукой за буфер, чтобы самому не упасть под колеса... Но рука попала под буфер второго вагон... Металл ударился о металл... И был слышен еще какой-то тупой звук... Буферы раздробили три пальца правой руки... Он и не знал, сколько в человеке может быть крови... И сколько благодарности в детском взгляде... А когда рана остыла, узнал, как может болеть то, чего нет... Он еще легко отделался, мог бы потерять всю руку... Пошатнулся... Упал без сознания.

Следующее, что он помнил: его положили на дрезину и повезли в ближайший город, в больницу. И так, лежа, он долго ехал, глядя в небо. И помнил, что на станции С., на запасном пути, им пришлось ждать, чтобы разъехаться со скорым поездом, потому что у того преимущество. И что ясный свод неба заменила какая-то очень яркая лампа, какой-то белый свет. И что рядом кто-то разговаривал:

— Нет его, доктор.

— Как нет?! Неужели ни одного пузырька?!

— Ни единого.

— Разрази вас гром, сколько раз я говорил, держать морфий под замком! С чем мне теперь работать?! Дайте ему хотя бы ремень в зубы, он же зубы себе поломает, так сжал челюсти! Ну, быстрее, быстрее, что смотрите... Такое не смог бы сшить и сам Господь Бог, сепсиса не избежать. Держите его крепче, сейчас придется убрать пальцы до третьего сустава, не то завтра придется ампутировать руку по локоть! Сестра, ремень! Распорите рукав, быстро... Богичевич, так вас зовут? Какого вы года? Спокойно, спокойно, вдохните поглубже, мне очень жаль...

Когда лечение закончилось, если можно назвать лечением ампутацию без наркоза, его перевели на другое место работы. Но вовсе не на какую-то более важную станцию, как, по его мнению, следовало бы с ним поступить после его храброго поступка. Он считал, что не может быть еще более Богом забытой станции, чем его Богом забытая станция. Он ошибался. Такие были. И их было довольно много. Кто-то высказал предположение, что в будущем от Богичевича большой пользы не будет. А на пенсию по инвалидности его случай не тянул. Ведь речь шла всего-навсего о трех пальцах. Но рука правая, а он не левша, так что аккуратно вести записи в стан-

ционном журнале не сможет больше никогда, поэтому его и послали туда, где было не важно, насколько поддается прочтению то, что он написал.

Вместе с решением о переводе: “<...> БОГИЧЕВИЧ переводится <...>” ему прислали отпечатанную в типографии и свернутую трубочкой бумажку, почетную грамоту, заполненную каллиграфическим почерком, где по ошибке, в месте для имени стояло: “<...> САВИЧЕВИЧУ выражается благодарность <...>”. Эту бумажку Богичевич изорвал на мелкие клочки и с первым же поездом, где был почтовый вагон, отправил в Белград на адрес Генеральной дирекции Государственных железных дорог. С комментарием: “Можете использовать в качестве конфетти, когда будете отмечать какой-нибудь праздник!”

Так он не стал маленьким, надежным винтиком в большом механизме. Сломался, сорвал резьбу, не приспособился. И так он стал разочарованным человеком, утратившим желание поддерживать в рабочем состоянии даже самого себя. Что-то в нем опасно разболталось. И так он начал не надевать шинель, а только накидывать ее себе на плечи. Возможно, чтобы не было видно, чтобы избавить себя от необходимости то и дело отвечать на вопрос: “Боже, что с вашей рукой?” А возможно, чтобы и самому не смотреть на собственную руку, на это физическое доказательство утраты чего-то гораздо более важного, чего-то такого в человеке, что главным образом и делает его человеком.

ОН НЕ ЖАЛОВАЛСЯ. Он был слишком горд, чтобы просить. Его переводили с одной Богом забытой станции на другую еще более Богом забытую, словно стыдясь его, словно пряча его и от себя самих, и от всего мира. С другой стороны, он и сам отдалился от людей. Ни с кем не имел дружеских отношений. Но он и не пристрастился к алкоголю, чтобы было с кем разговаривать или петь, бессмысленно обниматься или еще более бессмысленно хлопать друг друга по плечам. Он просто начал играть в шахматы. Сам с собой. Возможно, он высокомерно полагал, что у него нет достойного противника. Возможно, надеялся, что в нем все еще есть силы, что он — это то единственное, что могло бы оказать сопротивление разрастающемуся в нем чему-то мрачному. После нескольких сотен блиц-партий он понял, что так может продолжаться до самого Страшного суда и что пришло время внести ясность, начать решающий поединок “на все или ничего”, и будь что будет, только бы довести дело до конца.

Поэтому партию эту он играл, не торопясь. Вдумчиво. Пять лет до перевода на узловую станцию и ровно семь лет,

проведенных в Ч. В среднем ему требовалось три месяца, чтобы сделать свой ход и еще три месяца, чтобы сделать ход противника. Хотя чуть ли не с самого начала партии у него вылетело из головы, кто первый Богичевич, а кто второй. Кто кого вызвал на поединок? Кто играет белыми, а кто черными?

Единственное, что он знал твердо, и эта мысль завладела им полностью — у него нет права на поражение. Словно теперь все зависело от того, победит ли он. Увенчает ли себя лаврами. Беда была только в том, что партия должна была обязательно закончиться чьим-то поражением.

ЦИЦМИЛ. С ним он встретился, "пересекся" на станции П., а может быть, и Р., кто тут разберется после стольких переводов с одного места на другое. Кондуктор Цицмил превратился после этого в истинного болельщика, а не просто наблюдателя этой особой шахматной партии Богичевича против Богичевича. На все он смотрел со стороны, сидя на скамеечке возле печки, когда была не его смена, и никогда лично ни в чем не участвовал, то ковыряя мизинцем в ухе, то растягивая рот в гримасу, которая должна была походить на улыбку. На все он смотрел со стороны, ничего не комментируя, но однажды, наблюдая за тем, как Богичевич мучается, не выдержал:

— Не хочу мешать, но почему бы вам не договориться по-человечески и не согласиться на ничью?!

— Ничью?! То есть оставить вопрос открытым?! Со мной?! Это для слабаков. Для трусов. В жизни нужно или побеждать, или терпеть поражения! Такой результат, как ничья, не рассматривается. Тем более сейчас, когда у меня есть небольшое преимущество, — огрызнулся Богичевич.

— Преимущество?! Простите... — смутился болельщик. — Извините, у кого преимущество?! Перед кем?!

— У кого преимущество?! Откуда я знаю! — рявкнул начальник станции, глаза его налились кровью, усы растрепались, уже несколько дней он не спал, у него действительно было преимущество в одну пешку, но при этом, на противоположной стороне доски он пытался найти способ компенсировать это преимущество. — Тебе решать, у кого преимущество! Так, с этого момента ты будешь секундантом этой дуэли! Только по-честному! Взялся за фигуру — ходи! Я не хочу завтра убедиться, что отступил перед самим собой!

Цицмил понятия не имел, что такое секундант. Хотя быстро сообразил, что это что-то важное. Возможно, самое важное после самих участников поединка. И так же быстро он понял, что роль секунданта станет важнейшей ролью, кото-

рая у него когда-либо была и будет за всю его жизнь болельщика. Он растянул рот в гримасу – ту, что должна была походить на улыбку:

– Как скажете...

– Я не говорю. Я приказываю! И, тем самым, торжественно присваиваю тебе очередной чин! Устным приказом! – воскликнул Богичевич; в наброшенной на плечи шинели он и вправду походил на генерала. – Для начала, кончай бездельничать и приготовь нам двоим чего-нибудь поесть, уже не помню, когда я ел то, что едят ложкой и из глубокой тарелки. Особых претензий у меня нет, можешь и фасоли натушить. Главное, чтоб была горячей и хорошо разваренной.

Да, Цицмил не учел, что ему придется играть роль не только "секунданта", но и "посыльного" – готовить, накрывать на стол, мыть посуду, таскать дрова или уголь, мыть полы, чистить туалет, вытряхивать и проветривать шинель, чистить обувь, стирать рубашки и развешивать мокрые генеральские кальсоны сизого цвета на задах станционных зданий Богом забытых станций. И одного и другого генерала. Из которых неизвестно, кто больше орал. Но и это ему не было в тягость. Более того, по ночам он иногда, в тайне от Богичевича, шарил в карманах его брюк и, обнаружив там потускневшую серебряную запонку в виде колеса с крылышками ангела, полировал ее мягкой тряпочкой... Наблюдая за бескомпромиссной борьбой, видя, с каким жаром, а иногда и ненавистью, Богичевич сражается против Богичевича, он чувствовал, что стал свидетелем величественного исторического столкновения, которое, будь он более образованным, мог бы назвать поединком мифологических титанов. Особенно с тех пор, как ему было доверено передвигать фигуры и с одной и с другой стороны, поскольку у Богичевича, когда ему приходилось делать ход искалеченной правой рукой, внимание рассеивалось.

– Кхх... – с особым значением покашливал Богичевич, перед тем как объявить приказ, и Цицмил тут же, как на пружине, соскакивал со своей лавочки.

– Э нет, дружок, погоди! – внезапно передумывал Богичевич, продолжая общаться с самим собой и расхаживать туда-сюда по кабинету, а Цицмил разочарованно возвращался на запасные пути возле печки. – Задумал выманить меня на тонкий лед... Меня решил перехитрить! Меня! Не выйдет, браток. Этой ночью ничего у тебя не получится.

И так далее: встать-сесть, встать-сесть... Столько раз в день, что Цицмил боялся, как бы от таких бесконечных упражнений колени не подвели его в решающий момент. Дело в том, что Богичевич действительно казался медлительным,

пока обдумывал решение, но, приняв его и отдав команду, требовал от личного состава немедленного исполнения.

— Ладья! — выпаливал вдруг Богичевич так, словно приказывал военному судну стремительно переместиться с одних координат на другие. — Опа! С h7 на h2!

И Цицмил наконец делал ход. Ох, что это было за чувство! Да, конечно, приказ какой фигуре и куда идти, отдавал Богичевич, но именно Цицмил собственноручно выполнял отданный приказ. И потом возвращался к повседневным мелким обязанностям "посыльного". Или восхищался своим командиром. Или просто, в ожидании распоряжений, дремал на своей лавочке возле печки. А Богичевич ликовал:

— Что? Признавайся, браток, не ожидал, а...

Потом, быстро поменяв роль, и уже в другом настроении продолжал вышагивать по кабинету, объятый раздумьями, как ответить на этот ход, потому что теперь ладья на h2, грозная армада противника, была в опасной близости от его линии обороны.

И так от одного назначения до другого. От одной железнодорожной станции до другой. Под конец от местечка Л., недалеко от моря, там где кончались рельсы, до узловой станции Ч., казалось, навсегда затерявшейся среди окруженных хребтами гор.

ПРАВИЛА. С тех пор как он меня заметил, на что ему потребовалось некоторое время, Богичевич уже не упускал меня из виду. Всегда был строг, как и по отношению ко всем остальным. Но при том и ласков, как ни к кому другому. Что касается повседневной жизни в квартире на втором этаже главного здания железнодорожной станции, то мне была оставлена та же комната, да и все остальное на первый взгляд оставалось прежним. На первый взгляд здесь остался и "зингер", и "Bahnhofautomat" в зале ожидания... Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что ни швейная, ни музыкальная машины не работают, а более личные вещи, оставшиеся от Калоперовича и Джулы, могут уместиться в сложенных ковшиком ладонях. Несколько монет по десять сантимов, точнее девять штук. Баночка корицы, наполненная примерно на одну треть. Пять металлических и фарфоровых наперстков: по всей вероятности, Джула, отделив их от обычных домашних мелочей и поместив в служебный сейф, хотела обратить мое внимание на то, что я должен беречь свои слишком чувствительные кончики пальцев... Они, вместе с коллекцией прокомпостированных билетов на поезд, которая благодаря железнодорожникам постоянно росла, были самыми ценными предметами в моем имуществе. О, как же я был

счастлив, получив два раза пробитый щипцами кондуктора билет первого класса из Ч. в Белград и обратно! Тот, кто не забыл, что значит быть ребенком, поймет неизмеримую ценность такого сокровища.

На первый взгляд все осталось таким же, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить отсутствие женской руки Джулы. Цицмил старался, как мог. Он прожег дыры на нескольких рубашках, но после этого мастерство его возросло, и теперь все было отутюжено и выглядело, как "в витрине магазина на Теразие". К кипячению белого белья он отнесся ответственно. И даже на кухне заметно продвинулся, готовил теперь гораздо лучше, исчез привкус "холостяцкой" еды, чувствовалось, что во время стряпни он думает о тех, кто соберется вокруг нее за столом... Цицмил очень старался, но было и такое, что он отвергал наотрез:

— Свою кровать застилай сам! Я, брат, "секундант" и "посыльный", а не какой-нибудь твой "камердинер".

Старался Цицмил, скорее всего, не столько ради меня, сколько из-за Богичевича. Я не мог не заметить, что он восхищается своим начальником еще и потому, что считает его человеком слова, и поэтому предполагает, что в случае какой-то ошибки тот действительно может "пристрелить" его "как тетерева".

Так что во всей повседневной жизни чувствовалась забота, которую трудно было бы ожидать от людей, ведущих в определенном смысле образ жизни отшельников. Что касается строгости, ее можно было свести к десяти правилам, которые Богичевич ввел месяца через два-три после своего появления и которые оставались в силе все семь лет его пребывания здесь.

Первое: никто больше не должен называть меня Малыш, Малец, Детка, Парнишка, Душа моя, Джуленькин сынок, Маленький начальник и так далее. Действительно, по его примерной оценке мне, скорее всего, лет семь, но пора уже привыкать к тому, что ко мне обращаются, как к взрослому человеку, по имени. И держаться в соответствии с этим: прямо, живот втянуть, грудь вперед.

— Цицмил, распоряжение об обращении довести до общего сведения всех работников!

Второе: со всякими рассказами и историями, как во времена Джулы, покончено. Он не сомневается в ее благих намерениях, но это все женские досужие разговоры. То ли оно было, то ли не было. Без толка и смысла. Про то, про се... С этого дня взяться за ум, учить наизусть и декламировать поэзию. Естественно, героический народный эпос. Воспиты-

вать себя следует на лучших примерах. В скромной библиотеке, оставшейся после Калоперовича, есть, в частности, “Героические сербские песни новейшего времени о борьбе за свободу, собрал и издал Вук Стеф. Караджич”, и Цицмил эту книгу будет читать этому человеку, то есть мне, пока я не окрепну не только телом, но и духом, то есть изнутри.

— Цицмил, будешь что-то пропускать, плохо тебе придется! Следить буду и за одним, и за другим!

Третье: я должен учиться читать и сам. Не позволю же я себе зависеть от других, тем более от Цицмила. И подпункт этого третьего правила: я должен научиться и писать. И кириллицей, и латиницей. И левой, и правой рукой. Чтобы подобно ему не зависеть всю жизнь только от одной руки, а другой не уметь даже разборчиво подписаться. Никогда не знаешь, когда тебя предаст или бросит даже самый близкий человек, поэтому я должен быть готов к тому, чтобы существовать и без ближних. А если придется, то и в полном одиночестве. Словно я последний человек на свете.

— Цицмил, пусть начнет с большой буквы Ч., чтоб знал, куда возвращаться, если заблудится! Буквы полегче и так у него в голове сами собой улягутся!

Четвертое: торчать у окна, когда проходит состав “Восточного экспресса”, запрещается с настоящего момента, то есть с сегодняшнего вечера. Что было, то было. Откуда я взялся, оттуда и взялся. Не хочу же я, он надеется, всю жизнь заниматься вопросами, на которые нет ответа. Потому что, если так себя вести, не успеешь стать человеком.

— Цицмил, каждый вечер будешь в его комнате посыпать пол мукой, чтобы я видел, не вылезает ли он из кровати! Если не сможет заснуть в первую ночь, следующую будет спать как сурок!

Пятое: вводится дневное наблюдение из окна за свалкой и воронами, которые могут унести даже человека. Надо не жмуриться, а привыкать быть мужчиной, что значит — не бояться ничего. Твоя обязанность, Цицмил, — чтоб он смотрел!

Шестое: что бы я сейчас или потом ни сделал, никогда не оправдываться и не отчитываться перед теми, кто еще хуже меня. Потому что если бы они были лучше, то занимались бы своими делами. Только у того, кто ничего не умеет, только у такого есть время брюзжать. Что сделал, то сделал. Но я должен стараться делать все по-человечески.

— Цицмил, что ты там опять в ухе ковыряешь?! Тебя что, мои слова не касаются?!

Седьмое: если у меня есть обоснованные замечания, даже и лично к нему, я должен их свободно изложить. Разумеется,

в самой сжатой форме. Но не стесняясь и не пытаясь замазать все розовой краской. Я ведь, наверное, не хочу стать таким как тот, кого называют Позвольтекоечтосказать. Он вечно останется всего лишь заместителем начальника станции и недоделанным человеком.

— Цицмил, не растягивай рот в улыбку! Напрасно надеешься! К тебе это правило отношения не имеет! Тебе поздно выступать с замечаниями!

Восьмое: я могу рассказать и сказать ему все, как будто я его сын, но при этом не должен дергать его поминутно, без особой необходимости. Мне следует научиться кое-что держать при себе. Боже мой, подумаешь, ну, поболит и перестанет. От такого не умирают. Напротив, от такого быстрее взрослеешь. Нельзя стать человеком, питаясь одними сладостями и радуясь приятным событиям. Кроме того, ему некогда слушать нытье и причитания, ему нужно продолжать шахматную партию, сконцентрировать внимание не противнике.

— Цицмил, ты мог бы и испечь что-нибудь эдакое... Ну, бисквит или пудинг... Не хочешь же ты, чтобы у Николы в памяти осталось: за то время, что мы здесь, ни разу не поставили на стол ничего сладкого?!

Девятое: что касается шахмат — этому не учиться. Мистическая игра. Стоит только начать, и после первых же ходов делается совершенно непонятно, кто есть кто. Пусть его собственный запутанный случай станет для меня примером.

— Цицмил, чей ход: белых или черных?

Десятое: заключительное, скорее просьба, чем правило.

— Цицмил, передай этому человеку, что больше мне сказать ему нечего! Кроме того, чтобы надел тапочки! Сто раз ему говорил — простудишься! А теперь все свободны! Приступить к выполнению!

ВЫПОЛНЕНИЕ. И все эти семь лет я так и поступал, в соответствии с правилами Богичевича. Насколько умел и мог. Не позволял, чтобы меня называли Малышом или что-нибудь в таком роде, а если кто-нибудь по привычке и допускал такое, я холодно ставил его на место:

— Можно подумать, ты сам очень большой!

Я научился декламировать стихи из героического эпоса. Вскоре Богичевич даже перестал меня проверять. И в полном противоречии со своим крутым нравом иногда просил, “давай-ка сейчас эту” или “а теперь ту, похожую, но немного другую”. Я с выражением, как мог старательно, декламировал, мой голос взлетал и парил, Богичевич в наброшенной на плечи шинели неподвижно стоял у окна, мечтательно глядя вдаль:

— Зорка ясная не запылала, Даница-звезда не показалась, а уж закричала громко вила с Авалы-горы, что над Белградом...

Я научился очень быстро читать. И писать. И кириллицей, и латиницей. И левой, и правой. Выучил цифры. И арабские, и римские. Начал считать. И так успешно, что Богичевич стал доверять мне сначала простые, а потом и очень сложные задания по контролю "Транспортного журнала станции", по составлению записей для "Протокола об отклонениях", отчетов, заполнению накладных, записи отработанных персоналом часов, подведению баланса станционной кассы, сложению общей грузоподъемности всех вагонов состава и вычислению нагрузки на ось вагона... Он, накинув шинель, стоял возле окна, и диктовал слово за словом, и где поставить запятую, а где точку, и какое произвести арифметическое действие:

— Тонно-километр брутто — это вес перевезенного груза, умноженный на расстояние, на которое перевезен груз. Тонно-километры брутто вычисляются умножением...

Я больше не вставал с постели смотреть на "Восточный экспресс". Хотя меня продолжало интересовать, откуда я попал сюда в ту снежную ночь — со стороны Стамбула или со стороны Парижа? К воронам над свалкой я привык, хотя ни за что на свете не решился бы перейти по виадуку железнодорожные пути, чтобы понаблюдать за ними с близкого расстояния. Я все еще помнил, что говорила мне Джула:

— Никола, детка, смотри, чтобы черти тебя не попутали пойти туда...

С другой стороны, я ни перед кем не отчитывался, не оправдывался. Даже перед Богичевичем. Например, я по-прежнему любил слушать рассказы и истории, по его мнению, достойные одних только женщин. Особенно те, с которыми возвращались из поездок машинисты, то есть железнодорожники, склонные к преувеличениям и даже к откровенному вранью, когда они по мере развития сюжета уж очень входили во вкус:

— От тебя Никола, правду скрывать не стану, как скрываю ее, когда говорю с другими... Странствуя по всему свету, этот поезд-призрак сам собой становится все длиннее... Поначалу в нем было всего два-три вагона, а сейчас это состав вагонов в семьдесят, а то и в восемьдесят...

Умел я и высказать замечание, если оно возникало. И мог сам справляться со своими заботами. А шахматы? Этой игрой я так никогда и не овладел. Мне гораздо больше нравилось домино, в которое за столиками станционной "Ресторации"

играли все, кто ждал начала своей смены. Научил меня один из лысоватых стрелочников:

— Смотри, все просто. Пустое всегда идет к пустому, один пристраивается к одному, и так по порядку, до шести, но сама цепь всегда другая, ее можно продолжать прямо, а можно, если захочешь, заворачивать в сторону, маршрут никогда не повторяется. И делая повороты, получаешь удовольствие. А цель в том, чтобы в конце у тебя руки остались пустыми, без единой костяшки... Эта игра человека успокаивает, а не возбуждает.

И все-таки в одном я не следовал совету Богичевича. Всегда, когда только мог, ходил босым, не обувался. Дело было в чем-то, что сильнее меня.

МАТ. А мог бы быть пат. Однако один из Богичевичей на это не согласился. Он заявил приблизительно так: “Если ничья это ничто для одного, то пат ничто для всех, следовательно, это двойное ничто! — И добавил буквально следующее: — Какого хрена было играть больше двенадцати лет и так и не узнать, кто выиграл!”

Положение было таково: на доске осталось всего шесть фигур. Цицмил болел уже несколько месяцев и теперь боялся даже моргнуть, — очередной ход мог стать решающим. Богичевич десятки раз открывал, было, рот, чтобы приказать “секунданту” какой фигурой пойти. Ровно столько же раз Цицмил приподнимался со своей лавочки, бледный, осознающий близость переломного момента. Богичевич десятки раз передумывал и вскакивал с места, чтобы пройтись вокруг письменного стола в кабинете или обеденного в служебной квартире. Иногда прохаживался туда-сюда вдоль перрона или, как безумный, карабкался на холм за станцией к никому не нужному зданию, словно оттуда можно было лучше оценить расстановку сил. А иногда “посыльный” трусил за ним с шахматной доской, на которой стояло шесть фигур, словно с подносом, на случай, если начальник станции наконец решится на какой-то ход. Работники станции только качали головами. Пассажиры осеняли себя крестным знамением. В те месяцы даже вороны перестали таскать с места на место крупные вещи, они только каркали и кружили над узловой станцией, как над полем битвы. Тем не менее, откуда ни смотри — и из кабинета, и со второго этажа служебной квартиры, и с перрона, и с холма над станцией, и даже с гораздо большей высоты, — было ясно, что вороны решили хоть одного человека да унести за облака — у Богичевича была возможность следующим ходом привести партию к ситуации бесконечного и безвыходного топтания на месте, то есть па-

та. Но он этого не хотел. Ведь он сам сказал, что пат это двойная ничья, что на ничью соглашаются по трусости, а на пат — от полной безвыходности.

Наконец, на заре одного из октябрьских дней, Богичевич рявкнул так, что своим приказом разбудил даже меня:

— Цицмил, вставай! Чего ждешь, бездельник?! Вперед! Король! С f1 на f2!

Цицмил, еще не очнувшись от сна, вскочил, как на пружине, и, привыкший беспрекословно исполнять приказания, переставил короля. Но он не растянул рот в гримасу, которая должна была бы походить на улыбку, потому что тут же понял: желая избежать пата, Богичевич ошибся и поставил себя в безвыходное положение, потому что следующий, ответный, ход означал для него мат. "Секундант" попытался что-то предпринять, как можно скорее незаметно вернуть фигуру на место, я это видел, я стоял на пороге своей комнаты, в пижаме и босой, но Богичевич понял намерение "посыльного" и крикнул:

— Цицмил, ты что задумал?! Руки прочь! Взялся за фигуру — ходи!

И ввиду того, что все было ясно, начальник железнодорожной станции Ч. не собирался оттягивать свое поражение надолго, и тут же, не переводя дыхания, тихо добавил:

— Цицмил, слон с e7 на c5. Шах. Мат. Я проиграл...

— Проиграли?! Кто сказал?! Да, мат... Но с другой стороны, можно сказать, что именно вы победили... — Цицмил сделал еще одну попытку.

— Ладно, брат, не философствуй! Держись с достоинством! Что тут стыдиться! Проиграл! И делу конец! — Богичевич поставил точку на дальнейшем обсуждении.

Колени Цицмила не выдержали, и он, как подкошенный, рухнул на свою лавочку возле печки.

— Куда? — нахмурился Богичевич. — Шинель! Что уставился, Цицмил?! Прими шинель! Можешь оставить ее себе. За все годы верной службы ты заработал право оставить ее на память!

Цицмил взялся за шинель и снял ее с начальника станции. Под ней Богичевич носил свитер, надетый поверх одной из своих старых рубашек, когда-то давно белой, с обтрепавшимся до бахромы воротником и манжетами. Первый и последний раз я видел его таким. Он был похож на разжалованного генерала. Еще он сказал Цицмилу:

— В смысле завтрака на меня не рассчитывай! И вообще можешь меня вычеркнуть из списков. И в смысле хозяйственных расходов и по всем другим вопросам...

А потом повернулся ко мне:

— Никола, знаешь такую песню, которая начинается: “Взвился сокол ясный в поднебесье, полетел он к Иерусалиму, птицу-ласточку в когтях несет он...”

Я отрицательно помотал головой. Книги с этой народной песней не было в скромной библиотеке, оставшейся после Калоперовича, так что я ее не то что не знал наизусть, но даже никогда и не читал.

Богичевич грустно улыбнулся:

— Жалко.

Потом приободрился и заботливо добавил:

— Смотри мне, держись... Живи! И не болтайся босым, простудишься... Считается, что великие люди всегда в конце жизни говорят что-то важное. Наполеону приписывают, что, умирая, он проговорил: “Франция, армия, Жозефина...”, причем именно в таком порядке, Бисмарк в предсмертном кошмаре якобы воскликнул: “Сербия!”, наш король Александр будто бы сказал: “Берегите Югославию...” Ну, а моими последними словами были бы... Цицмил, только потом не приукрашивай, у тебя нет вкуса к истории! Мои последние слова были бы: “Никола, сколько раз тебе повторять, надень тапки!”

Вот так он сказал. Порылся в карманах брюк, потом словно вспомнил, где то, что ищет. И вышел из служебной квартиры на втором этаже главного здания узловой станции Ч.

ПОТОМ ВЫЯСНИТСЯ. Все было не так, как в романах: серый, куцый осенний день и тому подобное... Напротив, по всей земле разлилось золотое осеннее утро, солнце пригревало, как весной.

Потом выяснится: Богичевич из здания станции направился к виадуку. Будь у него револьвер, он, наверное, им бы и воспользовался. Впрочем, может быть, и нет, потому что ему в таком случае пришлось бы держать его в левой руке, которой он не доверял, а он был явно не из тех людей, которые с револьвером у виска станут полагаться на случай. Вешаться, чтобы свести счеты с жизнью, он считал бабьим делом. Отравление — это для истерических и других неуравновешенных особ, а он себя к таким не относил. Поэтому и направился к виадуку, узкому пешеходному мосту через насыпь и сплетение железнодорожных рельсов. Он не стал долго, как в романах, размышлять, примеряться, да или нет... На середине виадука остановился и перешагнул через низкое ограждение. Он не раскидывал руки в стороны, как это обычно красочно описывают. Просто прыгнул и рухнул между двумя путями на землю, как наполненный землей мешок. Да, воз-

можно, единственное, о чем он позаботился, — это чтобы упасть не на рельсы, а на землю, все остальные литературные штампы, стилистические фигуры и "переносные смыслы" его не волновали.

— Что-то тяжело рухнуло! — телеграфист в своем помещении вздрогнул, у него был невероятно острый слух, хотя он очень редко сообщал другим о том, что слышит.

Так как в тот день дежурный по станции, которого называли Гуцуле, был выходным, он с утра пораньше с помощью ракии добился "удвоения" своей картины мира и, выходя из "Ресторации", столкнулся с одним из стрелочников, отпихнул его в сторону и с криком побежал к главному станционному зданию:

— С дороги! Остановить движение поездов! Под виадуком погибшие!

Потом выяснится: была образована Комиссия по расследованию. Движение остановлено на целых три часа, начался переполох, сострадание быстро выветрилось, пассажиры возмущались, у каждого имелась жизненно важная причина спешить, "Ресторация" была битком набита, кто-то после нескольких кружек пива уже начал буянить:

— Он что, какой-то особенный?! Можно подумать нам всем не хватило бы на это ума, можно подумать мы все не могли бы здесь свести счеты с жизнью?!

— Чего ж ты первым не поднимешь на себя руку?! — бросил ему кто-то.

— Думаете я бы не смог... Смотри, что я сейчас сделаю... Думаете не смогу... Смотрите... — повторял разбушевавшийся любитель пива и, в конце концов, схватился за новую кружку.

Потом выяснится: тело, наконец, унесли, семафоры открыли, локомотивы загудели, пассажиры зашумели, первым исчез тот, кто шумел больше всех, а к собравшимся рабочим, стоявшим, склонив головы, обратился председатель Комиссии, вечный заместитель начальника станции. Он, торжественно начал:

— Позвольте кое-что сказать.

Потом выяснится: Комиссия раскопала в переполненном станционном складе забытых вещей какой-то ящик из еловых досок. Не гроб, но его можно было так использовать — он соответствовал габаритам. В нем хранилось большое настенное зеркало, разбитое невесть когда. Оно было невесть кем послано невесть кому. Но так как разбитое зеркало — плохой знак и предвещает столетний период несчастий и бед, и тот, кому это было послано, отправил его невесть кому-то третьему. И так ящик десятилетиями мыкался по раз-

ным маршрутам государственной железной дороги, потому что не находилось адресата, который согласился бы его принять, и, в конце концов, его путешествие закончилось, естественно, в Ч., а где бы еще? Итак, Комиссия случайно обнаружила этот ящик среди потерянных вещей, случайно вскрыла его, вытащила и выбросила позолоченную раму, осколки стекла высыпала в ведро... Путейские рабочие осторожно положили Богичевича в ящик. "Отгрузочные документы" заполнил и подписал Позвольтекоечтосказать. Пунктом назначения стоял городок Л., тот, в котором заканчивалась железнодорожная магистраль. Там, в Л., они, должно быть, знают, куда дальше. Должно быть, помнят, откуда прибыл к ним ненормальный начальник станции и куда его потом посылали, пока он не оказался на Богом забытой станции, где скорость прорастания колючек выше скорости движения поезда... Учитывая количество переводов Богичевича с одного места на другое, можно предположить, что эта дорога будет долгой, очень долгой.

Потом выяснится: лицом, сопровождающим останки, был назначен "посыльный" Цицмил. При этом он не захотел занять место в служебном купе пассажирского вагона, а выразил желание остаться рядом со своим патроном до конца, до того пункта, где и началась карьера Богичевича. Цицмил принес в товарный вагон свою лавочку и сокрушенно сел рядом с гробом. Когда рабочие закрывали дверь вагона, чтобы навесить на нее замок, они увидели, что "посыльный" набросил на ящик шинель.

Потом выяснится: состав двигался медленно. Или с локомотивом что-то было не так, и поэтому он тащил его с таким трудом, словно поезд состоял из перегруженных вагонов. Или машинист из уважения к безумному начальнику станции не хотел, чтобы поезд шел быстрее, поэтому держал давление на самом низком уровне.

Во всяком случае, потом выяснится: состав двигался очень медленно. Как траурная процессия. Как будто это величественные, торжественные похороны.

III

ПОЛЗУЧИЕ СТЕБЛИ, ФЛЮГЕР... МИР. Знаю, звучит грубо, но мир станционного склада забытых вещей я открыл благодаря трагической гибели начальника станции. Считаю, что в случае Богичевича другие слова не подходят, потому что, в сущности, он не совершал самоубийства, а погиб из-за самого себя.

Я присутствовал при опознании. Стоял рядом с виадуком, на насыпи, когда забирали тело. Болтался за спиной взрослых, точнее за спинами членов Комиссии из трех человек... В станционном складе забытых вещей они искали какой-нибудь ящик или что-то еще, куда можно было бы положить тело Богичевича. Так решил Позвольтекоечтосказать. Что не значит, что вечный заместитель начальника станции об этом сообщил. Тем не менее все поняли — кто же еще будет распоряжаться и ждать, когда на узловую станцию Ч. прибудет все, что нужно для похорон — венок, могильный крест, покрывало и гроб?! Ведь сюда с опозданием доставляют даже то, что крайне важно для жизни. А сколько же придется ждать того, что нужно упокоившемуся?! Уж лучше сейчас немного помучиться, заглянуть туда-сюда, порыться вверху-внизу, чем бог знает сколько ночей собираться на бдение, сидеть при призрачном мерцании свечей, да еще рядом с мертвецом, который становится бледнее и бледнее и у которого продолжают расти и без того огромные усы. Так действительно будет лучше для всех. Кроме того, Богичевич никогда не любил с ними общаться, а подчиненные были ему нужны, только чтобы на них кричать. Так почему бы им не оформить отгрузочные документы и обязать кондуктора Цицмила сопровождать тело, а потом пусть в городке Л., там, где кончается железнодорожная магистраль, и откуда, собственно, и прибыл к ним начальник станции, ломают голову в каком направлении Богичевичу продолжить свою последнюю поездку... Таким образом, оставалось лишь отыскать, во что бы подходящее упаковать покойника и дальше обычное течение жизни может продолжаться.

Тогда я в первый раз и увидел тот маленький и одновременно большой мир, в котором можно что-то найти, только если ищешь нечто совсем другое. Это было собрание и самых обычных, и весьма удивительных вещей, забытых за многие годы в зале ожидания, в вестибюле, на перронах, в поездах... Собрание, о котором, очевидно, никто особо не заботился, потому что здесь не было вообще никакого порядка. Может, из-за безразличия, может, из-за безалаберности склад уже давно был битком набит огромным количеством всякой всячины.

И вот, я это хорошо помню, я взял один то ли отложенный, то ли просто брошенный комочек газетной бумаги. Из множества хранившихся на складе несравненно более интересных для мальчика предметов я потянулся к этому, ничем не примечательному, скомканному листу газеты! Кто знает почему?! Объяснение наверняка есть. Но, видимо, если я отвечу на этот вопрос, то отвечу совсем случайно, тогда, когда буду безуспешно пытаться понять что-то совсем другое.

КОМОЧЕК. Как я уже сказал, это была одна-единственная скомканная газетная страница. В отличие от взрослых, дети редко колеблются, они не раздумывают бесконечно, хорошо ли будет так, и хорошо ли будет сяк, и какие это вызовет последствия... Я тут же развернул надорванную в нескольких местах страницу. В середине комочка находились какие-то семечки, пять штук. Но содержимое никак не объясняло, почему кто-то счел его достойным хранения. Я мог представить себе, что комочек найден в щели между сиденьями в купе поезда. Возможно, он выпал из кармана неведомого пассажира, когда тот шагнул с подножки вагона на перрон узловой станции Ч. Или же этот некто, долго просидев в зале ожидания, встал с лавки потянуться, размяться, а комочек упал и закатился под лавку... Но я никак не мог понять, почему кто-то — да кто угодно — отнес его на склад потерянных вещей?!

Я рассматривал черные семечки, они были одного размера и все пять могли поместиться в наперсток для шитья, один из тех, что оставила мне Джула. Я смотрел и смотрел на семечки, но ответ, разумеется, был где-то в другом месте.

Оказалось, и в самом деле очень близко. В верхней части газетного листа можно было прочитать типографски отпечатанные слова: “Страница 9 — ПОЛИТИКА — 25 сентября”. И дальше продолжение, от руки, чернильным карандашом: “Лета Господнего 1932”.

На полях, справа, тем же карандашом, тесно сбившимися буквами было написано: “Семечки из куска отличного арбуза, которым меня от всего сердца угостила Госпава Миланич в поезде во время поездки до станции Ф. Эта Госпава — женщина невысокого роста, плотная, без единой морщинки, с крутыми боками, в полном соку, как говорит наш народ, так и кажется, шлепни ее ладонью где угодно, и услышишь такой же “зрелый” звук, как и от ее арбуза...”

С этой стороны страницы места больше не было и продолжение располагалось на полях слева: “Арбуз среднего размера, правильной, слегка вытянутой формы, с тонкой, темно-зеленой коркой. Когда его расколешь, в сердцевине, вокруг “сердца”, выступает роса. Мякоть красно-розовая, сочная, исключительно вкусная и сладкая, утоляет жажду. Пахнет снегом...”

А так как и здесь места больше не было, несколько слов было добавлено внизу страницы: “Попытаться с этими семечками. Обычным высаживанием. Спасать. Спасти, сколько возможно... Благое Тодорович, собственноручно”.

Вот, собственно, и все. Некий Благое Тодорович в поезде попробовал арбуз. Семечки оставил и завернул в газетную стра-

ницу. И потерял. Какой-то здешний железнодорожник нашел комочек бумаги. Прочитал, что написано. Решил сохранить семена, хотя бы отнеся их на склад. Я мог себе представить...

И ТУТ МЕНЯ ВЫСТАВИЛИ. Позвольтекоечтосказать, председатель Комиссии, он же и ее первый член, победоносно указал пальцем на какой-то ящик из еловых досок, не скрывая радости, что больше не нужно ворочать на складе пыльные предметы:

– Позвольте кое-что сказать!

– Находка! Вполне подходящий, даже удобный! – поцокал языком второй член Комиссии.

– Ну вот, нашли Богичевичу пристанище! – обрадовался третий член Комиссии.

Позвольтекоечтосказать как самый главный из всех сделал железнодорожным рабочим знак рукой, означавший команду открыть ящик. Те принесли гвоздодер, вскрыли ящик. Внутри оказалось бесчисленное множество мелких осколков большого зеркала. Второй член Комиссии перекрестился, разбитое зеркало приносит несчастье, одни говорят на целых сто лет, другие утверждают, что ровно на столько лет, на сколько осколков разбилось зеркало. Он потребовал внести это замечание в протокол, с указанием имени и фамилии, Средое Ракич, чтобы было отражено, кто что сказал, кто во что внес свой вклад, а не просто так, как попало, анонимно, будто вторым членом может быть кто попало.

– Прошу вас, я настаиваю, чтобы было указано... Я и раньше всегда участвовал в важных событиях, а нигде не упомянут... В письменном виде – это в письменном виде, кто может судить, что будет считаться имеющим историческое значение сто лет спустя! Я повторю для протокола: “Средое Ракич обратил внимание...”

Третий член Комиссии не был столь суеверен. И его больше заинтересовала позолоченная рама:

– Пустая, но какая роскошная!

Комиссия приказала железнодорожным рабочим вытащить раму и ссыпать ни на что не годные осколки в ведро, тоже потерянное, которого, хотя оно и было новешеньким, похоже, никто никогда не хватился. Кусочки зеркала мерцали в наполненном до краев сосуде. Их было гораздо больше, чем показалось сначала, поэтому брызги света попали даже на потолок, даже добрались до металлической бочки, содержавшей в свое время машинное масло “Shell”, а теперь наполненной всевозможными потерянными ключами.

Второй член Комиссии, ступая по кусочкам зеркала, трескавшимися под его ногами на десятки еще более мелких об-

ломков, подошел к ящику из еловых досок и осторожно наклонился над ним:

— Да, ей-богу, покойник сюда, как миленький, ляжет! Места хватит. Даже, может быть, его и слишком много. Боюсь, как бы при транспортировке не начал он у нас здесь гулять... Прошу записать, что я сказал и это. Я. Средое Ракич.

— Может, его завернуть во что-нибудь, что-то подоткнуть... — предложил третий член Комиссии и принялся оглядываться по сторонам в надежде найти что-нибудь подходящее, чем можно заполнить лишнее пространство.

Тут очень кстати обнаружились одеяло и подушка с монограммой "ГЖД". Вероятно, в спальном вагоне одного из поездов когда-то не хватило именно этого спального комплекта. Перед тем как железнодорожные рабочие положили тело начальника станции в ящик и сделали все так, чтобы оно как можно меньше "гуляло", один из них, лысоватый стрелочник, сказал:

— Малыш, тебе здесь что нужно?! Это не для детей, смотреть на мертвецов! Давай-ка отсюда, мигом!

— Можно подумать, вы очень большой! А зовут меня — Никола! — ответил я с вызовом.

Стрелочник осекся, замолчал, должно быть, вспомнил приказы Богичевича "об обращении". Слова генералов звучат и после того, как битвы закончились.

Но мне все-таки пришлось выйти из станционного склада потерянных вещей. Сунув за пазуху скомканный лист газеты с семенами. Никто на меня даже не оглянулся. Есть люди, которые не заметили бы и того, что весь мир вдруг разом исчез. При условии, что никто не тронул того, что они считают принадлежащим им. Не-ет, это уже другое дело! Тут они будут и волноваться, и причитать, и ужасаться...

Под дверью склада стоял "посыльный" и "секундант", всю жизнь болельщик, безутешный кондуктор Цицмил. Стоял приготовившись, уже с лавочкой и шинелью, которой чуть погодя накроет импровизированный гроб. Он вздыхал:

— Ведь он мог выиграть. Я видел. Эх, если бы он согласился уступить... Такая потеря... Слава героям! И пусть простит его Бог!

Учитывая то, что вечный заместитель начальника станции не мог продвинуться дальше своего "Позвольте кое-что сказать...", впечатляющие слова Цицмила были восприняты как надгробная, прощальная речь.

СВЕТ. Арбузные семечки я присоединил к своим сокровищам, положил в жестянку с девятью монетками, баночкой молотой корицы, пятью наперстками и множеством использо-

ванных железнодорожных билетов. Я спрятал семена завернутыми в ту же газетную страницу, она сберегает влагу, и семечки, может быть, не засохнут, хотя вероятность того, что спустя столько лет они прорастут, была мала, но отчего не попытаться, не попробовать, не поверить в спасение, как и записал их владелец на полях газетной страницы. Жестяную коробку я прятал в потайном месте, уверенный, что один я на белом свете, знаю, где она находится...

Однако, открыв жестянку, чтобы положить туда семечки, я понял, что и Богичевич был в курсе того, где я ее хранил. Потому что, кроме всего перечисленного, я обнаружил в ней серебряные запонки в виде колеса с крылышками ангела. Скорее всего, ему не хотелось разыгрывать театральную сцену, вручая мне запонки перед Цицмилом. Может быть, это показалось ему патетическим, недостойным мужчины актом, не гармонирующим с теми героическими, примерами, с которыми он знакомил меня целых семь лет. А может быть, он стыдился собственных, почти отцовских чувств. Все же он собрался с силами и сделал это. Втайне не только от Цицмила, но и от меня. Он скрыл это и от самого себя, боясь показать грубой половине своей натуры даже малейшие проявления нежности.

Я не заплакал только потому, что Богичевич говорил мне, что не выносит слез. Я дохнул на запонки и принялся бешено тереть их о свою грудь, о ткань рубашки. Они были холодными и потемневшими, но прошло некоторое время, и серебро ожило — засветилось.

ПОЛЗУЧИЙ СТЕБЕЛЬ. Об арбузных семечках речь немного позже, в апреле или мае следующего года, когда земля достаточно нагреется, и непогрешимый порядок устройства природы потребует положить их в землю. Проросли! Поэтому, может быть, лучше поговорить о них в августе или сентябре, когда арбузы станут крупными, и я, каждый день пробираясь между ползучими стеблями и похлопывая ладонью, буду “на слух” определять, какой из них дозрел и заслужил, чтоб его сорвали. А может, еще лучше часом позже, когда выбранный плод охладится под льющейся из колонки струей воды. Однако уже сейчас следует сказать, что ножом пользоваться не стоит, арбуз нужно разбить об землю или о стол, желательно каменный, дворовый, а потом всем лицом утонуть в самом крупном куске и так и есть его дальше, чтоб сладость струйкой ползла по подбородку, и дальше вниз, по шее... Обо всем этом позже, а сейчас совсем коротко о ползучем стебле истории жизни того таинственного Благое Тодоровича. Об ее ползучем стебле, который на протяжении многих лет появлялся то

тут, то там, отчего и мой рассказ получится скачкообразным. Далеко не всё мне удалось обнаружить, но этого достаточно, чтобы догадаться, куда тянулся этот ползучий стебель и какие плоды приносил, долго и щедро.

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ФРУКТЫ. По воле случая, весной 1942 года я узнал... Какой-то невнимательный студент, изучающий агрономию, а может, и владелец земли, знавший грамоту, забыл в пассажирском поезде, следовавшем из Д. в С., книгу "Фруктовые деревья и фрукты" из так называемой "Синей серии", уже тогда довольно старое, 1899 года, издание "Сербского союза книгоиздателей", содержавшее 455 страниц (первая отсутствовала) и 263 рисунка, разбросанных по всему тексту. Автором книги был тот самый человек, записи которого я нашел на полях смятого листа газеты "Политика", да, да, автором книги был Благое Д. Тодорович.

В ней, после короткой главы "Из истории садоводства", можно прочитать все о пользе фруктовых деревьев, о строении их тканей и органов... Дальше – об их жизни, о прорастании, питании, развитии, цветении... О внешних факторах – воздухе, свете, воде, тепле, составе, состоянии почвы... О саженцах, прививках, посадке... Об уходе, обрезке веток и прореживании кроны, о покраске стволов побелкой, об удобрении, о подпорках... О "друзьях и врагах"... О том, как собрать урожай, перевезти и положить на хранение. В завершение чего следовал "ключ", то есть регистр терминологии и еще несколько строк под заголовком "Главные опечатки". И в самом конце – перечисление всех книг, опубликованных в этой серии в 1899 году: начиная от "Отечественных записок" Доситея Обрадовича, за которыми следовали книги лирики и сборники рассказов современных сербских классиков, и кончая "Исландским рыбаком" Пьера Лоти в переводе Тилии Довияничеве.

Помолог Тодорович о фруктовых деревьях и фруктах пишет научным языком, часто ссылаясь на известного Николая Гоше, директора Частной школы садоводства в Штутгарте. Но за каждой строкой сквозит что-то гораздо большее, поэтическое, поэтому книгу можно воспринимать и как своеобразную поэзию. Я бы добавил, что в его описаниях укоренения отводков, появления первых побегов, не говоря уж о величественном моменте раскрытия первого цветочка, иногда больше драматической напряженности, чем в творениях многих романистов. Попробуйте проверить мою оценку и вы сами в этом убедитесь, если вам, конечно, удастся отыскать эту книгу, потому что, говорят, найти ее в наше время очень трудно. Кстати, имейте в виду, один экземпляр хранится на

станции Ч. Повторю, чтобы напомнить безответственному владельцу: книга потеряна в пассажирском поезде, следовавшем из Д. в С. весной 1942 года.

СВИДЕТЕЛЬСТВА. Дальше, благодаря школьному аттестату, найденному в другом поезде осенью 1943 года, я узнал, что Благое Тодорович еще в начале XX века, а точнее в 1903 году, был директором школы "Землепашец" в городке К., первого сельскохозяйственного учебного заведения в Сербии (основанного Указом князя Милана Обреновича в 1882 году как Школа хлебопашества). А некоторое время спустя, благодаря еще одному потерянному аттестату, найденному в зале ожидания в потертом кожаном саквояже вместе с инструментами для прививки садовых деревьев, я узнал и то, что Благое Тодорович в 1905 году был директором Винодельческо-садоводческой школы в Б. (неподалеку от Н.). На том и другом документе в нижнем правом углу переплетаются друг с другом буквы подписи Тодоровича.

Имен тех, на чье имя выданы аттестаты, я открывать не стану, потому что от заявляющего о пропаже требуют предъявить достоверное доказательство того, что именно он является хозяином пропажи, чтобы не получилось так, что столь важные бумаги попадут в руки тому, кому на самом деле они не принадлежат. Если, конечно, найдется кто-то, кому могут понадобиться аттестаты двух школ, датированные давними 1903 и 1905 годами. Между тем Инструкция об обращении с найденными предметами в статье 8, параграф 1 однозначно требует: "Если владелец найденного предмета или уполномоченное им лицо обратится на станцию, где предмет был найден, до того, как тот будет отослан на станцию, где находится склад, предмет ему возвращается по представлении им достаточно убедительных доказательств, что он имеет права на найденный предмет". Обращаю особое внимание на слова "при представлении им достаточно убедительных доказательств".

Почему люди так часто теряют аттестаты, я так никогда и не понял. Сообщаю просто ради информации: в Ч. за все эти десятилетия их набралось триста восемьдесят один, включая аттестаты как о среднем, так и об университетском образовании. Со всех концов страны. Есть среди них и заграничные. Я не стал бы гадать, что это — обычная беспечность, свойственная нашим людям, или подтверждение того, что здесь, у нас, время от времени обнаруживается: факт окончания любой школы не так-то уж и важен. Однако, судя по тому, что за все эти десятилетия было потеряно всего двадцать шесть членских билетов разных партий, легко посчитать, что партийный билет у нас в четырнадцать раз важнее любого атте-

стата об образовании. И во столько же раз старательнее его берегут. В среднем. Потому что если проанализировать статистику по годам, можно заметить, что в новейшее время принадлежность к любой партии ценится в сто раз выше, чем диплом доктора наук, например физических, специальность — астрономия. Сообщаю просто ради информации: один такой диплом доктора уже целых десять лет находится на складе в Ч., средний балл — 9,9 по десятибалльной шкале. Правда, в данном случае я сомневаюсь, что этот диплом был потерян, скорее всего, его просто выбросили, я нашел его среди обычного мусора разодранным на четыре части, словно хозяин, уезжая куда-то, в отчаянии решил порвать его вдоль и поперек. Хм, куда же он уехал?! Вот так все это выглядит, если проследить за ползучими стеблями истории старого помолога Благое Тодоровича.

ЗАМЕТКА. Газет здесь были связки и связки. Покажется маловажным, но в одной газете, когда я читал очень старые номера, чтобы суметь понять более новые, я нашел скромную заметку, из которой следовало, что Благое Тодорович в конце XIX века вместе с многими известными и уважаемыми людьми участвовал в благоустройстве природного источника сернистой воды и в основании курорта М., известного своим благотворным действием при лечении бесплодия и болей в костях. Заметка состояла едва ли из восьми строк и может действительно показаться маловажной, но спросите тех, кто за все эти годы там вылечился, а особенно тех, кто благодаря курорту М. обрел потомство, а если не поленитесь, спросите и детей их детей — и сами решайте, что́ не имеет значения, а что имеет.

НАПОСЛЕДОК. Оцените сами, как много всего забывается, если забыт такой человек, который, как можно прочитать в некрологе, опубликованном в газете "Политика" в 1933 году, забытой тоже на станции Ч., был просветителем, преподавателем, директором, одним из начальников Министерства сельского хозяйства; кроме "Фруктового сада и фруктов" автором еще двух десятков книг, посвященных развитию плодоводства, виноградарства, земледелия, лесного дела, выращиванию тутового шелкопряда; редактором журнала "Хлебороб" и "Сельскохозяйственного календаря"; основателем и почетным членом, а в последние годы жизни и благотворителем Сербского сельскохозяйственного общества; основателем фонда "Персида и Благое Тодорович", на чьи средства печатали полезные книги и выделялись стипендии на специализированное обучение во всех отраслях сельского хозяйства одаренных детей; и, наконец, был и тем, зачем об этом умалчивать,

кто за свои заслуги награжден орденом Святого Савы V, VI, III и II степеней, а также орденом Белого орла V степени.

Оцените сами, как много всего утрачивается, когда забывают такого человека, в жизни которого, похоже, не было ни одного впустую потраченного часа, а тем более дня?! И, к сожалению, он был не первый и не последний. И, к еще большему сожалению, такие забытые люди, которые для всех нас сделали еще больше, чем усердный Благое Тодорович, были и будут.

А УЖ ТО, ЧЕГО НЕТ В НЕКРОЛОГЕ. Хотя сейчас я уже вошел в позднюю пору и мне все труднее ориентироваться среди множества чужих жизней и вещей, тем не менее, говоря о Благое Тодоровиче, я хочу на мгновение нарушить последовательность событий. Надеюсь, сумею вернуться. Людям моих лет жизнь кажется похожей на лабиринт, они прекрасно и с каждым годом все отчетливее помнят ее начало, свою молодость. А недавние события помнят хуже. Другими словами, чем дольше они живут, тем труднее им понять, действительно ли они говорят что-то сейчас или это эхо того, что было ими сказано десять, двадцать, тридцать, сорок лет назад... А может быть, в их голове внезапно возникает и грохочет страшный отголосок того, о чем десять, двадцать, тридцать, сорок лет назад они промолчали...

Вот я даже записываю в блокнот, предназначенный именно для таких случаев: “Никола, когда закончишь о Тодоровиче, не увлекайся снова историями про то про се, перейди к новому начальнику станции, который в 1940 году заменил погибшего Богичевича...” Под этими словами ставлю свою подпись: “Никола Калоперович”, потому что мне случалось обнаружить в блокноте рекомендации самому себе, в смысле которых я так и не разобрался, и у меня возникали сомнения, что их кто-то туда добавил, подделав мой почерк ради того, чтобы я запутался и не рассказал все, что вы должны узнать. При условии, что хотите узнать. А если вам приятнее быть “защищенными” отсутствием знания, то вы просто остановитесь и вернитесь назад, пока еще не поздно, пока еще помните, где начало клубка этой повести. Чтобы с вами не получилось так, как со мной...

Однажды, мне кажется, это было то ли в 1946-м, то ли в 1947 году, я познакомился с одним земляком Тодоровича. Обычный человек, можно сказать. Давно старик, но из жилистых, таких, которым не сидится на месте без дела. Он был нагружен десятком саженцев яблони, а в Ч. ждал поезда, про который только что объявили, что он опаздывает на пять часов. Это было время восстановления страны после войны, поезда

то ходили, то не ходили... Опять же если ходили, то у грузовых было преимущество перед пассажирскими, особенно, если речь шла о составах, которые перевозят дерево, уголь, щебенку, цемент, зерно, скотину... Всё переезжает, день и ночь перемещается с места на место, с севера на юг, с востока на запад, и наоборот, чтобы обеспечить новое, более равномерное, распределение, иногда принимаются решения разобрать на части целую фабрику, и она месяцами катится на платформах в разобранном виде, туда, где, как посчитали, будет нужнее, там, где-то в другом месте, ее соберут заново. Если, конечно, не потеряют по дороге какие-то части.

Я тогда подумал, у человека с саженцами время есть, у меня время есть, дай-ка я воспользуюсь случаем, порасспрошу его кое о чем в связи с моими яблонями, к тому времени я развел небольшой фруктовый сад. Наверняка он в этом понимает, раз он едет с саженцами. Он не только выслушал меня и согласился посмотреть на мои, но даже этому обрадовался. Настоящий хозяин занимается хозяйственными делами, а когда разговаривает, ему интереснее говорить о хозяйстве, а не о том, какая у нас власть, у нас власть всегда никакая, что, однако же, не может быть причиной, чтобы не освежить побелку своего дома и не посадить перед ним цветы. В общем, он не имел ничего против, он с пользой для другого проведет эти пять часов, и у него хотя бы не будет чувства, что попусту теряет время в ожидании поезда. После того как он объяснил, как, по его мнению, следует обрезать ветки яблонь, я угостил его арбузом, первые уже пошли, один как раз охлаждался у меня под струей воды. Я расколол его о каменный стол и подтолкнул к нему одну половину.

— Это сорт “госпава”, — пошутил я.

А он мне:

— Какой сорт, мой юный друг?

А я ему все по порядку: про склад, про комочек газетной бумаги, про спасенные семечки, которые, несмотря на прошедшие годы, все-таки проросли, про записи на полях, про “сердце” арбуза, от всего сердца предложенное в каком-то купе какого-то поезда, про ту крепышку Госпаву, которая показалась Благое Тодоровичу похожей на зрелый арбуз и про тот зрелый арбуз, который мне показался похожим на описанную Госпаву. Закончил я словами:

— Хотя познакомиться с Госпавой мне случай не представился.

Смотрю, смеется, утвердительно кивает головой, поглаживает себя по шее, то рот приоткроет, то словно сглотнет, как будто не может решить — выпустить на волю свою исто-

рию или промолчать... И так некоторое время, а потом решился, начал, как будто смущаясь, про то, что был знаком с Благое Тодоровичем, что они, в сущности, земляки. Но не то, чтобы сверстники. Благое был лет на десять старше, уехал учиться, а он, этот человек, остался у себя, на своей земле. Да, действительно Благое Тодорович всю свою жизнь заботился о том, чтобы ни одно семя или саженец не погибли... Вот так мы и сидели, время от времени погружая лица в половинки арбуза, выросшего из сохраненных Благое семечек, того сорта, который пятнадцать лет назад выращивала некая Госпава Миланич, и в разгар лета вдыхали запах снега, и у нас слипались пальцы от сласти, а тот человек не спеша рассказывал мне, чего не найти в десятках книг, сотнях школьных аттестатов, тысячах газетных статей:

— Благое не только хранил огрызки или косточки фруктов, если их вкус ему понравился, не только не стыдился нагнуться и поднять из пыли семечко, не только сразу же начинал искать подходящее, годное место, где его зарыть в землю, но и отлично помнил, где что посадил, пересадил, привил, и часто ездил по Сербии — посмотреть, проверить, как эти его растения развиваются!

— Ух ты, специально за этим ездил?! — вставил и я словечко.

— А за чем же еще?! — удивился человек и продолжил, более подробно. — Благое в таких случаях говорил своим ближним: "Поеду родню проведать, пока морозы не начались. Не будет меня два-три месяца, вы не маленькие, справитесь..." Территория, которую он опекал, была больше любого прихода. И больше любой епархии. Лишь Его Святейшество патриарх Димитрие и наследник трона Сербской православной церкви патриарх Варнава, только они заботились о большем куске земли. Думаю, нет такого места, где Благое не присматривал бы за какой-нибудь яблоней, грушей, айвой, тутом, миндалем или орехом. Он, как будто у него это где-то записано, помнил, в каком возрасте видел тот или иной саженец в прошлый раз, на сколько он за это время вырос, насколько раскинулся. Представь себе, мой юный друг, только представь, сколь велик был этот его фруктовый сад, а я уж не буду утомлять тебя тем, каково это шагать по долинам, топать по приходам, взбираться по отвесным склонам ущелий, проверять кору от ствола до ствола, рассматривать цветок за цветком, растирать кончиками пальцев пыльцу, пробовать первый плод, убирать урожай в погреб, но не сыпать все подряд, а брать рукой, осторожно, по одному...

— И так каждый год, как листья зазеленеют и пока не станут желтыми?! — вставил и я словечко.

— Каждый год. До тех пор, пока и сам не зашел далеко в годы, — продолжал земляк Тодоровича. — А когда уже нелегко ему стало забираться глубоко в горы пешком, или на телеге, или на поезде, он начал писать друзьям, знакомым и бывшим ученикам, почти никогда не спрашивая, как у них дела, и от них не ожидая подобных вопросов, а интересуясь, что происходит с таким-то и таким-то растением. Он частенько говорил: "Люди, если им плохо, могут хотя бы постараться, чтобы стало лучше. А растениям такого не дано, поэтому человек должен помогать им, как может". Не сосчитать, сколько раз и я получал от него письма, открытки... Например, так напишет: "Здорово, Войин! А что там поделывает моя рябина, которую я посадил на открытом месте, над ручьем? Окрепла ли? Надеюсь, ноги тебе хорошо служат, потому что хочу попросить тебя сходить туда и посмотреть, все ли там так, как дерево требует. И меня о том известить, последние ночи что-то мне не спалось, боюсь, оставил я это деревце без должного внимания, так и стоит у меня перед глазами, качается на ветру. Вот и все, да что еще скажешь! Благое. Обязательно потрудись мне ответить!"

— И все из-за рябины? — вставил и я словечко.

— Из-за рябины, из-за абрикоса... — пускался в еще большие подробности земляк Благое. — Вот, к примеру, в письме стоит: "Здорово, Войин! Как там абрикос мой в селе Ж.? Наверное, знаешь, о котором я? Не ленись, сходи, потряси его, газеты пишут, в тех краях на днях был сильный снегопад. Абрикос мой еще не окреп, страшно и подумать, что под тяжестью снега ветки могут сломаться. Твой Благое. Как прочитаешь это, поспеши, поторопись, из всех друзей моих ты к нему ближайший". И я — в дорогу, Ж. далеко, по снегу еще дальше...

— И все из-за абрикоса? — вставил и я словечко.

— А как же?! Из-за абрикоса, из-за грецкого ореха... Бывало и так, что в письме его нет ни моего, ни его имени, значит, сердится: "Слышал я, в Белграде, на Байлониевом рынке, этот несчастный Гопчевич решил сделать свой дом еще больше и собирается срубить грецкий орех, говорит, во дворе тесно, и из-за ореха новый дом не будет виден. Так передай ему, пусть перенесет дом в другое место! Пусть пустырь какой-нибудь найдет! Потому что не гоже такой орех валить только ради того, чтобы он мог разживаться! А срубит, большой дом его, конечно, будет виден, но будет видно, причем очень хорошо, и то, что он дурак, если с топором пошел на орех, который живет лет сто, а то и больше. К тому же здесь, у нас, каждые тридцать-сорок лет война, и нет дома, который бы не был хоть раз разрушен. Пусть посчитает как следует, что ему выгоднее!"

— Защищал чужой орех? — вставил и я словечко.

— Защищал, а как же, даже обычную мушмулу защищал. Вот слушай, к примеру, так писал: “Здорово, Войин! Как там мушмула в октябре поживала? Созрела? Плодоносит? Напомни и своим, и соседским детям, чтобы рвали не больше, чем могут съесть. И еще напомни, что мушмула — фрукт зимний и ее плоды такие же хорошие, съедобные, питательные, если на зиму на ветках остаются. Напомни им, зима длинная, и кажется еще длиннее, если человеку совсем нечего с ветки сорвать. Твой Б. Т.”

Так сидели мы, ели арбуз из семечки Благое и разговаривали о нем. Не успели оглянуться, а пять часов уже прошло. Тот человек, Войин, собрал свои саженцы яблонь и двинулся к поезду. Я проводил его до станционного здания. Остальные пассажиры только что не умерли от ожидания, от беспокойства или со скуки. Войин, прощаясь, сказал мне:

— Хороша твоя “госпава”. Ярко-красное “сердце”, а уж сладкая! Жаль, мой юный друг, что Благое нет в живых, не может увидеть, как он живет в своих фруктовых деревьях! Вот я думаю иногда, будь он королем, во всех городах, что побольше, стоял бы ему какой-никакой памятник. Ведь куда бы ты в Сербии ни поехал, повсюду в тени Благоевой укроешься и на холодке Благоевыми фруктами полакомишься!

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. Как же далеко тянулись и как долго и щедро давали плоды те ползучие стебли из пяти семечек, найденных в станционном складе потерянных вещей. Да и я, следуя за ними далеко забрался... К счастью, записал в блокноте вернуться после Благое Тодоровича к новому начальнику станции, который заменил погибшего Богичевича. Записал и поставил свою подпись. Так что надо выполнить...

Правда, даже при всем желании, об этом новом начальнике станции много не расскажешь. Потому что в Ч. он оставался всего пять минут. Находился ровно столько, сколько стоял у перрона поезд, которым он прибыл. И тем же самым поездом, поскольку здесь была его конечная станция, он отбыл на станцию отправления. По стечению обстоятельств этот трус даже не успел назвать свое имя.

Началось с того, что вечный заместитель решительным шагом прошел по перрону, по всей форме приветствовал нового начальника и начал с большим подъемом:

— Позвольте кое-что сказать...

Новый начальник, тоже по всей форме ответивший на приветствие, доброжелательно улыбнулся в ожидании продолжения... Но после того, как за вступительной фразой ни-

чего не последовало, к нему подошел дежурный по станции и шепотом объяснил, что это, собственно, всё. Новый начальник станции кивнул головой в знак полного понимания того, что́ ему сказано, но выражение его глаз говорило ровно о противоположном.

— Благодарю за теплый прием... — высокопарно изрек новый начальник, невзирая на краткость заместителя, он не хотел отказаться от речи, которую, трясясь и стуча зубами уже не раз повторил вслух в своем купе, проверяя самого себя.

Тут он замолчал, потому что любой оратор знает, что именно здесь самое место сделать драматическую паузу. А по стечению обстоятельств один из стрелочников ляпнул:

— Не за что.

Новый начальник станции окончательно растерялся и продолжил уже совсем официально:

— Где же уважаемый коллега, который должен передать мне полномочия?

По стечению обстоятельств все разом зашумели:

— Как?! Вам не сообщили, вы не знаете?!

— Разве в дирекции вам не сказали, что он покончил с собой?!

— Рухнул, как набитый землей мешок! Прыгнул с виадука! Был прекрасный, солнечный день, ничто не предвещало...

— Вам не о чем беспокоиться, мы провели опознание и корректно организовали похороны. Позвольте представиться и выразить мое глубокое уважение, я Средое Ракич, второй член Комиссии. У нас были небольшие проблемы с гробом, но мы сумели найти выход. Тем не менее я хотел бы привлечь ваше внимание, и прошу записать, что это сказал именно я: было бы неплохо иметь на складе в Ч. основные предметы для похоронного ритуала. Понимаете, никогда же не знаешь, кто из нас и когда испустит дух.

Новый начальник станции побледнел. По стечению обстоятельств, и я не стал молчать:

— Это неправда! Богичевич не покончил с собой, он погиб!

Новый начальник станции расстегнул верхнюю пуговицу своего кителя, вытащил из кармана носовой платок и вытер затылок, казалось, он вот-вот рухнет в обморок. И пробормотал:

— Кто этот мальчик? Чей он? Откуда на станции ребенок?!

По стечению обстоятельств, Гуцуле, дежурный по станции, был в тот день выходным и уже успел “удвоить” реальность в “Ресторации”. Кроме того, его объяснение было сформулировано довольно путано:

— По правде говоря, господа, мы и сами не знаем, как он сюда попал. Существуе, по крайней мере, две версии... Однако я предлагаю господам, являющимися в данный момент начальниками станции, оставить это на будущее, не обсуждать в настоящий момент. Последнее обсуждение привело к драке. Если позволите, меня интересует, всегда ли вы работаете в паре? То есть хотелось бы узнать, вы знакомы уже давно, или же узнали друг друга по дороге сюда? Я нахожу, что вы весьма похожи друг на друга! А может быть, вы — близнецы, которых трагические жизненные обстоятельства разлучили еще в молодости? И сегодня, благодаря назначению на службу в Ч., судьба соединила вас! Ведь если так, у нас есть повод отметить это! Подойдите сюда, братья, дайте вас обнять!

Новый начальник станции побледнел еще больше. По стечению обстоятельств, здесь же, на станции, оказался и аптекарь-шарлатан Живалевич. Он тут же вытащил один из своих флакончиков с "Универсальным и чудодейственным эликсиром". Ох, если бы он при этом молчал! Так нет. С самыми лучшими намерениями он понес:

— Сударь, вы не больно хорошо выглядите. Попробуйте... Может, и не поможет, но точно не навредит. Не сомневайтесь... Вот, на этикетке написано... Все знают, в отличие от других, я еще никого не отравил...

Возможно, новый начальник станции все-таки вытерпел бы и сумел понять все это, но именно тут, по стечению обстоятельств, штук двадцать самых крупных ворон пронесли над свалкой целую металлическую кровать. Они действовали ловко и слаженно, если смотреть издали, то казалось, что старая кровать летит без посторонней помощи, сама собой... У нового начальника станции подкосились ноги. И, по стечению обстоятельств, Средое Ракич, второй член Комиссии, тот самый, что всюду старался вставить свое имя и фамилию, почувствовал потребность объяснить, что происходит:

— А, ничего особенного. Это просто птицы. Вороны. Крупные. У нас это в порядке вещей... Мы говорим: пока они не начнут людей уносить, все нормально! Не уверен, что я представился, позвольте пожать вам руку, я — Ракич, для друзей и коллег просто Средое...

Новый начальник станции отшатнулся, сделал несколько шагов назад. Чтобы не упасть от страха схватился за поручень двери вагона того же поезда, которым сюда прибыл. Спиной назад с трудом вскарабкался по ступенькам. И уже с площадки повторил:

— Благодарю за теплый прием...

Тут поезд тронулся. Дежурный по станции завопил:

— Погодите! Хоть один останьтесь! Куда вы?! Почему оба сбегаете?!

Я поднял упавший на перрон влажный от пота платок несостоявшегося начальника станции. Вот, по стечению обстоятельств, он не успел у нас и шага ступить, а что-то потерять умудрился. И как мне, спрашивается, теперь вернуть ему платок, ведь он даже не сказал как его зовут?!

ГОЛУБИ. Похоже, что в следующий раз в Генеральной дирекции крепко задумались о возможном кандидате. Должно быть, найти его оказалось не так легко, дело затянулось, добрых три-четыре месяца никто из Белграда в Ч. не появлялся. Не считая тех, которые в панике отказывались от назначения, даже не сойдя на перрон. Потому что нашлись и такие, которые трусливо передумали прямо в поезде, даже не покидая его, а лишь бросив взгляд на узловую станцию через окно служебного купе, иногда немного раздвинув занавески или притворившись, что остановку в Ч. просто проспали... Как они оправдывались, как им удавалось предотвратить появление приказа о переводе, осталось невыясненным. Вероятно, тут же связывались с какой-нибудь двоюродной теткой свекра свояченицы, которая была в хороших отношениях с золовкой супруги “нужного человека” в Министерстве транспорта, говорят, что никогда еще не было такого количества срочных дел из-за столь незначительного места... Вероятно, ссылались на то, что у жены слабые нервы, что дети уже доросли до школы, а ближайшая школа от Ч. очень далеко... Вероятно, давали взятку медицинской комиссии, чтобы та выписала и потом бесконечно продлевала больничный...

И тут, дело было в субботу, неожиданно прибыл багаж нового начальника станции. Нет, он сам не приехал, сначала прибыл багаж. Хотя, постольку поскольку он был живым, багажом его назвать было нельзя. Итак, прибыл товарный вагон, закрытый, типа как для перевозки скота, весь занятый клетками с голубями. Из вещей там было только кресло-качалка. В сопроводительных документах ничего не говорилось о том, чьи это голуби и качалка, стояло только название станции назначения этого груза. Голуби, запертые в клетках и в товарном вагоне, да еще и на запасном пути, нахохлившись, продремали целый день... И вдруг в воскресенье, около полудня, когда весь мир заслуженно отдыхает, все они разом заворковали, примерно за три часа до того, как на станцию Ч. должен был прибыть локомотив с обозначением ЮГЖ 01-099, тащивший за собой пассажирский поезд из столицы. Целых три часа до прибытия поезда голуби ворковали и ворковали, эти малые существа почувствовали, что приближается Боро

Мрдаль, их хозяин. Никто из нас, остальных, не знал этого, потому что из Генеральной дирекции никаких новостей не поступало, не было даже телеграммы, поэтому, когда Мрдаль вышел из вагона, торжественной встречи не было.

После того как остальные пассажиры разошлись каждый в свою сторону, Боро Мрдаль остался на перроне один. И теперь стало проще описать нового начальника станции. А легче всего и точнее всего это было бы сделать, просто сказав, что Боро Мрдаль был полной противоположностью Богичевичу, своему погибшему предшественнику. Форма на нем выглядела именно так, как и было задумано, чтобы назвать ее безукоризненной. Складки на брюках — как стрелка, позже выяснилось, что Мрдаль предпочитал лучше потерпеть и постоять, чем допустить, чтобы его брюки помялись. Сам он был мужчиной среднего возраста, с крупной головой, смуглой кожей, с широкими плечами и грудью, но невысокого роста. В целом выглядел он так, словно кто-то поставил бронзовый бюст на мраморный пьедестал. Правда, этот кто-то немного ошибся — дело в том, что бюст был великоват для своего пьедестала. Или, наоборот, пьедестал был маловат для бюста. На все можно взглянуть и так и эдак.

Мрдаль стоял неподвижно, несмотря на все более громкое воркование своих голубей. Не шевелясь. До тех пор, пока телеграфист с совершеннейшим слухом не расслышал среди всех станционных голосов и звуков какое-то особое тиканье каких-то особенных часов... Нет, он прислушался внимательнее, таких точных часов в Ч. нет ни у кого. У этих отклонение — плюс-минус одна секунда — набегает за четыре года. Тиканье механизма доносилось с перрона. Телеграфист пальцем показал дежурному по станции на стоящего на перроне одинокого мужчину в форме... Дежурный понял... Послал стрелочника к вечному заместителю начальника станции. Относительно быстро собралась группа соответствующих лиц, которая направилась к Мрдалю. Позвольтекоечтосказать уже подбирал нужные слова. Между тем второй член Комиссии, Средое Ракич, вдохновленный несколькими предшествующими успешными случаями упоминания своего имени и фамилии, решил взять слово первым. И будь что будет. Расчет был на то, что так новый начальник станции его лучше запомнит:

— Мое глубочайшее уважение, позвольте представиться...

Боро Мрдаль поднял руку в знак того, что слушать болтовню он не собирается. Взялся за цепочку, которая выглядывала из маленького карманчика, и принялся медленно, очень медленно тянуть... На конце цепочки был — “лонжин”! Пред-

ставьте, не “зенит”, как обычно бывает у начальников станции. Закрытая крышка часов откинулась! Позже телеграфист решил, вопреки своему обыкновению, заговорить и сказал, что было отлично слышно, как стрелки “лонжина” зловеще отсчитывают последние спокойные секунды жизни Ч. Не хочу нагнетать, мы, остальные, ничего такого не услышали, тикают и тикают... Зато мы очень хорошо услышали, как Боро Мрдаль спокойным, а оттого еще более угрожающим тоном сказал:

— Опаздываете на одиннадцать минут и тридцать пять секунд. И будьте так любезны,. прошу вас, чтобы это никогда больше не повторялось.

После чего резко вышел из позы памятника. Прошел мимо делегации, прибывшей на импровизированную церемонию встречи, оставив всех ее членов в недоумении от такого неприличия. И направился на запасной путь, посмотреть, что делают его голуби. Стоило ему решительно сдвинуть в сторону дверь товарного вагона, как голуби разворковались еще больше. Боро Мрдаль удовлетворенно обвел взглядом клетки с копошащимися птицами и посмотрел в небо над Ч. Стоял один из тех дней, когда небесный свод кажется более высоким, чем он есть на самом деле. И заместитель, и дежурные первой и второй смены, и стрелочники, и все подчиненные, и даже я отправились вслед за новым начальником станции, словно его свита. Мрдаль смотрел в небо, а нам что было делать — и мы туда смотрели. А там, можно сказать, все — как обычно. Однако он словно бы видел еще что-то, места посветлее и места потемнее, переливы света. А потом начал медленно поворачиваться и рассматривать линию соприкосновения неба с землей, с вершинами горной цепи, с очертаниями сосновых лесов на горах, с верхушками берез на склонах, с домом на мягкой вершине холма, с крышей главного станционного здания, с дымовой трубой мастерской, с бараками — все это он осмотрел, поворачиваясь, хорошо, что вскоре остановился, не то у нас закружилась бы голова. Потом Боро Мрдаль щедро послюнил указательный палец, поднял руку над головой, даже приподнялся на цыпочки, насколько мог, чтобы оценить силу и определить направление ветра. И, проделав все это, завершив осмотр и измерения, ласково обратился к голубям:

— Ох, как же вы разворковались, какие вы нетерпеливые... Повезло нам... Здесь, мои милые, мы сможем летать столько, сколько выдержат наши крылья...

Вот так он сюсюкал с голубями, а когда покончил и с этим, обратился к собравшимся спокойным, а оттого еще более угрожающим тоном:

— Собрание всех работников станции в "Ресторации" в девятнадцать ноль-ноль. Кто опоздает, может больше не появляться. А теперь покажите мне служебную квартиру и документацию станции. И, будьте так любезны, налейте свежей воды голубям в поилки...

СОБРАНИЕ. Весь персонал узловой станции собрался в назначенное время. Некоторые даже пришли на целый час раньше, чего-нибудь выпить, а заодно продемонстрировать, насколько у них развито чувство ответственности.

Боро Мрдаль вошел в "Ресторацию" ровно в девятнадцать ноль-ноль. Секунду спустя новый начальник станции с ходу начал раздавать приказания, подчеркнув, что спросит со всех, начиная с себя, так же, как спрашивают со всех в Германии, когда речь идет о служебных обязанностях... Затем последовало требование объединить все наши трудовые усилия, так же, как объединили их трудолюбивая Германия и трудолюбивая Австрия... В любом случае он ждет от нас такой же основательности, как в Англии, порядка, как в Бельгии, трудолюбия, как в Чехии, чувства собственного достоинства, как во Франции, бережливости, как в Скандинавских странах и... И? Точности! Как в Швейцарии! А это означает, что об опозданиях не может быть и речи, так же, как и о преждевременном приходе на собрания, потому что за это время мы могли бы, вместо того чтобы стараться ему угодить, сделать что-нибудь общественно полезное... Говорил он в целом сорок секунд, а упомянуть успел половину Европы. Говорил спокойным, а оттого еще более угрожающим тоном. Потом двенадцать секунд извлекал "лонжин" и смотрел на него, а в следующие семь секунд подвел итог:

— Начиная с этого момента, можете злословить обо мне семь минут. Затем, будьте так любезны, в порядке очереди, по старшинству, проходите по одному в мой кабинет.

Так и сказал. Повернулся на месте. И вышел.

ГАМ. Людям не по нраву начальники, которые угрожают. Пусть даже спокойно. Конечно, он начальник, но здесь, далеко среди гор, мы все вместе. Кроме того, он даже не потрудился толком познакомиться с ними, никому не протянул руку, только перечислял примеры для подражания и поглядывал на "лонжин". Да что он себе думает?! Какой высокомерный, со всеми на "вы", а лучше бы сел с нами, выпили бы по рюмочке! Значит, дистанцируется! Этот Мрдаль, он что вообразил, что будет и наши жизни заводить, как часы?! Педант! Вот увидите, уедет быстрее, чем приехал...

— О рабочих часах и минутах так и разливался! А об увеличении суточных — ни слова! — сказал один профсоюзный дея-

тель в Ч. — С ним не о чем разговаривать, пока мы не получим достойную прибавку за жизнь на выезде. Здесь невыносимые условия! Хрен ему! Кто за забастовку, поднимай руку!

— А что касается Германии и Австрии, это вовсе никакое не добровольное объединение, это была аннексия, аншлюс! Да здравствует Советский Союз под руководством товарища Сталина! Да здравствует Коминтерн и истинное объединение пролетариев всех стран! Долой буржуазию, долой диктатуру! Долой Мрдаля! И его прислужников! — выкрикивал другой, приверженец левых идей, про которого никто не знал, где именно он работает и каковы его обязанности на станции.

— Где эти прислужники? Кто? — вскочил его товарищ по партии. — Говори! Кто? Я с ними разберусь!

Приверженец левых идей растерялся и брякнул:

— Как — кто?! Голуби!

— А знаете, раз уж мы собрались тут все вместе, я воспользуюсь этим и кое-что расскажу вам, чтобы много раз не повторять... — попытался сменить тему один из машинистов, ведь не так часто в одном месте найдешь столько публики. — Не уверен, но вроде бы я вам не рассказывал про про́клятый поезд-призрак...

Все зашумели:

— Не сейчас!

— Это подождет!

— Брось ты это вранье!

— Ты что, не видишь, с помощью иностранных примеров и своего секундомера он хочет нас в бараний рог скрутить!

— Может, нам сразу признаться ему, что в кассе недостача в сто двадцать восемь динаров?

— Что значит “нам”?! Недостача на тебе, мы не имеем доступа к ключам от кассы!

— Но когда я угощал вас выпивкой, вы не отказывались!

Так продолжалось некоторое время. Три-четыре минуты. А потом шум начал стихать. Каждый про себя обдумывал, что скажет, когда один на один, с глазу в глаз окажется перед Борой Мрдалем.

ПО СТАРШИНСТВУ. У Боры Мрдаля был список всех, кто работал в Ч. Он обводил кружком порядковые номера перед именем и фамилией. Первым пошел Позвольтекоечтосказать. За ним дежурный по станции первой смены, после него Гуцуле, дежурный по станции второй смены. Потом один за другим стрелочники. И телеграфист, один-единственный, который, правда, по медицинскому заключению врачебной комиссии всегда “был не один”... После него ма-

шинисты, кочегары, помощники кочегаров, кондукторы, сцепщики, осмотрщики колес, дорожно-путевые рабочие... Потом рабочие мастерской, спецы узкой технической специализации... Дальше – те, кто отвечал за "уход за вагонами", то есть за внутреннюю уборку и внешнее мытье... Они сменяли и сменяли друг друга и, наконец, все закончилось неквалифицированными путевыми рабочими, у которых нет постоянных обязанностей и которые делают то, что прикажут другие, то есть самую тяжелую работу. Из кабинета каждый выходил молча, заметно подавленным. А лысоватые стрелочники – вытирая носовыми платками кровь с темени, потому что опять расчесали старые царапины. И только тот, кто отвечал за ключи от кассы, не был обведен кружочком, его из списка работников вычеркнули:

– Где это видано, чтоб вот так, не разобравшись, говорить о недостаче! Уволил меня ни за что ни про что! Из-за каких-то несчастных ста двадцати восьми динаров?! Если бы я не собирался возвращать, то взял бы десять, двадцать тысяч! Со своими птицами он общий язык находит! А как насчет взаимопонимания с людьми?! С людьми взаимопонимания у него нет?!

Профсоюзный деятель и приверженец левых идей остались. Первый – потому что никто, и прежде всего он сам, не поддержали идею забастовки. А второй – благодаря тому, что на пороге кабинета начальника станции сменил тактику и перешел на нелегальные методы борьбы, изнутри, путем укрепления "классового сознания" товарищей и внедрения мысли о необходимости революции.

Таким образом, до меня очередь дошла только к полуночи. Я был последним, замыкающим. В сущности, и это все знали, официально меня здесь вообще не было. Оставалось только объяснить это новому начальнику станции. Боро Мрдаль меня выслушал, посмотрел на свой "лонжин", словно самому себе засекает время, и сказал:

– Значит, Никола, я могу сделать вывод, что вы здесь потерялись... Другими словами, вы здесь нашлись...

Он все решал очень быстро, с удивительной точностью, но тут в первый раз смутился. По выражению лица можно было предположить, что ситуация ему не нравится. Боро Мрдаль, и это подтвердилось в последующие годы, был человеком, который любил, чтоб все было или так, или наоборот. И точка. Но меня он не мог ни вычеркнуть, ни, тем более, обвести кружочком:

– Никола, сегодня переночуйте в вашей комнате... Давайте я подумаю о вас завтра.

И ЗАВТРА, И ДАЛЬШЕ. Он не прикажет мне убираться с узловой станции. Потому что прекрасно знает — ехать мне некуда. Но он не может и разрешить мне остаться. Потому что я здесь не работаю. И на работу он меня не возьмет. Потому что я несовершеннолетний. Не сможет, даже если захочет, дать мне работу и тогда, когда через несколько лет я стану совершеннолетним. Потому что у меня нет никакого образования. Не сможет отправить меня учиться. Потому что для школы я переросток. Правда, и несмотря на возраст, можно найти способ получить образование, есть интернаты, есть благотворительные фонды. Но у меня нет никаких документов! Даже свидетельства о рождении, а уж тем более, свидетельства о крещении.

— Ух, ну кто же может это все распутать?! Давайте, Никола, я подумаю о вас завтра, — сказал Боро Мрдаль завтра, а потом его попытки прояснить мой случай перенеслись на послезавтра, на послепослезавтра...

Тем временем Мрдаль подробно ознакомился с каждой пядью местечка Ч. и самой железнодорожной станции. Его водили в бараки, он осматривал железную дорогу с виадука, заходил в будки стрелочников, сунул нос в каждый угол мастерской, бросил взгляд под навес, где хранились запасы угля, заглянул во все склады, взобрался на холм к старому заброшенному строению, он даже дальше кого бы то ни было пробрался между кучами мусора в глубины свалки, не обращая никакого внимания на ворон. Изо дня в день он изучал железнодорожный узел и постоянно что-то зачеркивал и обводил кружочком в своих бумагах, определяя, сколько времени дать работникам станции на исправление существующего положения... Вежливо и спокойно. Оказалось, что его любимое число — семь:

— У вас есть семь секунд на эти окурки.

— У вас есть семь минут, чтобы заменить эти лампочки.

— У вас есть семь часов, но только в нерабочее время, чтобы залатать резервуар для воды, да так, чтобы больше ни капли не пропало, а столбы резервуара извольте ошкурить и покрасить.

— У вас есть семь дней, чтобы составить полный список инструментов, включая каждый гвоздь, шуруп, шайбу, каждую гайку, и, если у вас черно под ногтями от смазки для колес, которая тоже принадлежит Государственным железным дорогам, я требую, чтобы было учтено и то, что у вас под ногтями.

Так Мрдаль наводил порядок. Занимаясь приятными для себя вещами только по вечерам. Именно тогда у него было заведено открывать клетки и выпускать своих голубей поле-

тать. А сам он в это время в обычной гражданской одежде сидел в кресле-качалке за главным станционным зданием, закинув голову и улыбаясь, словно он и сам кружится в небе, словно и он сейчас парит над этой прекрасной землей. Во всех остальных ситуациях он производил такое же впечатление, как и его карманный "лонжин", — безукоризненно пунктуальный, точный, как секундная стрелка, всегда заведенный, шестьдесят минут в час, двадцать четыре часа в сутки, триста шестьдесят пять дней в году, столько лет, сколько проработает и "лонжин", про который известно, что это часы чуть ли не вечные и будут прекрасно работать даже тогда, когда попадут в руки наследника. Итак, во всех остальных делах Мрдаль производил такое же впечатление, как "лонжин", а расслаблялся и забывал о времени только тогда, когда смотрел на голубей, которые во исполнение его желаний летают туда-сюда, а потом сюда-туда. И это, в конечном счете, было единственным доказательством того, что Боро Мрдаль не безукоризненный и безошибочный механизм, а человек, как и другие люди, способный отдаться страсти, пусть даже такой, как непонятная здешним людям любовь к голубям.

Короче говоря, у него было уязвимое место. Кое-кто даже узнал — ведь всегда кто-то кому-то доверяет и самые страшные тайны, — что Боро Мрдаль был единственным, кто согласился на назначение начальником станции Ч., причем только из-за своих любимцев. На городских и даже поселковых железнодорожных станциях ему было бы негде держать столько голубей. Где-то было место и для голубей, но мало неба. Где-то было много неба, но не было хорошего обзора. Где-то все еще водилось много хищных птиц. Где-то не было хищных птиц, но кишели ласки и лисы. Где-то не было ничего, и потому там было больше всего бедняков, которые восприняли бы горячий суп из голубятины как дар небес. Повсюду имелся какой-то недостаток. Но вдруг повезло и Боро Мрдалю — ему предложили Ч., местечко, затерянное среди гор. То что надо! Здесь голуби смогут свободно летать, и косвенным образом летать с ними сможет и он.

УЯЗВИМОЕ МЕСТО! Благодарим тебя, Боже! Оказывается, ты все-таки думал о нас! Все-таки переборщил он с этими своими "семерками", возомнил себя Создателем. Здесь за время, прошедшее от сотворения мира, кое-что усложнилось, здесь порой нужно притормозить, обдумать, договориться, а не так чтобы: "Даю вам семь секунд на это, семь минут на то..."

У него было уязвимое место! Не будь его, с ним ничего нельзя было бы поделать. А так... Однажды вечером я слышал,

как какая-то компания после “Ресторации” и, видимо, нескольких лишних кружек пива облегчается под навесом, где хранятся запасы угля, нестройно напевая: “Точка, точка, запятая, минус, голова кривая...” Хотя песенка была детской, но ночью она прозвучала зловеще.

Итак, у него было уязвимое место! И началось. Казалось, все искренне восхищались голубями, а на самом деле подхалимничали перед Боро Мрдалем. Сначала издалека:

— Какие необычные!

— И красивые, смотри, какие грудки у них!

— Ух, как мне нравится их воркование!

— А как летают!

— Да, таких голубей я никогда в жизни не видал!

— Знаете, это не простые птицы... Это... Это... Не знаю как и сказать, одним словом — настоящие голуби!

Постепенно круг начал замыкаться:

— Жалко, что живут в товарном вагоне, да еще на запасном пути. Там так тесно, как бы вертячка у них не началась, ведь тогда все передóхнут.

— А здесь можно найти место и попросторнее. Просто об этом никто не подумал. Вот, например, склад забытых вещей, там в основном свален всякий хлам, в нем даже при всем желании разобраться невозможно. А хозяев этого хлама не найдешь.

— Кстати, раз хозяевам эти вещи не потребовались, с какой стати мы должны их беречь. Да мы и не зарегистрированы как станция со складом для хранения забытых вещей. Генеральная дирекция может даже вынести нам порицание.

— Еще не хватало, чтобы Генеральная дирекция узнала, чтó мы здесь держим. Начнутся вопросы: чего мы ждали, почему не поступили в соответствии с “Инструкцией об обращении с найденными предметами”, почему недостаточно усердно искали владельцев, почему не взыскивали плату за хранение... И в конце концов, почему мы не объявили и не провели аукцион по распродаже всех этих бесхозных вещей...

И тут петля уже была готова затянуться:

— Я не говорю, что все это надо выбросить. Нет, ни в коем случае... Но вот переместить, это реально. Пожалуйста, можно хоть в то здание, на холме. Оно наше, у нас есть разрешение на его использование, а стоит без толку, пустое... Тогда склад забытых вещей можно освободить для голубей!

— И на него приделать флюгер! Чтобы начальнику не нужно было слюнить палец и вставать на цыпочки!

Боро Мрдаль остался глух к комплиментам, высказанным его пернатым любимцам. Знáл, что на самом деле они пред-

назначены ему, а не им. Правда, слова насчет склада и его переселения он услышал. И тот, кто это придумал, был отчасти прав. И даже установка флюгера была неплохим предложением. (А предложил это, просто к вашему сведению, Средое Ракич.)

Действительно узловая станция Ч. не была зарегистрирована как станция, на которой оборудован склад для хранения потерянных вещей, так что, по всем правилам, любые потерянные вещи не могли подолгу находиться здесь, их давно уже следовало отправлять на главный склад забытых вещей, где они и дожидались бы своих бывших владельцев, а дождались бы, скорее всего, дня аукциона. Но все это было так запутано, не хватало документов, фиксировавших где, что и когда было найдено, все сроки хранения давно уже прошли... А то строение, наверху, на холме, принадлежащее железной дороге, и в самом деле достаточно большое и совершенно пустое — там поместится все. И еще останется место для бог знает чего. И даже для того, что потеряют многие будущие поколения... Конечно, не скажешь, что это вполне соответствует инструкции. Но то, что так будет лучше, особенно для голубей — несомненно. Опять же голуби — они ведь живые, и нужно о них позаботиться. А потерянные вещи могут подождать, раз уж до сих пор столько ждали, ничего с ними не случится. Потом поглядим, может, возникнет еще что-то, получше... Такой вывод сделал Боро Мрдаль. После чего вызвал меня и спокойно сообщил:

— Никола, я нашел временное решение. Вы знаете, что официально вас здесь нет. Но если вас это устраивает, можете остаться неофициально.

ПОКА. Так я остался. До тех пор, пока не будет найдено не временное, а окончательное решение. А до этого момента мое дело — перенести из склада все потерянные вещи на холм, в то старое строение. И завести там какой-нибудь порядок. Впредь моей задачей будет осматривать составы, зал ожидания, вестибюль... Собирать новые потерянные вещи, вести необходимые записи в журнале... Хоть у меня и нет образования, но я с самого детства живу на железнодорожной станции; я грамотный, знаю и кириллицу, и латиницу, умею обращаться с цифрами, и арабскими и римскими; в свое время помогал Богичевичу с протоколами и заполнением разных формуляров... Он, Боро Мрдаль, не может доверить эти обязанности кому-то другому, потому что склад по бумагам не существует, а значит, не может существовать и кладовщик. А я как раз и мог бы взять на себя эту работу, правда, неофициально, без зарплаты, так сказать, в качестве добровольца, что

же касается питания, то там где что-то есть для всех, найдется и для меня... Естественно, все, что осталось от Калоперовичей, я могу взять себе, а на чердаке склада можно устроить вполне приемлемую комнату, так что я смогу ночевать там же, где работаю... По оценке Боры Мрдаля, для переселе́ния мне будет достаточно семи месяцев... Ну вот, пока всё.

— И до каких пор так? — спросил я.

— Пока, — сказал Боро Мрдаль, не колеблясь, и посмотрел на "лонжин".

Не было никого, кто не остался бы доволен. Работники станции — тем, что пунктуальный новый начальник хоть в чем-то проявил слабость, поэтому в будущем у него должно быть понимание и к слабостям подчиненных. Новый начальник станции — тем, что сможет хорошо устроить своих голубей. Голуби — тем, что сидеть в клетках на бывшем складе им будет приятнее, чем сидеть в клетках в товарном вагоне. А я — тем, что мне не надо будет уезжать с узловой станции Ч. Потому что, в противном случае, я не знал бы, куда мне деваться.

И ЕЩЕ ТОЛЬКО ФЛЮГЕР. Флюгер сделал самый лучший умелец из станционной мастерской. Как бы далеко человек ни был от узловой станции Ч., об Илии Адамове слышал. Может быть, слышал его имя, но уж наверняка слышал неутомимый стук его молота. Остальные мастера, механики, слесари, сварщики, ку́знецы и литейщики были очень хорошими работниками, ремонт и обслуживание локомотивов и вагонов — работа не легкая, на локомотивах и вагонах даже в прямом смысле все тяжелое. И большое. Взять, к примеру, приводное колесо паровоза, у него диаметр полтора метра... Другие мастера были отличными работниками, но без запасных частей они мало что могли сделать. Один только Илия Адамов не сдавался. Ни он сам, ни его молот, который Илия называл словом "калапач", потому что именно так, по-венгерски, называли его и отец, и дед. Все Адамовы были обычными деревенскими кузнецами в селе Г., расположенном на севере, на равнине, и испокон веков их главным делом было подковывать лошадей. Но когда в стране стали все чаще появляться паровозы, Илия отправился работать на австро-венгерскую железную дорогу. А потом сбежал на другой берег Дуная, так объяснив это на границе с Королевством Сербия: "Да чтобы чиновник в шляпе и с галстуком учил меня, как работать с железом?! Нет, не могу я такое больше слушать..." На железной дороге до сих пор пересказывают анекдотическую историю того времени, когда Адамов починил второй из двух имевшихся в Сербии локомотивов. Первый сначала на-

звали “Король Сербии”, а когда в стране появился второй, то первый получил имя “Король Милан”, а второй окрестили “Королева Наталия”. Так вот, тот, второй, на какой-то станции, где тогда работал Илия, ни с того ни сего встал. И не желает дама двинуться дальше ни на шаг, заартачилась, никто ничего сделать не может, “заклинило поршень”, пока Адамов, не говоря ни слова, не “окалапачил” ее в нужном месте своим молотом. Да и вообще Илия Адамов лишних слов не тратил, больше стучал молотком. Его дело было произнести только: “Говорите, что нужно, я сделаю!” Выслушав все, Илия Адамов молча кивал головой и брался за работу. И никогда от него не слышали излюбленную песенку всех мастеров: “Ну тот, кто здесь до меня копался, совсем ничего не соображает, да у него свидетельство надо отобрать...”

Итак, флюгер сделал самый лучший мастер, Илия Адамов. Флюгер из кованого железа. Высотой ровно один метр. С неподвижной частью, со стрелками и начальными буквами сторон света, чтобы указывать направление ветра. Все в мастерской собрались вокруг него, обсуждать, какой “флажок” будет на самом верху, что именно будет поворачиваться по ветру? Голубь? Петух? Один из машинистов настаивал на том, что раз здесь узловая станция железной дороги, то на флюгере должен быть локомотив... Потому что в Венеции, по которой он не раз гулял так же, как вот сейчас по мастерской (он в основном водил международные поезда до вокзала Санта-Лючия), он видел флюгер с корабликом на верхушке...

— Невероятно, ведь Венеция — это город скорее на море, чем на суше... — вещал он, стоило ему найти слушателя. — А вот мы, раз мы скорее на суше...

Тут его кто-то прервал на полуслове. Голубь?! Петух?! Кораблик?! Локомотив?! Дело чуть не дошло до ссоры. Прямо в мастерской. Тем временем железо остывало, красный цвет заготовки медленно угасал... Илия Адамов ждал с щипцами и поднятым молотом, но никто все еще не мог сказать, что именно мы хотим. Он занимался кузнечным ремеслом лет сорок, мы были не первыми, кто приходил к нему сам, не зная, что ему надо, поэтому он был само терпение...

И тут высказался дежурный по станции Гуцуле, у которого в тот день мир в глазах “утроился”:

— А почему бы не дать слово этой троице: Николе, новому парнишке посредине, рядом с ним, и маленькому Калоперовичу?! Пусть они решают! Ну, ребятишки, за вами, за молодым поколением, будущее! Что будет на верхушке флюгера?!

— Колесо с крыльями ангела! — как мог громко выкрикнул я. — Знак железной дороги!

Илия Адамов кивнул головой. “Окалапачил”, ударил молотом по раскаленному железу, да так, что искры полетели... И они летели и летели, пока он молча стучал по куску металла. Время от времени переворачивал его щипцами и снова бил, потом совал в угли и опять бил, и так до тех пор, пока не настал момент погрузить его в бочку с водой — железо зашипело, вода забулькала, поднялся пар...

А когда пар рассеялся, колесо с крылышками ангела было готово. Осталось только укрепить его на крыше бывшего склада потерянных вещей. Говорю бывшего, потому что я уже далеко продвинулся в переселении на холм, высившийся над узловой железнодорожной станцией Ч.

Милена Марковић

Драконоубийцы

Г*ероическое кабаре*
Пьеса

Перевод Ларисы Савельевой

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.

Евангелие от Матфея. 23:27

Действующие лица:

Учитель, бездетный, беззубый, желтые пальцы, ничтожный, превращается в Гачиновича, Европейского ученого, Отца Чабриновича, Председателя суда
Гимназисты
Первый драконоубийца Гаврило Принцип, сначала это Жалкий гимназист, мелкий, нищий, ничтожный, а потом он превращается в Жераича
Второй драконоубийца Недељко Чабринович начинает как Веселый гимназист, потом Ассистент, потом Хозяин корчмы, а потом Молодой рабочий

© Милена Марковић, 2014
© Лариса Савельева. Перевод, 2015

Третий драконоубийца Данило Илич превращается в Первого жандарма, потом в Фотографа, потом в Слабоумного, потом в Крестьянина
Четвертый драконоубийца Трифко Грабеж начинает как Второй жандарм, потом Педик, а потом Старый рабочий, потом Второй крестьянин
Снившаяся девушка — это и Шлюха, и Дама Смерть, и Сестра Чабриновича и Вторая крестьянка
Местная барышня — это и Белая дама, и Скульптор, и Бабушка Чабриновича, и Крестьянка, и Нана
Остальные
Зрелый мужчина — это человек, который играет Троцкого, брата Данило Йову, Офицера, Уличного хулигана, Велько Чубриловича
Мама — это мать Гаврило Принципа, и Мать Данило Илича, и Мать Чабриновича
Завхоз, Могильщик, Крестьянин с ягненком на руках, Крестьянин Митар, Палач, Солдат Франтишек — всех их играет один человек.
Рабочий, Мулла, Францисканец, Поп

На сцене школьные парты, стулья, школьная доска, лестница, а на ней виселица. Повсюду расставлены микрофоны, чтобы люди могли петь, вешалки с пальто, военной формой, фраками, фесками, фуражками, шароварами, платьями, масками, париками и всем, что нужно, чтобы люди могли одеваться. На подходящем месте нужно положить цепи и кандалы.
При необходимости на сцену приносят тюфяк, очаг, решетки, витрину, столы.
В центре горит надпись светящимися буквами.
В смене сценографии и в хоровом пении участвуют все, кто не играет и не переодевается.

Первая картина
Школьный класс

Гимназисты и гимназистки сидят за партами и некоторые слушают Учителя, некоторые делают вид, что слушают. Завхоз что-то делает с окнами и нервирует этим Учителя. Тишина.

Учитель. Итак, вы прочитали. Теперь поговорим. Что же такое истина, друзья мои, дети мои? Кто прав? Что бы было, если бы не было этого? Как знать... Было бы лучше

или хуже? Существует ли истина? За что бороться? Все ли — ложь? Что за всем этим кроется? Как вы думаете... Выскажитесь. (*Пауза.*) Не может быть, чтобы вы ничего не думали. Ну, конечно, если вы не прочитали, то я не знаю, что делать. Что, неужели никто ничего не скажет?

Тишина. Снившаяся девушка улыбается.

Местная барышня. Не в этом дело, просто мы все думаем разное. Могу сказать я. Мне есть, что сказать.

Учитель. Как раз ты и не можешь, ты постоянно выступаешь, хотелось бы кого-то другого немного послушать. Да ты что-то сегодня и не в настроении. Тема тебе не нравится. Не вчера все началось, что бы ты ни думала. И не все сейчас. Вот ты скажи мне что-нибудь об авторе этой книги.

Снившаяся девушка (*смотрит в предисловие*). В него товарищ бросался каштанами и попал в глаз, и он на один глаз ослеп. Тогда то, что он ослеп, привело к тому, что он и другим глазом не особо хорошо видел, а это привело к тому, что он очень скоро погиб во Второй мировой войне.

Учитель. То, что ты сейчас подсматривала в предисловии, мне безразлично. Но послушайте, дорогие мои, этот писатель, автор этой книги, слепым пошел на войну! Какие убеждения у него были, люди мои, вы только подумайте... Должен ли он был поступать так... Страшные вопросы, страшные вопросы... Но, это Вторая мировая война, девушка, а то, о чем мы сейчас говорим, о чем говорим сейчас, это было перед Первой мировой войной. То есть когда прервался вальс. Когда замолкла музыка в парке и мир оказался устлан человеческими телами. Молодыми телами, такими, как ваши. Прошу.

Веселый гимназист. Он пишет о том, что Германия хотела на корню изничтожить великосербское движение, которое было проблемой для ее экспансии на Восток, и чтобы наказать этих “свиноводов”, которые убивают коронованных особ. Она из-за этого поддерживала австрийскую политику на Балканах, и эта политика привела ко всему тому, что случилось, и приводит и в наши дни, только теперь в этой игре участвуют не те страны, что тогда.

Жалкий гимназист. Но это означало бы, что одна-единственная страна осознанно делает что-то против какой-то другой страны, а все вовсе не так, потому что война — это следствие империализма, это не какой-то

народ, или какое-то правительство, или какой-то человек, или какое-то событие. Капитализм порождает войны.

Учитель. Верно, но смотри, ведь, с другой стороны, империализм и капитализм подняли мир...

Жалкий гимназист. Но они вкладывают деньги в дороги и торговлю, а не в науку и культуру, они стараются держать народ в незнании, а элиту коррумпируют. И капитализм должен постоянно развиваться, иначе он рухнет.

Учитель. Я рад, что вы прочитали. Хорошо, давай теперь ты расскажи, про первый выстрел.

Местная барышня. Стрелял Богдан Жераич в генерала Варешанина, вообще-то это менталитет гайдуков — устроить засаду и открыть пальбу, только они вовсе не были гайдуками, они все как один были больными. Этим воспользовались заговорщики из Сербии, эти полуграмотные придурки воспользовались ими, интересно, что это был настолько примитивный народ, что у них вообще не было фамилий, среди них грамотными было всего несколько человек... Из грязи вылезли и нас тащат в грязь.

Учитель. Верно. Грязь, неграмотность, ужасные дороги, свинарники...

Местная барышня. Хватит с меня этих мракобесных историй о прошлом, мне надоело бить себя в грудь. Я хочу путешествовать и учиться реальным вещам в реальном мире. Хочу есть качественную еду и мыть голову качественным шампунем, хочу видеть за окном красоту, хочу жить цивилизованно.

Веселый гимназист. Одни эксплуататоры заботятся о красивом виде за окном, другие не заботятся, а что касается меня, то, по-моему, те, которые заботятся, они хуже...

Местная барышня. А что касается меня, то я получила в наследство то, что здесь было, и теперь обязана подражать ленивым, полуграмотным, самодовольным, примитивным дегенератам и изучать их жизнь.

Жалкий гимназист. Это кто же ленивый и полуграмотный? Считаешь, что ленивый и полуграмотный из-за того, что у меня ничего нет? Мои родители полуграмотные и примитивные? Весь наш народ ленивый, и полуграмотный, и примитивный? Его надо перевоспитать или уничтожить?! Кто, блин, полуграмотный?!

Местная барышня. Насчет тебя я ничего не говорила.

Жалкий гимназист. А я тебя спрашиваю, кто ленивый, полуграмотный и примитивный? Кого ты имела в виду? Греков, сербов, кого?

Местная барышня. Иди, бросай гвоздики на танки!

Веселый гимназист. Не болтай глупости.

Местная барышня. А значит, я болтаю глупости, потому что я женского пола? Тебе мешает, что я женского пола.

Учитель. Спокойно, все в порядке, не надо оскорблений. Это никуда не годится, но любое живое обсуждение приветствуется. И еще хотелось бы, чтобы ты хоть раз взялась всерьез прочитать какую-нибудь книгу. Итак, что ты думаешь о том, что сейчас услышала? Знаю, книгу ты в глаза не видела, но сейчас, на уроке, кое-что услышала?

Снившаяся девушка смотрит на Учителя простодушно, но с кокетством.

Снившаяся девушка. Я думаю, какой прекрасный сегодня день.

Учитель. Да, всегда есть те, которые думают только о настоящем моменте. Ну а представь себе, голубушка, что твой любимый ушел на войну.

Снившаяся девушка. Не хочу быть дерзкой, но вы спросили, что я думаю, и я сказала, что думаю. Я не представляю себе таких вещей.

Учитель. Мы все можем это представить. Тогда, дорогие мои, умер существовавший до этого мир. Почему?.. То ли потому, что кто-то имел мало, а другие еще меньше и хотели, чтобы у них было хоть что-то. То ли потому, что некоторые хотели иметь все... То ли потому, что такова человеческая природа.

Тишина.
Жалкий гимназист смотрит на остальных и вдруг сгибается в три погибели.

Жалкий гимназист. Что-то мне нехорошо.

Остальные начинают звенеть цепями, топать ногами, завывать и рысцой, притопывая, кружиться в народном танце “коло”. Страшная музыка звучит довольно долго.
Гимназисты расставляют парты и накрывают их скатертями, чтобы было как в корчме.
Жалкий гимназист превращается в Жераича, перед ним ставят красное вино, которое он не пьет. Напротив него кто-то сидит, другой прибирается в корчме, а Завхоз превращается в напившегося Крестьянина с ягненком на руках, которого он хочет продать. Гимназистки, после того как помогут в корчме, уходят со сцены.

В самом начале зонга загорается световая надпись БОГДАН ЖЕРАИЧ.

Зонг “Шесть пуль”

Жераич.

Я много страдаю и не осталось сил
Ни думать ни рассказывать,
Страшные чувства, страшно все, что вижу,
Не верю ни в чем ни себе ни другому.
Только думаю, есть люди совсем никчемные,
Я такой вот жалкий человек и был таким всегда,
Я жалкий растоптанный деревенщина, веселый
европейский раб.
Жалкое наше состояние: все что было здесь великое,
Настоящее, святое воистину, ничего не осталось.
Еще меня мучает мое тело, вот бы не было его.
Заряжу свое ружье и начну стрелять куда попало,
Пять пуль выпущу, шестую закушу зубами сам.
Все темно, все мрачно, вот бы тела у меня не было,
Все печально, все кланяется, шесть пуль выпущу.
Кто хочет жить — пусть помирает,
Кто хочет умереть — пусть живет.

Гаснет свет, освещенным остается только Крестьянин с ягненком.

Крестьянин с ягненком. Стрелял бедняга, да не попал.

Вторая картина
Могила Жераича

Учитель, гимназисты и гимназистки устраивают кладбище из парт и стульев и превращаются в гимназистов младобоснийцев.
Крестьянин с ягненком превращается в Могильщика. Учитель — в Гачиновича. Жераич — в Принципа.

Светящаяся надпись МОГИЛА ЖЕРАИЧА.

Все собрались вокруг Могильщика и слушают его. Он опирается на лопату, видно, что любит произносить речи.

Могильщик. Все пять пуль мимо. Одна могла попасть в глаз, но господин нагнулся вперед, чтобы плюнуть на туфли. Прекрасно, обувь у господ вещь важная, сапожки, туфельки, беда, если некому чистить, а здесь было, кому чистить, всегда было, но когда господа едут в коляске, то не очень удобно — люди на тебя смотрят, а ты останавливаешься и

говоришь: чисти, нет, нет, в таком случае господа чистят обувь в кабинетах, в коридорах, чтобы никто не видел, если могут наклониться, несмотря на свой живот, в том смысле, что живот мешает, не может не мешать, и тогда, значит, плюешь на платок и нагибаешься, у господ военных животы тоже есть, но крепкие, не то что тянешься к нему, как будто занялся гимнастикой, и протираешь сапожки, туфельки, и, когда из коляски выходишь, они сверкают, люди в них смотрятся, в такие блестящие. Значит так, промазал пять раз, дети мои, просвистели пули зазря. Тогда, когда шестую пулю парень проглотил, тот что в земле, он не ждал, не смотрел, сдох ли тот, а тот не то что не сдох, а вышел из коляски в чистых туфлях, и, пока этот умирал, господин пинал его ногами и кричал "Дерьмо", а знаете, я не знаю, может, и был он дерьмо, а может, и нет. Вот, а здесь хоронят самоубийц и нищих, а у парня, там, головы нет, потому что это наука, голова нужна для изучения и чтобы увидеть, какие головы стреляют, а какие не стреляют. В качестве примера, я не начитан и не учился, но есть один ученый, который снимает головы со злодеев и их измеряет, не знаю, как и что, и не говорю, что знаю, но рассказывают, что у этих злодеев голова имеет особую форму, вот здесь он, и, значит, у него нет головы, она у того ученого. Отлично, что у нас работают ученые, хорошо для науки, и мы у них можем тому-сему научиться, дети, можем научиться.

Опускаются две светящиеся надписи. Одна – ГАЧИНОВИЧ, другая – ДАНИЛО ИЛИЧ.

Гачинович и Илич залезают на скамейку.

Илич. Я, братья, Данило Илич. Некоторые здесь меня уже знают. Здесь могила, у которой мы встретились. Здесь могила нашего первого гимназиста. Люди издеваются, люди не понимают, люди говорят то, что знают, и то, чего не знают. Вот я могу сказать, долой богатеев, богатей никогда не будет мне братом, никогда он мне не был товарищем, я работаю, а все время голодный. Нет выхода в труде, даже если что-то заработаешь, скопить ничего не можешь, все как в дыру проваливается, все попадает в их карманы, вот здесь Гачинович, он коротко скажет, у нас не так много времени.

Гачинович. Юные братья. Не малый труд, а борьбу, не мир, а войну и победу, труд в ожесточенной борьбе и мир в великой победе.

Илич. Что это – малый труд, объясни юным братьям.

Гачинович. Это распространенное оппортунистическое понимание людей и вещей, основанное на теории “мелкого труда”, бесплодного, узколичного, труда ради самого себя, а не ради Человека, или будущего, или народа, который страдает от несправедливости.

Могильщик свистит в свисток, все убегают со сцены. Илич и один гимназист превращаются в жандармов.
Темнота.

Светящаяся надпись ГАВРИЛО ПРИНЦИП.

Он сам крадучись подходит к могиле.

Зонг “Сердце Данко”

Гаврило Принцип.

В болоте, в темноте, в грязи
Жило одно племя
Пассивное, ленивое, полусонное,
Унылое, слабое и мрачное.
Родился парень Данко,
Захотелось ему увидеть солнце яркое.

Вырос мужчиной Данко,
Сказал он: “Братья мои,
Есть одна страна там,
Сказал он, сестры мои,
Давайте солнце увидим,
Пойдем к свободе,
Может, будет еда, вода”.
Двинулось за ним племя,
И настало еще худшее время –
Болезни, ужас, твердая тьма,
Необъятная вязкая яма
Заглатывает мужчин, заглатывает женщин,
Заглатывает детей, заглатывает скотину,
Нигде ни голоса, ни птицы,
Ни воздуха, ни звезд.
Данко назад поглядел,
Сердце свое вырвал.
Сердце путь указало
И осветило болото.
Увидели люди поля,

Реки, море и горы.
Затоптали люди Данко,
Осталось сердце среди тьмы.

Третья картина
Европа

Светящаяся надпись ЕВРОПА.

Светлое утро и щебетание птиц. Два жандарма стоят и вытирают пот.
На сцену выкатывается голова Жераича. За головой — гимназисты и гимназистки, они изображают щенков и лают на голову. Жандармы прогоняют щенков со сцены.
Перепасовывают голову друг другу.

Первый жандарм. Смотри, голова.
Второй жандарм. Я смотрю, а вот что ты делаешь.
Первый жандарм. Я обеспечил проход.
Второй жандарм. Какой еще проход, здесь ни души.
Первый жандарм. Ты разве не заметил, кого тут только ни было.

Жандармы упаковывают голову.

Первый жандарм. Доктор наш еще не проснулся.
Второй жандарм. Образованному человеку нет нужды рано вставать.
Первый жандарм. Солому положили, лед не положили, нужно было положить лед, точно, так не пойдет, не отвечает атмосферным условиям.
Второй жандарм. Да ладно, сойдет.

Зонг "История для слуг"

Жандармы.
Слуга рано встал подоить корову.
Нежно твердое вымя, и телята жалобно мычат.
На дворе еще нет солнца, а белой даме
Снится огромный мир, и белая луна горит.
Муж ее собирается в армию, а мух много
В этой печальной стране, в дыре без солнца и воздуха.
Белая дама спит, и белые руки ее отдыхают,
На горе медведь танцует, и зубы его кровавы,
Народ, притаившись, глядит на одинокую белую даму,

Муж слушает музыку, фортепьяно, где-то настоящая жизнь.

Белая дама встает, умывает белые руки,
Молоко даму ждет, а телята хрипло мычат,
Солнце красное вышло, дама, много прольется крови,
То, что однажды из ямы вылезет, никогда в нее не вернется.

Жандармы щурятся и прикрывают глаза руками.
На сцене толкают белый тюфяк, где Европейский ученый и его Белая дама заканчивают половой акт. Белая дама берет ирригатор.
Белая дама подмывается.

Светящаяся надпись ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕНЫЙ С СУПРУГОЙ.

Белая дама. Милый, здесь ужасно влажно.
Европейский ученый. Еще месяц-другой потерпи.
Белая дама. Я здесь рожать не буду.
Европейский ученый. Разумеется, не будешь, подмывайся.
Белая дама. Если бы это не было грехом!
Европейский ученый. Тогда рожай.
Белая дама. Везде грязь.
Европейский ученый. Нужно гулять. Когда человек целый день сидит дома, ему, конечно, тяжело.
Белая дама. И почему ты не согласился на Италию...
Европейский ученый. Здесь легче получить материал.

Жандармы уходят со сцены, а потом подглядывают. Белая дама делает на тюфяке гимнастические упражнения.
Ассистент толкает стол на колесиках, на нем инструменты для ученого. Зрелый мужчина надевает белый халат и толкает стеклянную витрину, тоже на колесиках, в витрине несколько голов.
Европейский ученый и Ассистент рассматривают голову Жераича.

Европейский ученый. Повредили голову, хорошо хоть не сильно.
Ассистент. Мы всё положили так, как вы и сказали.
Европейский ученый. И как вы провели время вчера вечером?
Ассистент. В жизни не бывал в доме хуже. Мусульманки под замком, здесь их нет, нет таких, знаете, белокожих, тонкокостных, каких можно было бы себе представить, так что у Мадам выбор очень плохой, а от нее самой явственно попахивает чесноком.
Европейский ученый. Есть православные?

Ассистент. Их больше всего, но очень некрасивые. В принципе, что касается православных, то можно легче сойтись с какой-нибудь горничной, или с прачкой, или с фабричной работницей.

Европейский ученый. Это меня вообще не привлекает и может обернуться неприятностями.

Ассистент. Нет, что вы, какие неприятности, все сводится к мелким подаркам.

Европейский ученый. Да и не до того мне, я весь в науке.

Ассистент. Я с огромным уважением отношусь и к вашей работе, и к вашей прекрасной супруге. Это тоже преданность, поехать за мужем сюда, в такое место, да, это преданность.

Европейский ученый. Череп преступника, несомненно. Горный скотоводческий тип, но дегенерированный, не просматривается физическая способность переносить трудности, налицо ментальная неразвитость, вероятно, склонность к депрессии, это видно по своду над бровями, а также обратите внимание на структуру челюсти и лобовую область. Дегенерация еле заметна, но она явно присутствует.

Все аплодируют.

Четвертая картина
Большой мир

Светящаяся надпись БОЛЬШОЙ МИР.

Веселая музыка. Превращаются: Снившаяся девушка — в Шлюху, Ассистент — в Хозяина корчмы, Второй жандарм — в Педика, Европейский ученый — в Гачиновича. Белая дама превращается в Скульптора. Зрелый мужчина сбрасывает белый халат и превращается в Троцкого. Садится рядом с Гачиновичем. Скульптор ваяет из газет голову.

Светящаяся надпись КАФЕ “DE LA ROTONDE”, ПАРИЖ.

Гачинович и Троцкий.
Троцкий встает и кланяется публике.

Хозяин корчмы. Прошу вас, подайте грошик-другой, кто сколько может, нашей Розе на венок, она любила лилии, хотя сама была похожа не на лилию, а, скорее, на картофелину.

Шлюха. Выпей рюмку за Розу.

Хозяин корчмы. Спасибо. Вот когда соберу грошиков, куплю венок, и мы все вместе выпьем за Розу. Спасибо, ты всегда давала.

Шлюха. Так раз есть, почему не дать.

Гачинович. Первым, кто что-то сделал, был Богдан Жераич. Для него сувереном был сербский народ, а единственной партией — мучимые, гонимые, избиваемые плетьми, но начавшие пробуждаться его представители. Никогда не было бóльшей потребности в герое, чем сейчас.

Шлюха. Хорошенький котик, а какие усики! Котик, хочешь ножку?

Педик. Выглядит голодным. Он, должно быть, какой-нибудь вонючий чех или поляк... Нет, слишком чернявый, тогда, скорее, болгарин, а может, просто чахоточный. Иногда они бывают очень красивыми, этот, правда, совсем не красивый. Даже как-то неприятно выглядит. Не знаю почему, но он вызывает во мне отвращение.

Гачинович. Положение страшное. Среди грамотного населения разброд мнений, смятение, оппортунизм, классовый эгоизм, материалистическое состояние духа, мелкий индивидуализм и жажда заурядно-примитивного наслаждения. На селе все — мрачные, больные, спившиеся, не люди, а почти животные, раньше они бунтовали, да теперь перестали, потому что главное сейчас для них — выжить.

Троцкий. А скотоводы?

Гачинович. Эти сидят с весны до осени на мамалыге и боятся только́ того, как бы их громом не ударило, да они хуже дикарей, потому что дикарь думает, что он свободен, а этот знает, что не свободен. У вас такое романтическое представление о них из-за нашего эпоса, но что было то прошло.

Троцкий. Молодежь — вот решение.

Хозяин корчмы. Прошу вас, дайте грошик-другой для нашей Розы.

Троцкий дает деньги, Гачинович — нет.

Гачинович. Когда я здесь сижу, мне кажется, что все рядом, просто я очень маленький и мне не дотянуться.

Троцкий. Да. Эти большие города нас пожирают и пожирают, пока не сожрут совсем, а мы всё изумляемся тому, что всę это создал человеческий род, вот он род человеческий, полюбуйся. Это ваше состояние немцы определяют словом “тоска”, состояние, когда вы чувствуете, что что-то важное от вас ускользает.

Шлюха. У меня день рождения, а Роза умерла. Боже мой, она была такой некрасивой, но зато прожила пятьдесят лет.
Педик. Тебе столько не прожить.
Шлюха. Не прожить, и не надо. Роза была ужасно плохой, и вспоминать неохота. Всегда относилась ко мне плохо.
Педик. Не плачь, ты, даже когда не плачешь, выглядишь усталой, а поплачешь, будешь выглядеть еще хуже.
Шлюха. И отправь усатому котику выпить.

Хозяин корчмы относит Гачиновичу шампанское.

Гачинович. Спасибо, красавица.
Шлюха. Иди к нам.
Гачинович. Не могу, у меня есть невеста.
Молодая Шлюха. Чем занимается твоя невеста?
Гачинович. Делает порох.
Шлюха. Должно быть, у нее черные руки.
Гачинович. Не черные, красные.
Шлюха. Ты плохо держишься, котик, как будто у тебя живот болит. Выпрямись, грудь вперед.
Гачинович. Я боюсь выпрямляться.
Шлюха. Почему, котик?
Гачинович. Потому что тогда ты в меня влюбишься.

Зонг "День рождения"

Шлюха и Педик.

У меня сегодня день рожденья,
Лет мне столько, сколько дашь.
Там шел дождь,
Где сына родила я,
Там у меня милый был,
Стройный, как дерево, чистый, как снег.
Перстень теперь закопан,
Головой вниз милый с лесов упал,
Хозяин сказал, что ему наплевать,
А с перстнем рядом, а с перстнем рядом
Сына я положила, укрыла его хорошо.
Пей за меня до утра,
Пей за меня и завтра,
Там у меня был милый,
Сейчас у меня три, сейчас у меня два,
Сейчас армия изготовилась,
Красавчики с заряженными винтовками,
Вояки, подходите и выпейте со мной,
Пьем, едим, валяемся,

Моем уши, моем ноги.
Война пусть начнется, чтоб умер хозяин.
А ребенок заснул под деревом,
Птица пела и улетела.

Скульптор берет голову, “изваянную” из газет, и приносит ее Гачиновичу и Троцкому.

Скульптор. Сударь, я изваял вашу голову.
Троцкий. Похоже.
Скульптор. Дарить вам ее не буду.
Гачинович. Мне и держать ее негде.
Скульптор. Хочу, чтобы вы знали — у вас голова потрясающей формы.
Троцкий. Не хотите ли выпить?
Скульптор. Вам интересно узнать, как я назову вашу голову?
Гачинович. Как?
Скульптор. Я назову ее Обещание.

Скульптор пьет из их бокалов.

Троцкий. Молодежь — вот решение. Молодые все в основном из деревни.
Гачинович. Потомки безземельных крестьян-батраков.
Троцкий. Да, внуки или даже сыновья батраков, они не привыкли к деньгам и у них нет возможности заработать, а это могло бы удержать их от бунта. У них нет профессии, они еще не знают, что такое комфортабельная жизнь чиновника, они не коррумпированы. У молодежи неопределенное классовое положение. Но они и не батраки, потому что уже получили образование, в развитии общества задний ход невозможен, они уже в чистилище, молодежь — это решение. Хаос пробуждает активность, а не выжидательность, и это так просто — найти револьвер и выстрелить.
Гачинович. Борьба — да, но какая... С кем, когда, как...

Гачинович встает, превращается в Учителя и подходит к микрофону.

Пятая картина
Маленький Гавро из Гламоча

Светящаяся надпись МАЛЕНЬКИЙ ГАВРО ИЗ ГЛАМОЧА.

Учитель. На примере семьи Гаврило Принципа видно, как семейное сообщество распадается из-за новых социаль-

ных и экономических условий жизни. Отец Гаврило был главой большой семьи, и при его жизни она угасла и распалась на отдельных членов. Они сеяли кукурузу и смесь из овса и ячменя, и этого им хватало, чтоб прокормиться всего два месяца в году. Семья была вынуждена искать другие источники заработать деньги. Бегу Сиерчичу они платили треть, но не натурой, как было принято раньше, а деньгами. Эта семья всегда была бедной. Известно, что некоторые ее члены при турках служили в охране на границе, или жандармами, а потом, уже при Габсбургах продолжали служить государству. Была традиция, чтобы один из мужчин, членов семьи, был или жандармом, или пограничником, и эта традиция сохранялась вплоть до 28 июня 1914 года, когда один из родственников Гаврило, жандарм, приказал его родителям явиться в отделение в Грахово, потому что: "Гавро убил Вердинанда". Отец Гаврило, значит, был крестьянином, но занимался и другими делами. Был весьма набожным, не пил, не курил, не употреблял бранных слов и сажал деревья. Но уважать его – не уважали и часто издевались над ним. Тогда почту разносили пешком, в сумке на плече. Однажды он побился об заклад, что среди зимы, в одной рубахе и без обуви пробежит расстояние от Грахова до Попова Брега и обратно.

Все гимназисты одеваются боснийскими крестьянами и крестьянками начала прошлого века.

"Зонг батраков"

Поют все гимназисты.

Гимназисты.

Мы веселые батраки.
Все, что было, уже съели.
Когда турок здесь был главным,
То четыре дня в неделю
Ты на них работать должен,
Хоть песок переносить,
Хоть листья выносить.
Бабы им должны давать.
Батрак последняя скотина.
Сейчас для нас пустили поезда
Прямиком на море,
Больше нас никто не бьет,

Есть у нас и жандармы,
Писари, торговцы.
Читать не умеем,
Писать не умеем,
А дети наши будут торговцы,
жандармы, писари.

Гаврило Принцип идет, несет много книг. Крестьяне окружают его и начинают задирать.

Крестьянин. Гаврица, что это ты такой злой?
Крестьянка. Вчера Гаврица моего сына побил. Совсем маленького.
Крестьянин. Гаврица, а ты и впрямь злой.
Второй крестьянин. Отец-то твой где?
Крестьянин. Я знаю, где — босой бежит с почтой по снегу. Мы побились с ним об заклад.
Крестьянка. Упадет, пожалуй, когда добежит отсюда до луга.
Крестьянин. А я думаю, около моста.
Второй крестьянин. По-моему, Гаврица, он не упадет, но простудится, разболеется и будет ночью в постели мочиться.
Крестьянка. Разъярился наш Гаврица.
Вторая крестьянка. Что, Гаврица, решил подраться, герой?
Крестьянин. Вон он, твой отец, бежит по снегу.
Вторая крестьянка. Ну-ка, Гаврица, пробегись и ты.
Крестьянка. Ну-ка, Гаврица, задай им всем перца.
Крестьянин. Раз он так мал, придется ему кулаками помахать.
Второй крестьянин. Да, придется, придется.
Крестьянка. Ты глянь, какой он, матери, поди, за него стыдно.
Вторая крестьянка. Да чего ж это ему не хватает?
Крестьянка. Не хочет бежать, только пялится.
Вторая крестьянка. Не позавидуешь его матери.
Крестьянка. Говорят, Бежанова мать поет, а Стоянова плачет.
Вторая крестьянка. Найдет себе Гаврица жену, набегается от нее, когда она за него возьмется.
Крестьянин. Гаврица, лютый Гаврица, вон твой отец бежит по снегу.
Второй крестьянин. Гаврица, а на что тебе столько бумаги? Задницу подтирать?

Крестьяне уходят, но не далеко, стоят в стороне, подглядывают, лузгая семечки и плюясь шелухой.
Мама выходит на сцену, толкая перед собой очаг.

Светящаяся надпись МАМА ГАВРИЛО ПРИНЦИПА.

Он садится рядом с матерью, кладет голову ей на колени и засыпает. Во сне стонет.

Мама. Почему ты плачешь во сне?
Гаврило. Потому что темно.
Мама. Темнота пройдет.
Гаврило. Здесь, мама, в нашем доме, почему-то всегда темнота.
Мама. А ты выйди из дому, как солнце взойдет, посмотри на теленка, он сегодня ночью начал вставать на ноги.
Гаврило. Это наш теленок?
Мама. Наш теленок.
Гаврило. А корова — наша?
Мама. Наша и корова.
Гаврило. Но мы должны от всего какую-то часть отдавать.
Мама. Так положено, должны.
Гаврило. Почему должны?
Мама. Должны.
Гаврило. Но есть люди, у которых пять коров.
Мама. Есть люди, у которых пять коров.
Гаврило. Почему у тебя, мама, нет пяти коров?
Мама. Потому что, сын, у меня теленок.
Гаврило. Я теперь не смогу заснуть.
Мама. Посиди у огня.
Гаврило. Почему здесь такой тяжелый воздух?
Мама. Много людей надышало.
Гаврило. Почему все дышат в одном месте, почему мы окна не прорубили?
Мама. Чтобы не было холодно.
Гаврило. Почему грязи столько, посмотри?
Мама. Грязь, да, это так, но, когда приходит жара, грязи нет.
Гаврило. А мухи тогда есть?
Мама. Мухи есть.
Гаврило. А почему есть мухи?
Мама. У каждого свое дело, есть дело и у мух.
Гаврило. А какое дело у нас, мама?
Мама. У нас есть жизнь.
Гаврило. А это что — все, мама?
Мама. Нет, не все. На нас смотрит добрый Бог, и Он нас спасает.
Гаврило. А если бы нас спас какой-нибудь человек?
Мама. Какой человек?
Гаврило. Какой-нибудь герой.
Мама. Герои спасают героев, а вот мне надо идти корову доить.

Гаврило. Почему сейчас?
Мама. Плачет корова, просит подоить.
Гаврило. А молоко, оно все наше?
Мама. Нашего столько, сколько положено.
Гаврило. Имераторово молоко, имераторово и бегово, вот в чем дело.
Мама. Теленок ты, вот ты кто.

Учитель остается перед микрофоном.

Шестая картина
Каменоломня

Светящаяся надпись КАМЕНОЛОМНЯ.

Учитель. Отец Данило Илича, сапожник, умер, когда тому было пять лет, его матери пришлось пойти в прачки. Данило Илич закончил среднюю школу и стал работать: продавцом газет, суфлером в бродячем театре, грузчиком на железнодорожных станциях и на пристани на Саве, в каменоломне, от тяжелой работы здоровье его пошатнулось, потом он получил стипендию и закончил педагогический техникум, его товарищи стали участниками восстания в Македонии, а он работал служащим банка в Сараеве. Вместе с Гачиновичем он познакомился в Швейцарии с русскими социал-революционерами, как раз тут разразилась Вторая балканская война, он пешком отправился в Сербию, чтобы записаться добровольцем, его приняли санитаром в военный госпиталь...

Гимназисты захлопывают книги и поднимают стулья. Переодеваются в рабочих каменоломни. Учитель уходит со сцены.

Рабочий. Почему ты носишь черный бант?
Илич. Чтобы он напоминал мне о преходящей природе жизни.
Рабочий. Это точно, жизнь проходит, проходит.
Илич. У матери пальцы едва шевелятся — настиралась за свою жизнь. Как-нибудь я тебе покажу, как можно стирать несколько вещей одновременно. Это экономия.
Рабочий. Не надо мне этого показывать.
Илич. Знаешь, что труднее всего стирать?
Рабочий. Что?
Илич. Только не смейся. То, что стирают женщины вроде моей матери, этой работой она занималась по ночам, за нее хорошо платят, и от нее глаза вылезают.

Рабочий. Что это?

Илич. Тонкое женское белье. Да, тонкое женское белье. И для чего оно вообще нужно. Для того, чтобы женщины, вроде моей матери, не спали по ночам.

Рабочий. Я не имею ничего против тонкого женского белья.

Илич. Женщина должна быть товарищем, а не ловушкой.

Рабочий. Ох, как бы я хотел сейчас стирать мелкое тонкое женское белье, вместо того чтобы работать в каменоломне.

Старый рабочий. Трещит, раскалывается.

Рабочий. Ох, как бы сейчас косточки затрещали, если бы я схватил кого-нибудь в тонком женском белье.

Илич. Женщина — это товарищ.

Рабочий. Товарищ женщина, приди, хочу дотронуться до чего-нибудь мягкого.

Старый рабочий. Ударяю по камню, камень трескается, падает, стучит.

Илич. Когда стираешь белье, нужно быть осторожным с пуговицами и корсетом.

Молодой рабочий. Корсет расстегиваешь, а из него выпадают...

Старый рабочий. Кому это ты расстегивал корсет? Твои все носят одни только рубашки, а трусов поди и не видали.

Молодой рабочий. Зато им пи́сать удобнее. Да, это не жизнь, братья мои. Это не жизнь, братья, когда нас считают животными.

Зонг “О камне”

Рабочие.

О камень, куда тебя отправят?
Будет ли греть тебя солнце,
Или сладкий дождик мыть,
Кто отбросит тень на тебя,
У кого будешь стоять в головах,
У девочки или у бабки,
У господина или у солдата?
Только ко мне домой не попадешь.
Мой дом моет дождик,
Мой дом войско съест,
Мой дом ветер овевает,
Мой дом беда строила.

Пуговица, поясок, резинка,
Шомпол, винтовка, взбитые сливки.
Доктор, писарь, гимназист —
Каждый дом покинул,
Императору поклониться.
Императору — дом,
Императору — земля,
Императору — камень в головах.
Прыгни император с камня,
Пади император в глубины,
Провались к дьяволу,
Дьявол камень разгрызает мелко,
Дьявол камень на кусочки разгрызает,
Во все стороны он крошками разлетается.
Сапог, щетка, пуля.
Пришла черная пятница.

Седьмая картина
Будущее

Светящаяся надпись ЙОВА, ТРУДОЛЮБИВЫЙ БРАТ ГАВРИЛО ПРИНЦИПА.

Зрелый мужчина из Троцкого превращается в брата Гаврило — Йову. Гаврило подметает грубой метлой. Слышится ржание лошадей. Гаврило отставляет в сторону метлу и подает Йове кувшин, чтобы тот умылся. Потом Йова льет воду ему, чтобы и он умылся. Когда Гаврило умылся, Йова его целует и осеняет крестом. Гаврило на него смотрит. Йова сворачивает самокрутку.

Йова. Нету денег, Гаврило, братишка мой младший, нужно работать или чему-нибудь учиться.
Гаврило. Знаю.
Йова. Чего бы ты хотел?
Гаврило. Я бы — в Сербию.
Йова. Да ты что?
Гаврило. Я бы в Сербию, в гимназию.
Йова. Э-э, Белград и гимназия не для таких, как ты.
Гаврило. Я имею право хотеть и стремиться.
Йова. Стремись. Разве я не помогал тебе во всем?
Гаврило. Помогал.
Йова. Я сам сначала был писарем. Ты хочешь быть писарем?
Гаврило. Я? Писарем? Это унизительно.
Йова. А, так... А потом, Гавро, я был извозчиком. Хочешь быть извозчиком?

Гаврило. Если на то пошло, я лучше голодать буду. Извозчиком я не стану.

Йова. А потом, Гавро, я был официантом. Хочешь быть официантом?

Гаврило. Нет.

Йова. Правильно. Тебе бы никто никогда не дал на чай. Потом, Гавро, я был помощником одного предпринимателя, который занимался перевозкой леса. Потому что... Монархия нуждается в древесине. Это известно. Все это, что вокруг, было занято лесами, теперь, Гавро, стало легче дышать, без леса. Как насчет леса, Гавро?

Гаврило. Не по мне.

Йова. Но теперь у меня есть четыре лошади, и я работаю. Ты видел четырех лошадей?

Гаврило. Видел.

Йова. Лесопилку видел?

Гаврило. Да.

Йова. Хочешь работать на лесопилке?

Гаврило. Ну уж нет.

Йова. Жена меня пилит, что ты ничем не занимаешься. Я бы руку себе отрезал, чтоб тебя прокормить, а потом бы и ногу, Гавро. Но так дальше дело не пойдет.

Гаврило. Знаю. Но я тебя уважаю.

Йова. А может, в военное училище — обучение, жилье и питание бесплатные?

Гаврило. Не знаю.

Светящаяся надпись МНЕНИЕ СЕРБСКОЙ УЛИЦЫ.

На виселицу с одной и другой стороны забрались все оставшиеся мужчины, кто во фраке, кто с феской на голове, все поют.

Светящаяся надпись ХОР СЕРБСКИХ ТОРГОВЦЕВ И ЧИНОВНИКОВ.

Хор чиновников и торговцев.

Не хочет ребенок торговцем быть,
Деньгами засаленными пачкать руки,
Кланяться каждому, кто заплатил,
И работать с утра до ночи.
Не хочет ребенок молиться Богу,
Не хочет, чтоб родной дом его был полной чашей,
Полной чашей для его сына.
А хочет ребенок штык в руки,
Своему народу продлевать муки,
На своей земле штыком пускать кровь
И своим телом защищать чужого императора.

Когда ребенок трудится с утра до ночи
И Богу молится, и дом свой наполняет
Засаленными деньгами и честным хлебом,
Тогда он считает деньги, а деньги правят.
Тогда он сможет бороться и за себя, и за своих,
Деньгами и трудом. И сильные мира падут.

Учитель снимает феску и подходит к микрофону.

Учитель. Мать Данило Илича теперь не стирает белье. Зарабатывает на жизнь тем, что сдает комнаты студентам. Так к ней попадает Принцип, и так Принцип и Илич знакомятся.

Восьмая картина
Гаврило и Данило

Мама переодевается в Мать Данило Илича.

Светящаяся надпись МАТЬ ДАНИЛО ИЛИЧА.

Данило Илич. Он хороший и серьезный парень.
Мать. Ни о чем не беспокойся.
Данило Илич. Он много думает. Но не думает о своем здоровье, ему нужно напоминать, и чтоб поел, и чтоб поспал.
Мать. Он будет мне как собственный сын.
Данило Илич. Он так сильно хочет учиться, что просто пугает меня.
Мать. И правильно. Моя жизнь была бы намного лучше, если бы в свое время я могла учиться.
Данило Илич. У тебя такие больные руки, мамочка.
Мать. Ну, не страшно, ведь болят они только в начале зимы и в начале весны, в другое-то время руки у меня, как у девушки.
Данило Илич. Так ты и на самом деле, как девушка.
Мать. Ладно, ладно, ступай, занимайся своими делами.

Данило Илич вкатывает на сцену стол с книгами и стул.
За ним идет Гавро, смотрит на него с любовью и восхищением.
Мать на одной половине стола раскатывает тесто для пирога.
Данило протягивает Гаврило книгу. Тот смотрит.

Гаврило. Иногда как подумаю, сколько всего есть на свете, что нужно прочитать, так просто руки опускаются. Но берусь за книгу, читаю, читаю, и все мне становится понятно, хотя бывает и так, что все делается еще непонят-

нее, чем тогда, когда совсем ничего не читал: Не хочу оставаться здесь, в этом городе, Хочу что-нибудь совершить. Не знаю что, что-нибудь...

Илич. Покажи мне как-нибудь свои стихи.

Гаврило. Я думаю, что они плохие.

Илич. У тебя девушка есть?

Гаврило. Я дал зарок хранить чистоту.

Илич. Ты молодой.

Гаврило. Если бы ты меня учил тому, что знаешь, скажи, чему бы я мог научить тебя?

Илич. Быть товарищами. Это нормально, когда тот, кто знает больше, учит другого.

Гаврило. Я хороший товарищ?

Илич. Конечно, раз ты сам спросил.

Гаврило. Мне бы страшно хотелось быть хорошим товарищем. Но больше всего мне бы хотелось отправиться в Сербию, воевать. А тебе?

Илич. Я не гожусь для армии, здоровье у меня совсем плохое, но я могу помогать по-своему, я служил военным врачом. И снова пойду. Тебе нужно понять, в чем от тебя будет больше пользы. Терпение и время, как сказал бы Кутузов, терпение и время, вот самые главные воины.

Гаврило. Я поеду поцеловать сербскую землю.

Зонг "Земля"

Мать.

Соберу тебе пирожков, когда землю сербскую пойдешь ты целовать,
Тебе надо что-то есть и где-то спать,
А на армию ты там не обижайся, армия воюет год за годом,
Мой Данило насмотрелся на раны, мой Данило потерял здоровье.
Мой Данило выучился в школах и сейчас работой мирной занят.
Школа и тебе нужна, и мирная работа, так что ты читай, читай
И учи других тому, что знаешь сам.
Землю поцелуй, раз ты так хочешь, только вот, сынок,
Смотри, земли не наглотайся.

Картина девятая
Гаврило целует сербскую землю

Светящаяся надпись ГАВРИЛО ЦЕЛУЕТ СЕРБСКУЮ ЗЕМЛЮ.

Гаврило идет, потом останавливается и целует землю. Подходит офицер с солдатами, они грязные, мрачные, измученные и очень высокие.
Гимназисты — это переодетые в сербов солдаты. Ходят на костылях.

Светящаяся надпись СЕРБСКИЙ ОФИЦЕР.

Сербский офицер.

Я, малый, в штаны наложил от того, как ты на меня
смотришь,
Но у меня нет времени тебя утешать, пора вести
Два десятка парней под пули или на штыки.
Каждый день, как мухи, гибнут у меня лучшие, не чета
тебе,
Но они, по крайней мере, все же могут уберечься.
Ты для армии не подходишь ни сложеньем, ни годами.
Не годишься, но немного подожди, очередь твоя
придет.
Не могу тебя сейчас обучать, и ни у кого нет времени,
А ты не умеешь ничего. Война дело серьезное и
серьезная работа.
Ступай теперь, а я скручу самокрутку и буду смотреть
туда, где горы,
Там мой виноградник, и я не знаю, уберегли ли его этой
ночью,
Когда град был размером с кулак.
Там мои поля пшеницы, там, далеко, там мои сливы.
Три сына у меня, один мертв, второй ходит в школу,
третий сосет грудь.
Давай-ка возвращайся туда, откуда пришел,
А будешь на меня и дальше так смотреть, убью тебя,
Клянусь кровью.

Солдаты смотрят на пирожки в сумке.

Гаврило. Угощайтесь, герои.

Солдаты молча едят.

Гаврило. Понравилось?

Солдаты молча уходят.
Учитель выходит на сцену, идет к микрофону.

Учитель. Отец Чабриновича к Австрии относился лояльно, а в Сербии он работал и голодал, возвращался домой, в Австрию, потом снова отправлялся в Сербию. Работал он в типографии, и у него постоянно возникали конфликты с хозяевами. Чабринович, если можно так выразиться, любил жизнь гораздо больше, чем Гаврило Принцип.

Десятая картина
Белград, улица Зелени Венац

Светящаяся надпись БЕЛГРАД.

Учитель уходит со сцены.

Светящаяся надпись НЕДЕЛЬКО ЧАБРИНОВИЧ.

Чабринович читает письмо, которое он написал сестре.

Светящаяся надпись ЧАБРИНОВИЧ – ПИСЬМО СЕСТРЕ.

Зонг “Письмо сестре Чабриновича”

Чабринович.

Спрашиваешь меня, по-прежнему ли я за наших?
Да.
Только я стал поумнее, стал другим.
Одно я знаю,
Брата не предавай,
Как предавал наш отец, что был шпионом,
Брата не предавай,
Сестру не предавай,
И мать, и отца,
Если только отец — не предатель,
Тогда отца у тебя нет.
Спрашиваешь, не голоден ли я?
Не особо,
Но бывал много раз.
На день своих именин вы ели жареное мясо,
А я ел черствый хлеб
И плевал кровью.
Комната моя была холодной, влажной.
И я плевал кровью.
Хозяину письмо написал,
Но этот добрый человек меня не услышал.
Та добрая женщина, его жена, меня не услышала.

Когда я увидел собственную кровь, было мне горько,
Пролил две слезы, и было мне жалко,
Потом я опять плевал кровью,
Но не плакал.
Не плакал я и тогда, когда отец меня избивал.
Сейчас я высокий, как он,
Только худой и голодный.
Он наелся со своими, теперь он высокий и толстый.
Башмаки у меня дырявые,
А грязь все не сохнет.
Но это все ерунда, я нашел товарищей,
Нашел в них и братьев, и отца.

Светящаяся надпись ПРИНЦИП, ИЛИЧ, ЧАБРИНОВИЧ И ГРАБЕЖ ГОТОВЯТ ПОКУШЕНИЕ.

Принцип, Илич и Грабеж выносят стол, как в корчме, бутылку воды, бутылку вина, бокалы и садятся.
Чабринович целует письмо и бросает его в публику, потом садится за стол.
Чабринович и Принцип сидят в корчме. Перед Чабриновичем бокал вина, перед Гаврило — воды.
Гаврило мрачно молчит, Чабринович ведет себя шумно.

Чабринович. Здесь я вдыхаю воздух свободы. Там нельзя не ходить в церковь. Нельзя выписывать политические сочинения и газеты. Все, что пишешь, покажи директору и преподавателю, запрещено ходить с тростью, запрещено собираться на улицах, ходить по улице с девушкой, пусть даже это родственница. Запрещено ездить на велосипеде и вступать в разные общества. Нельзя собираться, нельзя ходить на танцы, нельзя прогуливаться с девушкой.

Гаврило. Для нас нет ни танцев, ни девушек. Я просто хотел учиться в гимназии в Белграде, и вот я учусь в гимназии в Белграде, а Император едет в мой город, чтобы прогуливаться по улицам и чтобы все ему махали или кланялись. Я поеду туда, и я что-нибудь сделаю. Нужно достать оружие.

Данило Илич. Достать оружие не трудно, но ты не умеешь стрелять. Сейчас не время. Я не уверен, что это наш путь.

Чабринович. Мне просто умереть охота, когда я на вас смотрю.

Гаврило. Ты же нас один раз водил пострелять.

Данило Илич. Одного раза недостаточно.

Гаврило. Ты просто считаешь, что я не смогу.

Данило Илич. Я не знаю, сможешь ли ты, но я и не знаю, нужно ли это?

Чабринович. Жизнь — это жизнь, братья мои. Она огромна. А что такое Император?

Гаврило. Вот почему я не пью.

Грабеж. Он больше делает вид, что пьян, а на самом деле не пьян.

Чабринович. Я не пьян. Я вас люблю.

Гаврило. Тебе повезло. Но ты, друг мой, слишком много болтаешь.

Чабринович. Вот убей меня, если я болтаю.

Гаврило: Не шути с этим. Мы будем убивать, да, будем убивать, но не тебя. Конечно, если ты не заставишь нас это сделать.

Чабринович. Убей меня, брат!

Гаврило. Оружие.

Данило Илич. Найдется. Ты не умеешь стрелять.

Гаврило. Я не верующий. Я не хочу, чтобы меня учили морали. Ни отец, ни поп, ни кто-то еще. Я высоко моральный человек. Я высоко моральный человек потому, что я — человек, потому, что сознаю свою силу. Отсюда и моя мораль. Жизнь кипит и бурлит во мне, и цель у нее одна.

Чабринович. Уничтожить человека больного, чтобы родился новый здоровый человек. Горячий человек — это одна сила, холодный человек — другая сила, только вялый человек ничто. Вот как я это понимаю.

Гаврило. Ты любишь жизнь?

Чабринович. Люблю.

Гаврило. Тогда не ходи.

Чабринович. А если я не люблю.

Данило Илич. Тогда не знаю, что тебе делать.

Гаврило. А ты-то любишь жизнь?

Данило Илич. Да я уже и пожил немного. А вот вы еще не успели.

Трифко Грабеж влезает на виселицу.

Светящаяся надпись Трифко Грабеж.

Зонг “Пусти, Император”

Трифко Грабеж.

Пусти, Император, нашу страну, пусти ее вниз по
течению,
Что будет, пусть будет, сиди себе дома,
Есть дом у тебя, есть дворец,
Есть церковь и армия,
Есть золота много и есть свои дети,

Пусти, Император, не лезь к нам, сиди себе дома,
не подходи.
Я тоже хочу все свое, и страну, и дворец,
И церковь свою, и хочу свою армию,
Хочу свою реку, реку и гору,
Пусть нет ничего другого, хочу, Император, я это.
Пусть сдохну, пусть лопну, хочу, Император, свое.
Будь ты еще больше велик, Император, хоть даже в три
раза,
Все это, оно не твое.

Картина одиннадцатая
Путь оружия

Ночь перед деревенским домом, Грабеж, Принцип и Чабринович. Лошадь с поклажей, ее изображает Крестьянин Митар, надев на голову бутафорскую голову лошади. Йова, брат Гаврило, превращается в Чубриловича.

Светящаяся надпись ВЕЛЬКО ЧУБРИЛОВИЧ.

Чубрилович оборачивается лицом к публике и крестится, потом подходит к Гаврило. Ощупывает переметные сумки.

Гаврило. Мы перевозим груз в Сараево для встречи престолонаследника. Нам сказали, что ты нам поможешь.

Чубрилович. Прошу тебя, скажи, вы везете оружие для престолонаследника?

Гаврило. Тебе этого лучше не знать и об этом не говорить, это лучше не только для тебя, но и для твоих близких. А если тебе уж так сильно хочется узнать, то да, везем и собираемся устроить покушение, и раз уж теперь вы это узнали, то лучше вам помалкивать, а если нас выдадите, будете уничтожены...

Чубрилович. А что у вас здесь...

Гаврило. Все, что нужно.

Деревенский дом. Крестьянин Митар снимает с головы бутафорскую лошадиную голову и теперь он просто крестьянин Митар. Гаврило ставит сумки на пол.

Светящаяся надпись КРЕСТЬЯНИН МИТАР.

Митар смотрит на переметные сумки. Местная женщина, повязанная платком, потупившись, поглядывает на Митара.
Он кивает ей, она раскатывает ковер. На ковер ложатся Чабринович и Грабеж и тотчас засыпают.
Чубрилович, Митар и Гаврило стоят и переглядываются.

Чубрилович. Можешь дать нам телегу для мешков?
Крестьянин Митар. Могу. А это мешки?
Чубрилович. Да.

Женщина расстилает еще один ковер, Чубрилович ставит на него мешки.
Женщина приносит кофе.
Принцип достает из мешка бомбу.

Гаврило. Это нужно как следует упаковать.
Крестьянин Митар. Поди-ка, женщина, присмотри за волами.

Все смотрят на бомбы. Женщина покидает сцену.

Гаврило. Каждую бомбу нужно замотать в тряпки, чтóбы по дороге не рванула.
Крестьянин Митар. А с чего это, парень, ты так уверен, что у меня есть тряпки?
Гаврило. Найдешь.
Крестьянин Митар. А если не дам?
Гаврило. Ты все забыл, что и как было?
Крестьянин Митар. Я не забыл, но я не знаю, можно ли тебе в руки бомбу давать.
Гаврило. Не твое дело. Если и нельзя, я самого себя подорву.

Достают оружие и рассматривают его.

Чубрилович. Ты умеешь стрелять из револьвера?
Гаврило. Пробовал.
Чубрилович. Оборони Господь.
Гаврило. Давай тряпки и мешки и ляжем спать.
Крестьянин Митар. Спи, если хочешь, мне что-то не до сна.
Гаврило. Ты должен показать нам дорогу.

Гаврило ложится возле мешков с оружием. Делает вид, что заснул, но все видит и слышит.

Крестьянин Митар. Зачем он принес это в мой дом, может все взлететь на воздух. Ладно, если только дом, но случись такое, все можем погибнуть. Черт бы вас побрал. Во что, брат, дом превратили...
Чубрилович. Да не бойся ты ничего такого.
Крестьянин Митар. Как не бояться.
Чубрилович. Они сами себя убьют, чего бы ни сделали.
Крестьянин Митар. А вдруг не убьют...
Чубрилович. Не болтай, сейчас и бомбы молчат, а будешь болтать, бомба скажет свое слово прямо у тебя в доме.

Все встают. Входит Женщина, скатывает ковры. Упаковывают бомбы и оружие

Зонг “Горе мне”

Крестьянин Митар.

Ох, гимназисты, горе мне,
Гимназисты приехали, горе мне,
Знай я, спрятался б вовремя.
Дед мой сразу за ружье хватался,
Прадед никому не кланялся.
Уж если студент герой,
Пропадом он пропади,
Если уж я герой,
Чтоб мне пусто было.
Больным притвориться теперь не могу,
Куда податься?
А работать? Да, могу,
Ох, гимназисты, горе мне.
Боже, помоги мне.

Крестьянин Митар опять надевает лошадиную голову.

Картина двенадцатая
Гаврило Принцип прощается с жизнью

Светящаяся надпись ГАВРИЛО ПРИНЦИП ПРОЩАЕТСЯ С ЖИЗНЬЮ.

Парк. Гаврило сидит на скамейке с Девушкой и пытается положить ей голову на колени.

Снившаяся девушка. Зачем ты пришел?

Гаврило. Я уезжаю, на некоторое время. Нужно кое-что сделать. Вот так.

Снившаяся девушка. А-а. Почему пелерину не снимешь?

Гаврило. Не могу.

Снившаяся девушка. Что, рубашка грязная?

Гаврило: Нет.

Снившаяся девушка. Покажи, если хватит храбрости.

Гаврило. Не могу, просто поддержи немного мне голову, хочу ненадолго закрыть глаза.

Снившаяся девушка. Не могу. Завтра приходи. И возьми чистую рубашку.

Гаврило. Да чистая у меня рубашка.

Снившаяся девушка. А белье?
Гаврило. И белье чистое.
Снившаяся девушка. Отстань, оставь в покое мои колени. Ты, наверное, напился.
Гаврило. Да я в жизни никогда пьяным не был. Просто хочу ненадолго закрыть глаза.
Снившаяся девушка. Может быть завтра...
Гаврило. Я могу только сегодня вечером.
Снившаяся девушка. Значит, не повезло тебе. Видишь ли, я хожу на музыку, и там все всегда в чистых рубашках.
Гаврило. Можно тебя поцеловать?
Снившаяся девушка. Что я с ума сошла?
Гаврило. Может, мы больше не увидимся.
Снившаяся девушка. Ну, так тем более, незачем целоваться. Что я с ума сошла?
Гаврило. А можно тебя обнять?
Снившаяся девушка. Убирайся. Что ты глаза выкатил, как мертвец?
Гаврило. Я живой.
Снившаяся девушка. Очень глупо прикрывать пелериной узкие плечи, если хочешь целоваться, лучше показать плечи.
Гаврило. А ты целовалась с кем-нибудь?
Снившаяся девушка. Не всерьез.
Гаврило. Можно я положу голову тебе на колени?
Снившаяся девушка. Какой ты горячий.
Гаврило. Вовсе нет. Мне холодно.
Снившаяся девушка. С тобой скучно. Подними голову.
Гаврило. Ну, я пошел, сестренка. Спасибо тебе за все. Если я о чем и пожалею, то только о том, что так и не положил голову тебе на колени, только об этом.

Гаврило встает, кланяется ей и уходит.
Все Мужчины выходят на сцену.

Зонг “Песня парней”

Мужчины.

Что же ты, девчонка, холодна?
Молодость прошла уже, она коротка.
Пока ты выбирала и мною играла,
Зубы потеряла, а грудь твоя обвисла.
Что ж ты, девчонка, меня не любила,
плакать станешь, когда увянешь.
Что же ты, девчонка, холодна?

Под пулю иду, в петлю или на нож.
Что ж ты меня не любила,
Была б моей единственной, была б моей единственной.
Мученик я проклятый,
Меня только мать целовала, ребенком.
Что же ты, девчонка, холодна?
Если бы меня любила,
В песне бы осталась,
Если бы меня любила,
Вечно бы жила.

Картина тринадцатая
Чабринович прощается с жизнью

Светящаяся надпись ЧАБРИНОВИЧ ПРОЩАЕТСЯ С ЖИЗНЬЮ.

Снившаяся девушка превращается в Сестру Чабриновича. Она идет, толкая перед собой стол на колесиках. Местная барышня превращается в Бабушку Чабриновича. Мать Данило Илича превращается в Мать Чабриновича, за ней Неделько несет скамейку. Бабушка садится, потом мать уходит.

Светящаяся надпись ДОМ СЕМЬИ ЧАБРИНОВИЧ.

Мать выносит и кладет перед Бабушкой хлеб. Бабушка берет мякиш и кладет кусок в рот.
Все садятся.

Бабушка. Если ты состарился, у тебя нет зубов, если нет зубов, не можешь кусать, не можешь кусать, должен умереть, а уж если не умер, можешь радоваться жизни.
Мать. Сейчас отец придет, прошу вас, не ссорьтесь.
Неделько. Хорошо, мама, не будем.
Сестра. Братишка, ты сегодня прямо красавец.
Бабушка. Буду радоваться жизни.

Отец выходит на сцену.

Светящаяся надпись ОТЕЦ ЧАБРИНОВИЧА.

Отец. Где древко от флага?
Мать. Там, где и стояло.
Сестра. Вон, за той дверью.
Отец. Туман рассеялся, хороший день, прекрасная погода. Утро еще краше, когда вывесишь флаг. Где палка от флага? Сегодня к нам приезжает Император, и я хочу повесить его флаг вот здесь, вот здесь я его повешу, и я

всегда буду вешать, пока я в этом доме хозяин... Или это не мой дом? Или Император не приезжает?

Чабринович. К кому приезжает, к кому — нет.

Отец. Кто ничего делать как следует не умеет, тот всех ненавидит и несет вздор, есть такие люди, которым бы лучше не родиться.

Мать. Может, уже суп разольешь?

Отец. А что, вы куда-то спешите?

Чабринович. Я — нет.

Отец. Да где же палка от флага?

Чабринович. Мне это неизвестно.

Отец. Врешь. И даст Бог, твои дети будут так же врать тебе и так же не уважать тебя, как ты меня. Но только смотри, мой усатый, детей у тебя не будет, делать детей тоже уметь нужно. Нужно суметь закончить то, что начал. А усачи все начинают, начинают да ничего не кончают.

Чабринович. Ты прав, детей у меня не будет.

Сестра приносит палку-древко. Отец натягивает на нее флаг монархии и расправляет его.

Чабринович. Может, никто и не увидит твой флаг. Ты что надеешься, если его вывесишь, Император тебя за это по головке погладит?

Отец. Мне с моим Императором хорошо, и в этом государстве мне хорошо, вот только в доме моем мне не хорошо, потому что ты ни на что не годишься, но вижу, и тебе здесь не нравится. Так вот, раз этот дом я поставил и раз он мой, а тебе в нем не нравится, милости просим, скатертью дорожка. Мне в моей жизни все нравится, а если не нравится тебе, ты можешь из моей жизни убираться, усач, толку от тебя и так никакого.

Чабринович. Что ж, будь по-твоему.

Отец. Если мужчина что сказал, то должен и сделать. Так что — вон из моего дома, и не вздумай возвращаться. Ты и года впроголодь не вынес, вернулся ко мне, пил, ел, а сейчас уйдешь — больше не возвращайся.

Чабринович. Сейчас и уйду.

Отец. Уйду, уйду... Так ты и в прошлый раз ушел.

Все едят.

Отец. Мне эта страна дала работу, и меня эта страна накормила.

Мать. Ешь, сынок, ешь.

Чабринович. Что-то не хочется. (*Улыбается, вынимает из кармана часы и еще что-то.*)

Чабринович. Мама, вот тебе перочинный ножик и часы.
Мать. Ну нет, тебе самому понадобятся...
Чабринович. Нет, я решил стать серьезным.
Мать. Хочешь, мы тебя женим?
Чабринович. Я и сам собираюсь.
Мать. А какая девушка? Из какого дома?
Чабринович. Из самого лучшего.
Мать. Скажи, какая?
Чабринович. Самая красивая, какая только есть. Когда она целует, ты исчезаешь, тебя нет, многим она снилась, многие ее испугались.
Мать. Чего ж тут пугаться?
Чабринович. Того, что она самая красивая. Самая красивая эта девушка. Бабуля, вот тебе деньги. (*Достает из кармана деньги и дает бабушке.*)
Бабушка. Бабке это много.
Чабринович. У моей невесты деньги есть.
Бабушка. Врешь.
Чабринович. Бери, бабуля, деньги.
Бабушка. Да я не отказываюсь.
Отец. А мне ты что дашь?.. Все умничаешь... Ты еще вернешься ко мне. Вернешься, знаю, вернешься и поцелуешь отцу руку, так оно и будет.

Чабринович уходит, смотрит по сторонам в последний раз, Сестра бросается за ним. Остальные продолжают есть.

Сестра. Какой-то ты странный.
Чабринович. Вовсе нет.
Сестра. Мне прямо плакать хочется, такой ты странный.
Чабринович. Я вообще-то собираюсь в дальнюю дорогу.
Сестра. Надолго, значит...
Чабринович. Знаешь, как это мне представляется, не так уж и надолго.
Сестра. И когда же мы увидимся?
Чабринович. Увидимся тогда, когда все станет гораздо лучше.
Сестра. А как же я буду без тебя?
Чабринович. Ничего не поделаешь. Я буду ждать тебя там.
Сестра. А это где, братишка?
Чабринович. Там, куда я направляюсь. Пришлю тебе письмо. Увидишь меня во сне.
Сестра. Не уходи.

Сестра возвращается, садится за стол. К Чабриновичу подходит Фотограф.

Фотограф. А сколько вы желаете?

Чабринович. Мы желаем шесть фотографий.

Фотограф. Прекрасно. Такие красивые усы сами просятся, чтоб их сфотографировали.

Чабринович. Согласен.

Фотограф. А для кого фотографии?

Чабринович. Одна матери, вторая бабуле, третья сестре, четвертая девушке, которая меня отвергла, пятая на аттестат зрелости, потому что сегодня мне его вручают, шестая — для смерти.

Фотограф. Для кого?

Чабринович. Для самой прекрасной из всех существующих девушек. Для той, которая всем нам снится. На самом деле, если вы серьезно спрашиваете, то шестая фотография для истории.

Фотограф. Ладно, ладно. А ты красавец, прямо картинка. (*Уходит.*)

Чабринович стоит и смотрит. Сестра Чабриновича превращается в Снившуюся девушку, надевает на голову шляпу. Снившаяся Девушка проходит с коляской, что-то напевая ребенку. Ребенок воркует.

Зонг “Ребенку”

Снившаяся девушка.

Вырастешь, смотри вперед,
Но не так, чтобы в глаза,
Не наверх, не наверх,
А куда-то мимо всех,
Не будь слишком молчаливым,
Не старайся притворяться, что ты лучше,
Что ты лучше, чем ты есть на самом деле,
Потому что мы не то же, что они:
У них мощный Император,
У них много денег,
У них кафедральный собор,
У них строгий закон,
У них школы и прислуга,
И они не то, что ты.
Лучше едят, лучше пьют,
Лучшей водой лица моют.
А ты только будь здоров
И ни в чем не виноват.

Четырнадцатая картина
Покушение

Чабринович стоит на виселице. Под виселицей Уличный хулиган задирает Слабоумного.

Уличный хулиган. У тебя сахар на ботинке. У тебя сахар.

Уличный хулиган схватил Слабоумного и не отпускает, Слабоумный смеется, он немного напуган, но ему приятно, что с ним общаются.

Уличный хулиган. Сними и оближи. Полижи сахару, вот так.

Слабоумный слизывает сахар с ботинка.
Чабринович смотрит.

Уличный хулиган. Усатый, гляди, сколько ему сахару досталось. Смотри, чтоб тебя не вырвало. Небось это рафинированный сахар.

Слабоумный. Рафинированный сахар.

Уличный хулиган. Усатый, чего смотришь мрачно?

Слабоумный. Я ходил к доктору.

Уличный хулиган. Расскажи, кретин.

Слабоумный. Я шел вот так. (*Показывает, как его вели к доктору, подталкивая пинками под зад.*) Там меня раздели, чтобы осмотреть. (*Показывает как его держали и как он вырывался.*)

Уличный хулиган. А что они у тебя смотрели?

Слабоумный. Поставили клистир. Поставили клистир. Клистир первоклассный. Ооооой...

Уличный хулиган и Слабоумный смеются.
Чабрилович бросает бомбу.

Светящаяся надпись БОМБА.

Уличный хулиган, Слабоумный и все остальные (кроме Гаврило) хватают Чабриловича, кто за руки, кто за ноги и уносят со сцены.
Гаврило Принцип поднимается на виселицу.

Гаврило.

Я и сейчас сижу перед очагом,
Темнота наступила быстро, потому что окон нет,
Над глинобитным полом вьется пыль,
Люди тяжело дышат, поглотила их темнота.
Они утомлены тяжелой работой,
Они онемели от муки и горя,

Они не говорят, их глаза блестят,
В жизни никогда они не ели досыта,
И ни днем ни ночью, никогда не оставались наедине с самими собой.
Тут старые умирают, а дети начинают ходить,
Тут не бывает такого, чтоб отец читал газету,
Тут не бывает такого, чтоб мать красивую песню пела,
Любят ли они друг друга или ненавидят,
Никому нет дела, и это не люди,
Они рычат и мычат, это животные,
Им ничего не нужно только рожать себе подобных,
Да грызться друг с другом возле холодного очага,
Я бы, может, тоже хотел иметь сына,
Я бы, может, хотел увидеть море,
Я бы, может, хотел стихи писать,
Но я вышел из грязи, и я выстрелю.

Гаврило стреляет.
Все набрасываются на него, бьют и уносят.

Светящаяся надпись ВЫСТРЕЛ.

Мама выходит и поднимается наверх, рядом с виселицей.

Мама.

Мама.
Очень было тепло с утра,
С утра солнце жарило,
Я на лугу работала,
Сена носить, не переносить,
Домой вернулась, стирала
И села корову доить,
Тут ребенок с места сдвинулся,
За стену схватилась я,
Вцепилась зубами в тряпку, чтоб не орать,
Выпал ребенок на голую землю,
И завизжал громко, сказал: вот я, мама!
Так Гаврило родился.
Сегодня жду, когда он придет,
И еды приготовила той, которую он любит.

Пятнадцатая картина
Суд

Темнота, и в темноте слышен голос Трифко Грабежа.

Грабеж. Папа, меня мучили. Туго привязывали нас к какой-то машине, не знаю, как она называется, надеюсь, боль-

ше ее никогда не увижу. Заставляли сидеть на корточках на бочке с цементом, на самом ее краю, так что если упадешь, то лицом прямо в цементную пыль, били нас, пока не потеряем сознание. Несколько раз я терял сознание, это такое блаженство, как будто засыпаешь, только вот потом, когда тебя выдергивают из этого сна и продолжают истязать, мучаешься еще больше. Я ухитрился дать одному в зубы, но, к сожалению, за это они меня не убили, прости меня, папа, что я такое рассказываю. И собаками нас травили, таких окровавленных. Но все это не важно, я просто хочу, чтобы ты знал, мне так больно, что вы из-за меня страдаете, это меня больше всего мучает, папа.

Загорается свет.
Зал суда. Председатель суда стоит в круге света. Вокруг него на стульях сидят подсудимые. Когда кто-то из них говорит, его освещают прожектором. Когда они не говорят, их избивают, поят водой, вытирают кровь, поливают водой из ведер. Избиение происходит в темноте.
По ходу действия Гаврило бьют все больше и больше, Чубриловича бьют только по лицу. Чабриновича бьют. Грабежа бьют. Данило Илича быстро перестают бить.

Председатель суда. Гаврило Принцип!
Гаврило. Я.
Председатель суда. Сколько вам лет?
Гаврило. Девятнадцать исполнилось к моменту покушения.
Председатель суда. Откуда вы родом?
Гаврило. Из Грахова, село Обляй.
Председатель суда. Где учились?
Гаврило. В Белграде, гимназия, восьмой класс.
Председатель суда. Какой вы веры?
Гаврило. Сербско-православной.
Председатель суда. Женаты?
Гаврило. Нет.
Председатель суда. Раньше привлекались?
Гаврило. Нет.
Председатель суда. Неделько Чабринович!
Чабринович. Я.
Председатель суда. Сколько лет?
Чабринович. Девятнадцать.
Председатель суда. Имя вашего отца?
Чабринович. Васа.
Председатель суда. Откуда?
Чабринович. Из Сараева.
Председатель суда. Какой веры?

Чабринович. Православной.
Председатель суда. Женаты?
Чабринович. Нет.
Председатель суда. Род занятий?
Чабринович. Типограф.
Председатель суда. Трифко Грабеж?
Грабеж. Я.
Председатель суда. Имя отца?
Грабеж. Джордже.
Председатель суда. Откуда?
Грабеж. Из Пала.
Председатель суда. Сколько лет?
Грабеж. Восемнадцать.
Председатель суда. Какой веры?
Грабеж. Православной.
Председатель суда. Женат?
Грабеж. Нет.
Председатель суда. Где учились?
Грабеж. Гимназия, восьмой класс, в Белграде.
Председатель суда. Раньше привлекались?
Грабеж. Да, за пощечину преподавателю Трухельке, осуждён на четырнадцать дней тюремного заключения.
Председатель суда. Митар Керович.
Митар. Я.
Председатель суда. Имя вашего отца?
Митар. Илия.
Председатель суда. Откуда?
Митар. Из Тобута, район Зворник.
Председатель суда. Сколько лет?
Митар. Шестьдесят пять.
Председатель суда. Какой веры?
Митар. Сербской.
Председатель суда. Православной?
Митар. Да.
Председатель суда. Сколько детей?
Митар. Четверо, одна девочка.
Председатель суда. Сколько лет младшему?
Митар. Этого не знаю. Имя знаю, а сколько лет не знаю.

Избивают Чабриновича. Потом его обливают холодной водой и причесывают.

Председатель суда. В каких отношениях вы были с Принципом?
Митар. Он мой товарищ.

Председатель суда. Ваши идейные позиции совпадали?
Чабринович. Нет. Он был радикальным националистом, а я анархо-социалистом.

Избивают Гаврило. Потом обливают его водой из ведра и приглаживают ему волосы.

Гаврило Принцип. Меня никто не склонял к этому поступку, и я ни с кем ни о чем не договаривался и никому не рассказывал, что собираюсь устроить покушение. В последнее время я не состоял ни в какой организации. Я вообще старался не общаться с людьми, куда бы я ни попадал, меня всюду считали слабаком, человеком, которого погубило чрезмерное чтение книг. Я и притворялся, что слабый, хотя на самом деле я не такой.
Я ни в чем не раскаиваюсь и осознаю, что сделал, однако сожалею, что убил герцогиню Гогенберг, у меня не было намерения ее убивать.

Избивают Чабриновича. Потом его обливают водой и причесывают.

Чабринович. Я — радикальный анархист и террорист, я считаю, что существующая система несправедлива и ее необходимо уничтожить. Я ненавижу всех представителей конституционной системы, причем не то или иное лицо как таковое, а каждого носителя власти, угнетающей людей. Такие взгляды у меня сформировались в результате чтения анархистской и социалистической литературы.
Мне никто не помогал и никто не знал о моих планах.
Я умышленно пошел убивать эрц-герцога, потому что он враг всех славян вообще, а особенно сербов. В том, что я сделал, не раскаиваюсь.

Чабринович выглядит сломленным.
Принципа избивают. Потом обливают холодной водой.

Председатель суда. Какой вам яд дали?
Принцип. Цианистый калий, но мой организм его не удержал, меня сразу вырвало.
Председатель суда. Еще раз вас спрашиваю, считаете ли вы себя виновным?
Принцип. Я не преступник, я убрал того, кто сеял зло. Я хотел добра.
Председатель суда. Почему вы убили ее?
Принцип. Этого я не хотел. Но жертвы неизбежны. Мне жаль только крестьян, которые страдают из-за нас. Мне жалко, что народ мучается.

Председатель суда. Что вы имеете в виду, когда говорите, что народ мучается?

Принцип. То, что народ нищий, то, что его держат за скотину. Крестьяне обнищали, дальше некуда. Я крестьянский сын, я знаю, какова жизнь на селе. Поэтому я хотел отомстить, и я не жалею о содеянном.

Избивают Митара Керовича. Он кричит.

Председатель суда. Ты Митар Керович?
Митар. Я.
Председатель суда. Ты староста общины?
Митар. Я.
Председатель суда. У тебя есть собственная земля?
Митар. Есть.
Председатель суда. Ты батрак?
Митар. Нет.
Председатель суда. Детей кормишь своим трудом?
Митар. Кормлю. И они тоже работают.
Председатель суда. Ты считаешь себя виновным?
Митар. Закон знает, и вы.
Председатель суда. Ты сам знаешь.
Митар. Не знаю. Если Бог все видит, я не виновен.
Председатель суда. Так ты виновен?
Митар. Да, виновен, должно быть, виновен, раз здесь оказался.
Председатель суда. Ты знаешь учителя Чубриловича?
Митар. Знаю.
Председатель суда. Как ты с ним познакомился?
Митар. Я ехал из Тузлы, и у меня сбежала лошадь, и так я пришел в одно село. Там сел выпить, и там был учитель, я с ним познакомился.
Председатель суда. В чем твоя вина?
Митар. Я был дома, пришли два гимназиста.
Председатель суда. Первым пришел Чубрилович?
Митар. Да. Я колол дрова перед домом.
Председатель суда. Кем тебе приходится Велько Чубрилович?
Митар. Он мне кум.

Избивают Принципа. Потом его обливают холодной водой.

Принцип. Я ясно представлял себе: все югославы объединятся. Но для этого нужно освободиться от немцев и Австрии. Я намеревался совершить покушение на лицо, которое представляет эту власть, из националистиче-

ских соображений. Южные славяне должны объединиться. Как — не знаю, это зависит от обстоятельств.

Бьют по лицу Данило Илича.

Данило Илич. Я не говорил о покушении на престолонаследника, мы говорили о покушениях вообще. Я ему прямо не давал понять, что у меня он может получить оружие. Он говорил, что достать оружие трудно, а я сказал, что мне это не трудно.

Бьют по лицу Данило Илича.

Я до самого конца считал, что они не решатся воспользоваться оружием.

Бьют по лицу Данило Илича.

Я стал противником покушения и говорил об этом. Я даже пытался предотвратить покушение. Я понял, что это вредно. Я говорил с Принципом, я хотел, чтобы он согласился со мной. Я увидел, что он заколебался. Я дал им оружие, чтобы они могли потренироваться, и я дал его умышленно поздно, я рассчитывал, что, если у них не будет времени на тренировку, они не решатся на покушение.

Чабринович сломлен.

Чабринович (*плачет*). Я хочу, чтобы вы нас поняли, мы не преступники. Мы любили свой народ. Девять десятых нашего народа крестьяне. Они стонут, жалуются, у них нет школ, нет культуры. Нам это больно. Мы чувствовали боль нашего народа. Я действительно анархист, но во мне не было ненависти к дому Габсбургов. Я вовсе не ненавидел какой-либо другой народ. Я любил свой. Мы все хотели совершить подвиг, Принцип хотел совершить подвиг, мне очень жаль, Франц Фердинанд был отцом семейства. Я слышал, как он сказал: “София, не покидай нас, живи ради наших детей”. Но мы просто люди, которые любили свой народ. Прошу вас убить меня. Я не рассчитывал, что останусь в живых.

Чубриловичу подают стакан с водой.

Чубрилович. Я не виноват в том, в чем меня обвиняют, но я виноват в том, что каким-то образом способствовал убийству.

Председатель суда. Некоторые здесь говорят, что они не виновны, хотя и совершили убийство. Вы сожалеете о сделанном?

Чубрилович. Сожалею.

Председатель суда. Сожалеете, что убили конкретное лицо или же сожалеете о последствиях.

Чубрилович. Сожалею и о том, и о другом.

Председатель суда. Почему вы сожалеете?

Чубрилович. Я противник любых покушений.

Председатель суда. Сожалеете ли вы о супруге престолонаследника?

Чубрилович. Сожалею.

Председатель суда. Кто вез переметные сумки?

Чубрилович. Не знаю.

Председатель суда. Вы у них спросили, зачем им эти сумки?

Чубрилович. Я не помню.

Председатель суда. Вы говорите, что не участвовали в планах Народной обороны, что вы занимались только вопросами культуры?

Чубрилович. Да, так сказал, это точно. Я думал, что народ нужно поднимать через просвещение и культуру, а не иными способами, и этим я и занимался.

Председатель суда. Вы угрожали кому-нибудь?

Чубрилович. Я сказал, какое впечатление произвели на меня гимназисты, и я им об этом сказал.

Чубриловича избивают. Грабежа избивают.

Председатель суда. Вы верующий или атеист?

Грабеж. Я верующий.

Председатель суда. Как вы тогда можете объединять веру с уничтожением Божьего создания?

Грабеж. Вера этого не допускает. Что существует, не может быть уничтожено.

Председатель суда. Ваш отец — священник. Какое воспитание он вам дал?

Грабеж. Он дал мне чисто религиозное воспитание в рамках Святого Писания.

Председатель суда. Как вы следуете его указаниям?

Грабеж. Я следовал им ребенком. Следую и теперь, когда считаю это важным.

Председатель суда. Что именно вы считаете важным?

Грабеж. Слова, сказанные на Масличной горе.

Председатель суда. Вы не носите крест.

Грабеж. Мы несем свой крест на плечах.

Избивают Принципа. Потом его обливают холодной водой.

Гаврило. Я могу испытывать жалость к человеку, но я убил не человека, я убил Императора.

Их всех поливают из шланга. Потом уводят. Женщины губками смывают с пола кровь.

Председатель суда.

Гаврило Принцип — строгое заключение.
Двадцать лет, и каждый год
В день, когда был жестоко убит Император,
Пусть сидит в темной одиночке
И постится раз в месяц.
Неделько Чабринович — строгое заключение.
В день, когда пытался убить Императора,
Темная камера и пост раз в месяц.
Трифко Грабеж — двадцать лет
И три месяца пост.
В день убийства Императора — темная камера-одиночка.
Данило Илич — смерть через повешение.
Велько Чубрилович — смерть через повешение.

Учитель. Корреспондент газеты "Франкфуртер цайтунг" описывает, что происходило после покушения, когда толпа бросилась громить сербские дома, квартиры, магазины и склады, уничтожая все, что можно было уничтожить, разграбляя ценные вещи. В отместку за покушение сараевская полиция арестовала многих видных сербских торговцев, интеллектуалов и священников, несмотря на то что сараевские сербы в основном осудили сделанное Принципом.

Все выходят на сцену. На головы надевают фески, если они торговцы, шляпы, если господа, и кепки, если рабочие или студенты, а те, кто изображают крестьян, остаются с непокрытой головой.
Хор торговцев — это Зрелый мужчина и Снившаяся девушка. Хор рабочих — гимназисты-драконоубийцы. Хор крестьян — Зрелый мужчина, Крестьянин Митар и Нана. Хор чиновников и господ — Учитель и Местная барышня. Хор студенческий — гимназисты-драконоубийцы.

Светящаяся надпись ХОР ТОРГОВЦЕВ.

Хор торговцев.

Дом мой подожгли,
Товары растащили,
А все из-за гада, который нас опозорил,
Все из-за гада, который стрелял,
Из-за того мерзавца и выродка.
За что это нам, любимые наши,
Любимые наши правители?
Мы вам верны, мы не виноваты,

Помогите,
Коль знаете как,
Служить вам будем покуда живы.

Светящаяся надпись ХОР РАБОЧИХ.

Хор рабочих.
Коротка цепь, но длинный кнут,
Кредит возьми, мой кровопийца,
А когда поставишь новый дом,
А когда наполнишь его товаром,
Мы подожжем,
Мы все уравняем,
Мы запоем,
Мы новый мир построим.

Светящаяся надпись ХОР ЧИНОВНИКОВ и ГОСПОД.

Хор чиновников и господ.
Люди, это позор,
Они позорят наш род и школу,
Позорят язык, веру,
Позорят страну нашу,
Посмотрите на всех на них,
Мы не из них,
Посмотрите на всех на них,
Мы из ваших.

Светящаяся надпись ХОР КРЕСТЬЯН.

Хор крестьян.
Разве кто-то нас спросил,
Разве кто-то нам что дал,
Разве кто-то на нас смотрел?
Вставай мужик,
Вставай весь род
Защищаться от господ,
Чиновников, ростовщиков,
Торговцев, судей.

Светящаяся надпись ХОР СТУДЕНЧЕСКИЙ.

Хор студенческий.
Молодой не имеет права жить для себя,
Молодой не имеет права жить для других,
Ни для матери, ни для отца,
Ни для ребенка, ни для жены.
Потому что жизнь — это миссия,

Потому что на него глядит добрый Бог,
Потому что на него смотрит весь народ,
Потому что на него смотрит родина,
Человечество, вселенная.
Молодой — это сила,
Молодой — это душа,
Молодой — это герой,
И молодой умрет
От пули, от петли,
Потому что у молодого нет матери,
Потому что у молодого нет отца,
Потому что у него есть только справедливость,
Только справедливость и истина,
И над всем этим добрый Бог,
Человечество, вселенная,
И он должен отдать жизнь
За свободу и будущее.
Молодой — это одна пуля.
Молодой — это мертвый герой.

Гимназисты устраивают из парт и скамеек тюрьму и сразу начинают перестукиваться, чтобы связаться друг с другом. Заматывают себя бинтами, наносят грим, изображающий кровоточащие раны, синяки, расставляют рядом с собой тазы, ночные горшки, миски.

Шестнадцатая картина
Dance macabre

Светящаяся надпись MEMENTO MORI.

Под виселицей тюрьма. В тюрьме сидят закованными в кандалы заключенные. Чубрилович молится. Начинает стучать Гаврило, потом Чабринович, потом Грабеж. Илич все время спит, потом просыпается и тоже принимается стучать. Они стучат кулаками, кандалами. Потом из стука рождается голос поющего. Крестьянин Митар превратился в Палача, он готовит виселицу. Закончив приготовления, садится перекусить.

Гаврило. Где ты был, орел?
Чабринович. Где ты был?
Илич. Спал.
Чабринович. Мы думали, уже виселицу раскачивал.
Гаврило. Это нас ждет, братья мои.
Чабринович. Каково это, на ней качаться?

Гаврило. Каково это, когда умираешь?
Чабринович. Сколько это длится, что думаешь, что делаешь?
Гаврило. Я бы и покачался, но я еще совсем молод.
Грабеж. Через двадцать лет, что тогда будет?
Чабринович. Может, люди отправятся на Луну.
Илич. Может, мужчины смогут беременеть.
Гаврило. Может, не будет больше людей.
Илич. Да, вот бы знать, что может тогда быть. И какой мир ждет всех свободных людей.
Грабеж. От нас никто не будет иметь детей.
Гаврило. Может, у тебя они есть, а ты не знаешь.
Чабринович. Вот и хорошо, что у меня их нет.
Грабеж. Но ты хоть немного погулял.
Чабринович. Погулял, да, руку целовал, погулял да целовал в губы, погулял, да, мы сели на скамейку, но с детьми не успели, со скамейки быстро встали.
Гаврило. Ты хотя бы целовал руку.
Илич. Какая она была, та рука?
Чабринович. Красивее и белее, чем моя.
Гаврило. А что, если и вправду есть ад и рай и если в аду сидит какой-то царь?
Чабринович. А что, если в аду сидит какой-то царь, который любит охотиться и ухаживает за своими усами?
Гаврило. А если вырвать у него усы, аду конец.
Грабеж. А у меня нет усов.
Илич. У тебя ни одного волоска нет.
Грабеж. Вот, здесь есть два-три.
Илич. Где они у тебя выросли?
Грабеж. Один под подбородком, один на руке, а еще один там, куда ветер не задувает.
Чабринович. Выросли, выросли, в тюрьме проросли, в могиле отрасли.
Чубрилович. Если Дама Смерть не любит усы?
Все (*кроме Чубриловича*).

А, Дама Смерть, у тебя белые руки,
А, Дама Смерть, у тебя нежные губы,
А, Дама Смерть, у тебя черные косы,
А, Дама Смерть, у тебя пышная грудь,
А, Дама Смерть, дай ее мне, молодому.

Дама Смерть выходит на сцену, подходит к Чубриловичу и, танцуя с ним, ведет его к виселице. Все свистят и радуются ее появлению.
Чубрилович целует ей руку, кланяется, после чего Палач накидывает ему на шею петлю.

Чубрилович. Я пастырь добрый, а пастырь добрый душу свою кладет за своих овец. Если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, то одно останется, если же умрет, много других родит.

Все (*кроме Илича*).

О, Дама Смерть, у тебя белые зубы,
О, если б дала мне по-мужски умереть,
О, если б дала мне от меча умереть,
И от петли, и от ножа, о, если б дала мне.
Не хорони меня только живым,
Не оставляй меня только молодым.

Чубрилович мертв и Палач снимает его с виселицы. Дама Смерть ведет на виселицу Илича. Он танцевать не хочет. Падает на колени.

Чубрилович.

Любимая, имя и счастье мое,
Когда получишь это письмо, я буду телом мертв,
А душой буду вас обнимать.
Всех сербских орлов приветствуй
И всем скажи им “прощайте”,
Меня вы не увидите, но я живу,
Живете вы,
И мы будем жить.

Дама Смерть ведет Илича на виселицу, он вяло сопротивляется, голос его дрожит, но он старается держаться.

Илич. Мама, со мной все хорошо, я здоров. Вот, заканчивается мое дело, не так как я думал, но ты не беспокойся.

Палач провожает Илича со сцены. Перемена освещения, тюрьма в темноте.

Светящаяся надпись ПАЛАЧ.

Палач.

Я как хороший австриец, который любит своего правителя, могу рассказать вам все, что и как было. Первое, день какой был, снега было по колено, а рядом с казармой виселица, а вокруг виселицы снег растаял и получилась лужа, а в луже стоял взвод солдат со штыками. Их офицер был в белых перчатках, белых, как снег на горах, и, когда он отдал приказ, сказал ударить в барабаны, в барабаны когда ударили, те двое кричали что-то против Австрии, но никто ничего не услышал. Одно должен сказать вам, они много кричали и голоса их были мужскими. Они убили нашего Императора и ненавидели нашу

страну, но я как хороший австриец должен сказать вам, что более храбрых и спокойных у меня не было за всю мою практику. Также должен сказать, что тот низкий, Чубрилович, когда подошел под столб, начал снимать воротничок и галстук, у него плохо получалось, я предложил помочь, он отказался, хотел сам. Тот, что кривой, Илич Данило, тоже был спокоен, только сказал мне, прошу вас, не мучайте меня долго, а я сказал, не беспокойтесь, я свое дело хорошо знаю, и не пройдет секунды. Я никогда не мучаю, это могу сказать твердо, все делаю очень быстро, и в моих руках еще никто не мучился.

Учитель. Три главных соучастника покушения, Принцип, Чабринович и Грабеж, были посланы отбывать наказание за пределы Боснии и Герцеговины, в военной тюрьме в Терезине. Чабринович умер в 1914-м, а Грабеж — в 1916-м от туберкулеза и плохого питания. Принцип не дожил нескольких месяцев до гибели Габсбургской монархии. Умер 28 апреля 1918-го. Одна рука у него была ампутирована, а тело истощено туберкулезом. По всему телу у него были гнойные раны и грибок. Их переправили в Терезин из-за того, что считали опасным держать в тюрьме, где находились их сограждане.

Семнадцатая картина
Дама Смерть и Гаврило Принцип

Гаврило в камере-одиночке. Весь покрыт гнойными ранами. У него галлюцинации.
Грабеж, Илич и Чабринович переодеваются в Муллу, Францисканца и Православного священника. Они смеются и радуются переодеванию, как будто бы собираются подшутить над Гаврило, хотят, чтобы он их не узнал.
Снившаяся девушка превращается в Даму Смерть, которая видится Принципу в красном.

Гаврило. Кто там?
Мулла. Один и единственный.
Гаврило. Кто он такой? Обязательно должен быть один.
Мулла. Он один.
Гаврило: Кто там?
Францисканец. Там тот, который за тебя страдал.
Гаврило. Он?
Францисканец. Он, сын мой.
Гаврило. Он, если Он есть, я — его.

Францисканец смеется.

Гаврило. Кто там?
Францисканец. Не могу сказать.
Гаврило. Рука у меня болит.
Францисканец. Материалист.
Гаврило. Воняет от меня?
Францисканец. Не могу сказать.
Гаврило. Кто там?
Поп. Голубок мой, там царь Лазар.
Гаврило. Неужели он?
Поп. Он самый, голубок мой, а рядом с пресвятым святой Сава и царица Милица.
Гаврило. А Милош, тоже там?
Поп. И Милош там, голубок мой, но ты ведь в Бога не веруешь.
Гаврило. Значит, для меня ничего нет?
Поп. Нет благословения, нет. Голубок мой.

Дама Смерть подходит к Гавриле и кладет голову ему на колени. Он улыбается.

Гаврило. Кто там?
Дама Смерть. Ничто и святое ничто.
Гаврило. Что станет со мной?
Дама Смерть. Ты будешь спать и видеть сны.
Гаврило. А будут сны?
Дама Смерть. Должны быть.
Гаврило. А ты, ты кто такая?
Дама Смерть. Ты, брат, меня знаешь.

Дама Смерть и Гаврило целуют друг друга в губы.
На сцену выходят все, они одеваются в разные костюмы, которые снимают с вешалки, кто-то одет как дама, кто-то — проходимец, кто-то — господин, кто-то — студент.

Зонг "Dance macabre"

Дама Смерть.
Три нитки жемчуга носит дама,
За каждый год, за троих детей,
Муж кровью платит за детей здоровых,
Но напрасно, но напрасно,
В кружевах перчатка белая,
Смерть их уже коснулась, уже коснулась.
Все.
Лысый брат-францисканец, мулла и поп
Смерть вас сожрала, прыгнула, хоп!

Дама Смерть.

Толстый торговец дукаты считает
И дочку белую к свадьбе откармливает,
Смерть их забирает, смерть их забирает.

Все.

Гимназисты за партами пишут стихи,
И девушкам в шею дышат,
Вот пришла смерть,
Берегись, детвора.

Дама Смерть.

Жандармы вина выпили,
Женщину на колени посадили,
А смерть забыли, а смерть забыли.

Все.

Еда и вино, и желтый дукат,
Чего они сто́ят, когда приходит смерть?

Эпилог

На сцене солдат Франтишек.

Светящаяся надпись СОЛДАТ ФРАНТИШЕК.

А потом следующая: НАШИ ТЕНИ БУДУТ ХОДИТЬ ПО ВЕНЕ, БЛУЖДАТЬ ПО ДВОРЦУ, ПУГАЯ ГОСПОД.

Солдат Франтишек.

Нас четверо было, тех, кто нес Принципа, чтобы похоронить. Тело его было сильно гнилым, грудь покрыта гноящимися ранами, одна рука ампутирована, другая перетянута проволокой в тех местах, где мясо не держалось. На стене его камеры было что-то написано, я это переписал. Нам пришлось очень осторожно опускать тело в могилу, которая была только что вырыта в обстановке строгой секретности. По-моему, очень нехорошо, что там, кроме Гаврило, лежал еще и молодой преступник, которого положили первым, не знаю, как его звали и что он сделал. И еще одно, могила была вырыта прямо посреди дорожки, по которой проходят люди. Значит, он и тот молодой человек там лежали, а люди сверху, прямо по ним ходили. Я когда пришел домой, то нарисовал план, карту того места, где эта могила, положил его в конверт, спрятал, а позже послал своему отцу. На стене камеры было написано: “Наши тени будут ходить по Вене, блуждать по дворцу, пугая господ”. Так

мне перевели, и я запомнил. Не знаю, имеет ли это какую-то ценность для литературы или нет, я вообще-то не испугался, просто считаю, про каждого человека должно быть известно, где его могила. Если кто когда спросит, у меня есть моя карта. Если когда-нибудь кто-нибудь спросит, где эта могила, я смогу туда отвести. Удивительно, каким легким было его тело, оно все распадалось. И как только этот человек столько лет просто гнил и гнил? Странно. Ты меня не понимаешь, потому что не знаешь моего языка. Только одно и понимаешь: “Поцелуй меня”. И когда война закончится, я пойду на то место, я — славянин и я встану там со своим флагом. Так и сделаю, обязательно.

Солдат Франтишек начинает петь, все выходят на сцену, чтобы присоединиться к его пению.

Зонг “Драконоубийцы”

Солдат Франтишек.

Под камнем растет змея,
В реке дышит тощая рыба.

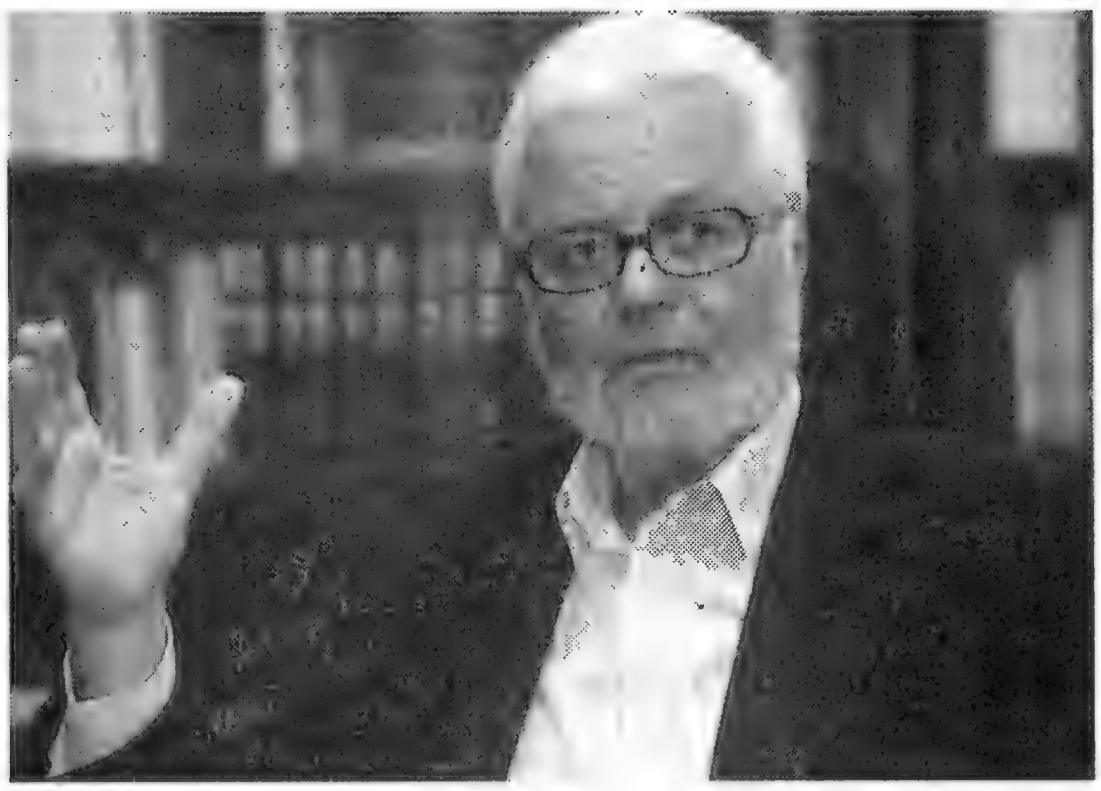
Все.

А трава растет от людского пота,
Цветок вырос от многих слез,
Девушка плакала — парня схоронила,
Парень был драконоубийца,
Дом делают из дерева,
А дерево растет на крови.

Конец

Перевод Жанны Перковской

Любомир Симович



Автопортрет с головой на столе

Растут у меня на пороге,
растут в желобах и на крыше,
растут лебеда и крапива,
окутывая мой дом!
А я сплю себе крепким сном!

Муравьи меня одолевают —
на ладонях сбиваются в ком!
А я сплю себе крепким сном!

В деревню въезжает
конница —
жгут солдаты стога,
кур и гусей хватают,
скотину уводят гуртом!
А я сплю себе крепким сном!

© Љубомир Симовић
© Жанна Перковская. Перевод, 2015

Мне дверь вышибают прикладами,
лупят меня,
вяжут меня,
толкают с крыльца в чулан,
заваленный ржавым старьем!
А я сплю себе крепким сном!

Невидимый кто-то
взывает: за честь, за свободу,
за торжество закона
оружие в руки возьмем!
А я сплю себе крепким сном!

Бросаю ружье в канаву!
Пусть станет снег
победителем!
Голова моя клонится
над столом!

Я сплю себе крепким сном,
свет погасите!
Я сплю себе
крепким сном!

Гость из облака

Продрогшими руками прижимая
к плечам озябшим теплый плед,
обутый в шлепанцы мои, какой-то бог
сидит и греется у нашей печки.

Подбрасывают женщины щепу,
кур потрошат и чай подогревают,
из ракии ему примочки ладят,
умасливают сморщенную кожу,
несут ему из погреба наливку,
снимают с притолоки сыр с червями,
заплесневелый режут оковалок,
моченых груш и хлеба не жалеют,
он семечки арбузные грызет.

Пока он греется, и ест, и пьет,
и между делом внемлет их молитвам,
не понимая слов, —

я сквозь стекло
таращусь в темноту, босой, голодный:

снежок замел полкубометра дров.

Б*аллада о* С*тойковичах*

Не на шутку палач расходился,
где набрался он столько злости?
Бьет, не жалея силы, — и час, и два,
кожа у нас трещит,
брызжет мясо, белеют кости.
Лупит, стервец, от души,
запыхался, стоит на ногах едва,
а мы, всем на диво,
живы.
Ставят нас к стенке, связанных
по ногам и рукам.
Целься, пли! Пуль не жалей!
В дребезги черепа, свинцом нашпиговано тело.
Вот и сумерки. Пора отдохнуть стрелкам.
Снимают с нас путы, нас матерят в сердцах.
Как с работы,
плетемся домой с расстрела.
Жены согреют нам щей
и займутся латанием наших рубах.

Поужинав, приступаю к делам домашним:
кровлю подправить, забор подновить надо,
в лохань дождевой воды для полива собрать.
Перед сном жене говорю:
разбуди меня завтра рано —
нас будут вешать, и нужно явиться в пять.

Ни свет ни заря — восходим на эшафот.
Веревка прочна и виселица — новьё.
Жаловаться, ей-богу, было бы грех.
Вешают нас без заминки, со знанием дела.
Висим до самого ужина — живы!
Палачи опять за своё —
бранят и пинают нас всех.

День следующий. Привозят телегу дров,
ссыпают под дыбой. Голыми вешают нас на крюк,
поджигают лучиной.
Всю неделю в округе светло от костров,

дома засыпаны пеплом по самые крыши.
Догорело. Живые, выходим из дыма,
царицу родимчик хватил,
царь не верит своим глазам:
растак, вашу мать!
Вы живы — как это понимать?
Колесуют нас, четвертуют,
рвут на куски — жуть!
Топят удавленных, режут застреленных.
За что — неизвестно. За что-нибудь.

Судьи зубами скрежещут,
на нерадивых ищут управу:
казнят палачей,
стрелков бросают в темницу,
сами кидаются нас убивать.
А мы-то живы и здравы!
Дело неладно, шепчется добрый люд:
столько стараний — и чтоб без успеха!

Все идет вкривь и вкось.
Страшно и нам перед сном: небось,
мы не бессмертны,
а ну как возьмем
и лопнем
от смеха?

Борислав Радович

Житие вина

Разнеженные праздничным обедом,
со взмокшими от зноя волосами,
мы погружались в дрему, а отец
проведать шел лозу и с ней возился
до сумерек — прореживал листву,
оглаживал натруженной рукой
горошек завязей и размышлял:
каким-то будет новое вино?

Я нынче лью из этих дум вино
в бокал и подношу его к окну —
соломы цвет пронзен лучом весны...
Я знаю точно, это вновь случится:
проклюнутся побеги, и оно,
живое, разыграется опять.
Как если бы не прерывалась связь
меж корешком и кистью плодоносной:
в подклете, в чуть заплесневелых бочках
и этим летом зашумит вино,
а Солнце приглушенный шаг отмерит
в небесных анфиладах. Как звезда,

© Борислав Радовић, 1996, 2000

вино свою орбиту выбирает,
которой, может быть, прошел отец,
в рубахе старой, ставшей вдруг свободной,
закашлявшись, дыхание ловя,
следя опустошенными глазами
за мыслью ускользающей своей.

Испытание времени

В воздухе снегом повеяло, от поля запахло пивом,
прелые листья льнут к скрипучему колесу.
Слышишь? Это солдаты домой возвращаются, к
женам.

Молча снимают со шлемов память,
обнажая седые пряди.
О чем тут расскажут поэты — лишь о нужде и горе,
о кровосмешении и дележе добра,
пустятся в поиск истоков
малых народов.

Солдатам омоют ноги старухи беззубые,
и, сняв амуницию, глянут воины в колыбели,
дивясь белобрысым младенцам:
их кудри, как белые пчелки, разметаны по
изголовью.

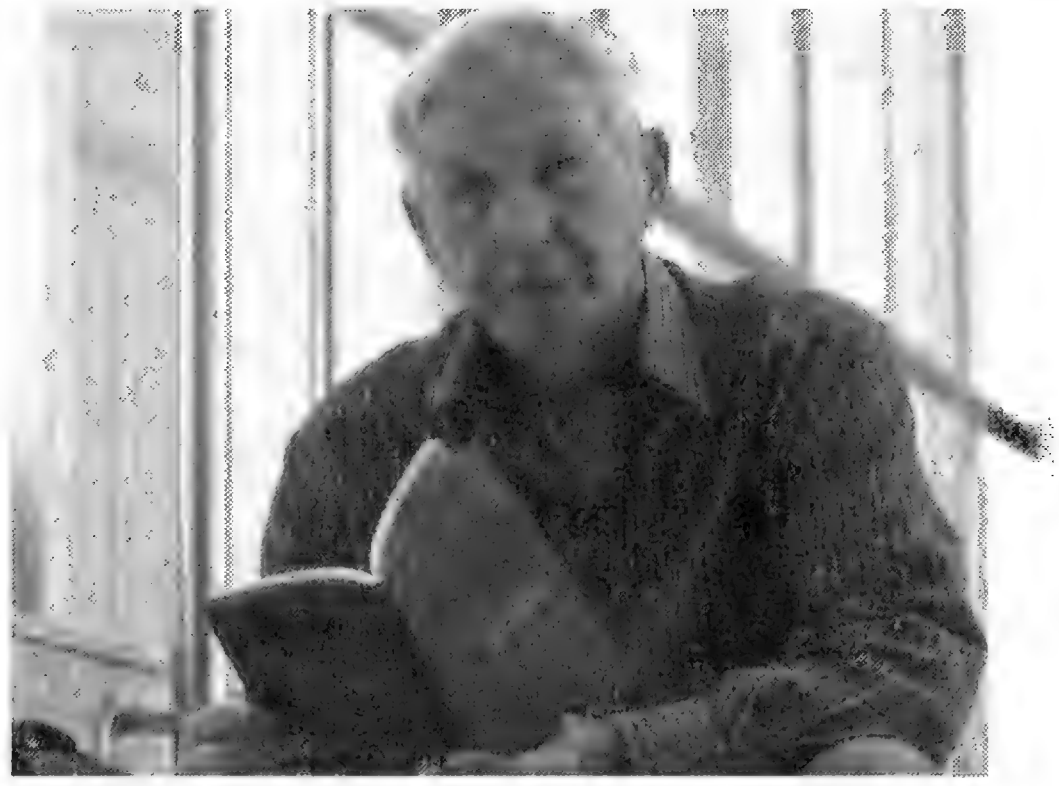
Зима. Хорошее время, чтобы с отцовством
свыкнуться
у очага домашнего, где скажет веское слово
и тот, кто слеп от рождения,
и однорукий с детства —
все, чей удел — испытывать время неспешностью.

Гребцы

Черные контуры на красной воде:
гребут на закат, с тыла обходят солнце,
черным по красному,
море округло, как бок ископаемой вазы.
Стоит на корме Певец, побуждает гребцов:
“Думалось, мы приплыли домой, но — нет,
никто доселе из плаваний наших,

вопреки всем преданиям,
не привозил ни мехов, ни рабынь —
мы, гребцы, обагряли кровью мозолей одежды, пока
другие себе набивали амбары и закрома;
гребите же, братцы, гребите,
слышатся крики с мысов;
грести, мои милые, — вот самый верный способ
добраться от моря до моря, до пресноводья,
до зеленой травы и благоуханных земель".
Вот такусенькие малютки гребут себе за стеклом,
и оно дребезжит от грохота улицы.
Черным по красному: и только черту ведомо,
удалось ли доплыть и куда.

Томислав Маринкович



Поэт на базаре

В шуме-гаме рынка, в пыле-жаре лета,
за рядами стоек, где с крюков железных
гроздьями свисали сетки с овощами,
у прилавков мокрых рыбного отдела,
где в удушье смертном заходилась рыба,
встретил я поэта. Погруженный в мысли,
он бродил, как будто по чужой планете.

Подходя смущенно к овощным развалам,
горы спелых фруктов, полных витаминов,
он окидывал недоуменным взором,
трудно вспоминая, что купить собрался,
смятые купюры доставал неловко,
на прилавок сыпал мелкие монетки.

Подглядев за ним случайно, я подумал
о его поэмах, о словах, лѐтящих
прочь от всех печалей, от земных напастей;
здесь же он, теряясь, видел, словно в дымке,
абрисы предметов, выложенных ровно,

и на всем базаре не сыскалось рифмы,
чтоб спасла от быта, довела до дома.

© Томислав Маринковић

Что в итоге я упустил

Комната, в которой я старею,
по утрам тиха, залита светом.
В ней гнездится яркий луч,
как солнечная птаха.

Многого уж нет —
мелочей, так тонко и так ясно
заполнявших дни мои
и этот дом.

Пролетает миг за мигом;
не успеешь оглянуться —
пол и стены устилает
слой неведомых, загадочных частиц.

Жизнь моя!
Ты — недосказанная правда
или фильм из прошлого столетья,
недосмотренный,
но с предсказуемым сюжетом.

Разница меж небылью и былью,
между тем, чего на свете нет и что незримо, —
у меня внутри, все тоньше эта грань.

Поветрия

Сезон иных поветрий.
Осень.

Ты отправляешься ее искать.
Сначала на мопеде, оставляя позади
клубы густого дыма.

Ты едешь прямо-прямо,
до поворота.

Замечаешь сникший кукурузный лист
и слышишь, как мостится в ежевике
встревоженная куропатка.

Ты говоришь себе: ну вот и осень.
Как бы там ни было, а жизнь была прекрасна...
И снова едешь в гущу суеты,
чтобы, вздымая пыль, остановиться

среди села, где тарахтят грузовики,
нагруженные свежим хлебом, и вдохнуть
его горячий запах полной грудью,
учуять аромат духов на коже
газетчицы-худышки,
которая, не ведая того, нам продает минуты счастья.

Быть, как ребенок,
радующийся безотчетно,
не разбирая запахов.

А осень — ведь она тебя поймет, она простит
за прошлое и будет верить в то, что будет.
Бредешь куда-то вдаль, и все вокруг
последнее тепло в себя вбирает,

внося порядок и в твою судьбу.

Гойко Божович

Пора

Быть может, уже пора нам свернуть знамена,
чтобы солдаты отерли свои мечи,
отправляя их в ножны на отдых –
вот так же мы в мирное время объятием
утешали своих возлюбленных.
А те, кто отправится в путь, пусть изучат маршруты
свершившихся и грядущих морских путешествий.
Каждый поход – в свое время года:
зимой ты стремишься в пещеру, где ютится зверье и
скот,
весной – к сладкоголосым нимфам,
летом – в открытое море,
осенью мечешься по разбросанным островам.
Кто станет новой жертвой – еще увидим.
Быть может, уже пора
услышать на этом вече все голоса –
пусть выскажутся и те, что доселе молчали,
пусть смолкнут усталые пушки.
Счет погибшим обычно ведется до следующих боев,
и пахарь мешает терпкую землю
с рассыпанными костями.
Женщины собрались покинуть историю.
Безупречные обоснования оставляют поля
сражений.

В многолюдных домах не увидеть мужчин,
а дети хотят дознаться, что же
их сделает главными в доме.

© Гојко Божовић

Последнее фото с отцом

Не сохранилось
последнее фото с отцом.
Мы сидели в отцовой машине,
я молчал,
а он говорил, задыхаясь,
ему не хватало воздуха.
На пленке осталась белая полоса,
но она мне дороже
всех уцелевших снимков.
Помню, что я смотрел
вперед, распахнув глаза,
будто видел вдали
то, что случится.
То, что уже случилось
и вклинилось между нами
там, в светло-желтой отцовой машине.

Свидетельство

Один свидетель, которому можно верить,
Тадеуш Ружевич,
в возрасте, когда помнится
только самое важное,
рассказал об отчаянии, которое он испытал,
когда его мать однажды,
всего лишь однажды, ему,
пятилетнему открывателю мира,
сказала, что вот возьмет и уйдет от него навсегда.
Я не знаю, можно ли по сей день
верить свидетелям.
Скажем, мой случай:
моя мать никогда,
ни единого раза
не сказала, что вот возьмет и уйдет от меня навсегда.
Но – взяла и ушла.
Навсегда.
Свидетель тому – не я.
Свидетель – ее уходящий взгляд.

Мирослав Максимович

Попона

Попона поверх головы,
голова во тьме,
тьма пахнет лошадью,
вдыхаю шерстинки.

В новый век —
из-под этой попоны.

А как они, эти кони,
скакали полем,
сшибая грудью шатры!
Гривы их овевали горящие села.
В бурдюках колыхалось вино.
Были и седоки.

Укрытый попоной, себе,
спящему, дам это имя:
конюшенный хлопец.
Не то чтобы прошлое нас навестило
по прошествии многих лет:
это — каждому свой шесток.
Вот оно, мое место под этой попоной.

Под попоной
трудно дышать,
трудно двинуть рукой,
непросто дается и то,
что иные зовут “мгновением ока”:
миг — и минуло столетие.

© Мирослав Максимовић

Я давно под этой попоной
и, скорее всего, засну.
Привычка — залог здорового образа жизни.
Если зажмурить глаза, увидишь седла излучину,
приглушенные краски сумерек,
и это праздник.
Я давно уже под попоной.

Попона, попона,
я все вдыхаю шерстинки,
и столько тьмы пронеслось в сознании,
что я уже пахну лошадью.
Я так долго молчал, что мне сподручнее ржать.

Конь, что под этой попоной,
пересек с седоком Карпаты
и, вслед за Чарноевичем[1],
перенес через Дрину
корзину с ребенком —
под попоной неба дрожат шерстинками звезды.

Светлый круг.
Шерстинка под микроскопом.
Пристальный взор здесь увидит
домашний очаг:
резвятся микробики малые,
мама-микробиха варит похлебку.

Что остается: творчество
в конюшне, под этой попоной,
где попытка двинуть ногой
так похожа на шаг
во двор,
в иные миры.

1. Арсений III Чарноевич — патриарх сербский с 1674-го по 1690 г., выступавший за освобождение сербов из-под турецкого ига. Совместно с сербским политическим деятелем Юрием II Йовановичем Бранковичем вел переговоры с австрийским двором о совместной вооруженной борьбе против турок. В 1688 г. в результате этого военного сотрудничества у турок был отбит Белград, однако впоследствии австрийские войска были выведены из завоеванных сербских областей, и австрийский император Леопольд I, признавая тяжесть турецкого ига для сербского народа, издал прокламацию, в которой приглашал сербов селиться под его покровительством в Славонии — на незаселенных территориях Южной Венгрии, к северу от Дуная и Савы, незадолго до того отнятых у Турции, при этом австрийское правительство обещало сербам ряд политических и экономических свобод, а сербы взамен должны были служить Австрии в случае войны с Турцией. В 1690 г. началось переселение во главе с сербским патриархом Арсением: до 40 тысяч семей оставили обжитые места, однако, как показало развитие истории, оговоренных прав они фактически не получили. (*Прим. перев.*)

Давид Албахари

Тайное общество

Перевод Василия Соколова

1

— ТАЙНОЕ общество по изучению прозы Виктора Дугайлича, — произнес человек, — основано более ста лет тому назад. Следовательно, за пятьдесят лет до вашего рождения Общество активно исследовало и анализировало то, что позже вошло в рассказы и романы, которые вы написали в течение последних двадцати лет. Знаю, это звучит несколько странно, но, если потребуется, я могу подтвердить свои слова документально — мы храним протоколы регулярных ежемесячных заседаний Общества, анализы, сделанные по специальному поручению, а также обширную переписку его членов, в которой отражены интересные, а иногда и острые дискуссии по разным аспектам вашего творчества, порою очень необычным. Например, о соотношении цвета волос и духовных склонностей героев ваших исторических романов или, скажем, по проблемам влияния психологически активных субстанций на малые формы вашей прозы.

Человек умолк и посмотрел на Виктора Дугайлича.

— Вы курите гашиш, не так ли?

© Давид Албахари, 1997
© Василий Соколов. Перевод, 2015

— Да, — ответил Виктор, — но...

— Понимаю, — сказал человек, — вы не знаете, как ко всему этому относиться. Я вас очень понимаю. Вы наверняка думаете: если бы меня остановил незнакомый человек и принялся рассказывать о каком-то Обществе, основанном за пятьдесят лет до моего рождения с целью исследования различных аспектов моей же прозы, то я послал бы его к черту. Иначе говоря, я понимаю ваше недоумение, знаю, почему вы колеблетесь, и потому не хочу торопить вас. Так или иначе, но сейчас подошло время начать наш литературный вечер. Однако я буду весьма признателен, если вы уделите нам после его окончания минут пятнадцать вашего времени.

— Конечно, — ответил Виктор, пожал человеку руку и вернулся в кабинет организатора программы, невысокой блондинки с водянистыми глазами.

— Что-то вы побледнели, — удивилась блондинка. — С вами все в порядке?

Виктор вспомнил про утомительную поездку, раннее пробуждение и тошноту, вызванную нелегким перелетом из Белграда в Ганновер.

— Командир экипажа под конец даже перестал предупреждать о зонах турбулентности, — отговаривался он, — потому что они следовали одна за другой, как литеры в наборной кассе.

Блондинка предложила ему чаю. Он согреет желудок, сказала она, и избавит от тошноты, а на ужин они пойдут после выступления. А пока что, добавила она, к вам наверняка вернется аппетит. Произнеся это, она улыбнулась и отправилась за чаем.

Оставшись в кабинете, Виктор, покачивая головой, мысленно повторил все, что сказал ему человек. Как такое вообще возможно? Правда, человек сказал, что у него есть доказательства, но Виктор не был готов поверить ему. Откуда кто-то мог знать, когда Виктор родится, чем он станет заниматься, и, кроме всего прочего, будет ли он наслаждаться психологически активными свойствами неких субстанций? Да такого просто-напросто быть не может, подумал Виктор и застонал от приступа тошноты.

Блондинка, которая как раз появилась в дверях, держа чашку чаю, заохала:

— Если бы я не знала, что вы здесь, то подумала бы, что скулят брошенные щенки!

— Скулю, потому что мне ничего другого не остается, — откликнулся Виктор, но объяснять, что означала эта его фраза, отказался.

Блондинке его ответ не очень понравился, и она, надувшись, протянула Виктору на подпись договор и расписку.

Виктор прекрасно понимал ситуацию: он, собственно, находился сейчас у нее в гостях, и хозяйка хотела, чтобы все шло по ее плану. Он попытался как-то сгладить впечатление от своего ответа и стал делать ей комплименты, расхваливая ее наряд — в частности, красные чулки с черным узором, но блондинка раскусила его игру и отвечала коротко и равнодушно.

Между тем в ходе литературного вечера ее профессионализм возобладал над обидой, он не позволил, чтобы малейшая тень предыдущего недоразумения омрачила событие. Виктор был ей благодарен, потому что и без того не очень жаловал публичные выступления, особенно такие, на которых, как этим вечером в Ганновере, приходилось говорить не на родном, а на одном из чужих языков. Кое-как он совладал с робостью, несмотря на то, что человек, рассказавший ему о тайном обществе по изучению его прозы, сидел в первом ряду, уставившись на него косившим глазом. Виктор пересчитал посетителей: их было восемнадцать. Может, все они члены тайного общества? Может, они уже знают, о чем он им расскажет? Но если это так, то зачем же они пришли?

Вялые аплодисменты отметили окончание вступительного слова, настала очередь Виктора. Как ни странно, читал он хорошо, без единой запинки, и сразу почувствовал, как настроение улучшается. После него тексты продолжил читать актер. Он читал, естественно, немецкий перевод, и Виктор, который свою часть выступления исполнил по-сербски, никак не мог поверить, что оба текста принадлежат его перу. Попросту говоря, немецкий перевод звучал как нечто совсем иное, несмотря на то что ритм и даже звучание некоторых фраз полностью соответствовали оригиналу. Вскоре Виктор перестал думать об этом и принялся неспешно и пристально рассматривать лица слушателей, пытаясь разглядеть тех, для кого его имя и творчество значат что-то большее, чем для других.

Собственно говоря, он очень надеялся на это “что-то большее”, потому что, в противном случае, существование тайного общества не имело бы смысла. Он торопливо подписал несколько книг, обменялся несколькими визитными карточками и направился к человеку, который сообщил ему о существовании Общества.

— Вы прекрасно читали, — сказал человек, — не сделали ни одной ошибки. Я даже в какой-то момент подумал, что так, на одном дыхании, вы не сумеете дочитать текст до конца, но, к счастью, мое предположение оказалось ошибочным.

— А члены тайного общества? — спросил Виктор. — Много ли их пришло?

— Немного, — ответил человек и указал на группу, стоящую у выхода.

Виктор насчитал шесть человек — четверо мужчин и две женщины, а снова пересчитав их, обнаружил, что каждый держит в руках по одной его книге.

— Вы хотите сказать, что в обществе гораздо больше членов?

— По правде говоря, — ответил человек, — я не знаю. Точнее, этого не знает никто. Иногда нас собирается много, иной раз — всего ничего.

Только Виктор собрался спросить, где они собираются, как кто-то коснулся его плеча. Обернувшись, он увидел блондинку. Похоже, ее позитивный настрой восстановился, и ее улыбка вновь светилась любезностью. Блондинка напомнила Виктору, что пора идти на ужин, актер и критик были уже готовы, и теперь ждали только его. Виктор нерешительно глянул на человека из тайного общества, но не успел и рта раскрыть, как тот заверил его, что все в порядке, они подождут. Человек повернулся и вышел из зала, члены общества, выстроившись в колонну по одному, направились вслед за ним. Блондинка взяла Виктора под руку и повела в противоположную сторону, к дверям, ведущим в ее кабинет, и, только когда они оказались в темном коридоре, он вспомнил, что даже не поинтересовался, где состоится встреча с членами общества.

2

Однако во время ужина он решил, что не стоит беспокоиться по этому поводу. Тайному обществу наверняка было известно многое из того, о чем он даже не подозревал, так что они точно знали, где Виктор окажется после ужина. Как известно им и то, подумал он, что я закажу мусаку из баклажанов. Потому Виктор постарался сосредоточиться на том, что хотел сказать критик в своем длинном, почти бесконечном монологе.

— В конце концов, — подвел черту критик, — мы можем прийти к вполне определенному выводу: книга полностью меняет представление об этой части мира. Прочитав ее, мы перестали быть такими, какими были до ее прочтения.

— Такую книгу, безусловно, следовало бы прочитать, — сказал Виктор и спросил, о какой именно книге идет речь.

— О вашей, — ответил критик и нахмурился.

Актер было рассмеялся, но быстро прикрыл рот ладонью и закашлялся.

— Извините, — произнес Виктор, — похоже, я потерял нить беседы и что-то неправильно понял.

Блондинка поспешила на помощь.

— Ничего страшного, — пролепетала она, — этого вполне можно было ожидать в ситуации, когда мы разговариваем не на своем языке, а пользуемся исключительно английским.

Все дружно принялись кивать головами и потом заговорили о лингвистической монополии английского языка. Оказалось, актер и критик придерживаются совершенно противоположных взглядов, так что блондинке и Виктору оставалось только умолкнуть. Заказали пирожные и кофе, но дискуссия не утихала, и блондинка вновь включилась в разговор. Виктор несколько раз посмотрел на часы, надеясь, что этот жест послужит сигналом к прощанию. Он не понимал, о чем они спорят, а те, заметив, что Виктор не следит за дискуссией, перешли на немецкий. Это заметно раскрепостило их, но теперь Виктору показалось, что он присутствует не на дискуссии, а становится свидетелем обычной ссоры. Однако через несколько минут они перестали спорить и принялись улыбаться друг другу, так что Виктор вообще перестал что-либо понимать.

Он даже не был уверен, что помнит название гостиницы, в которой остановился, хотя и знал, что расположена она напротив железнодорожного вокзала, и блондинка предложила проводить его, но Виктор упорно отказывался, утверждая, что справится сам. Тогда блондинка попросила актера показать Виктору дорогу к гостинице; актер охотно согласился, и они вдвоем направились к вокзалу, в то время как блондинка с критиком ушли в противоположном направлении. Перед расставанием блондинка расцеловала Виктора в обе щеки и поблагодарила за великолепный литературный вечер, а критик крепко пожал ему руку и пожелал новых замечательных книг. Рукопожатие оказалось неслабым, и в течение какого-то времени Виктору пришлось терпеть легкие пульсирующие боли в кисти руки, но позже, когда он зашагал рядом с актером, это ощущение исчезло.

И тут актер спросил:

— Вы ведь сейчас встречаетесь с членами тайного общества по изучению прозы Виктора Дугайлича, не так ли?

Виктор, в свою очередь, ответил на вопрос вопросом:

— Вы тоже состоите в нем?

— Да, — отозвался актер, — уже шестнадцать лет.

— Но моя первая книга вышла, — воскликнул Виктор, — только восемь лет тому назад!

— Я знаю, — отозвался актер, — это было первое, что я услышал, придя на собрание общества. Нам раздали тексты с заголовком: “Нынешние и будущие произведения”, и еще там сообщалось, что приближается день, когда первая ваша кни-

га выйдет в свет. Правда, они ошиблись в предвидении, написав, что книга появится через семь лет — ее напечатали только через восемь.

— Я подготовил ее к изданию годом раньше, — сказал Виктор, — но у издательства возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, и рукописи пришлось ждать своей очереди месяцев десять.

Некоторое время они шли молча, но потом, выйдя на площадь перед железнодорожным вокзалом, Виктор спросил:

— Но как они все это узнали?

— Кто?

— Члены тайного общества.

Актер глянул на него и улыбнулся:

— Об этом вы их спросите сами. Кстати, вас уже ждут.

И в самом деле, перед входом в "Гранд-отель Муссман" уже стояли люди, те самые, отметил про себя Виктор, которые присутствовали на литературном вечере. Мужчины все так же держали в руках по одной из его переведенных книг, а у женщин их было даже по три.

3

К этому времени Виктор Дугайлич издал пять книг (шестую перед отъездом передал редактору издательства "Лагуна"), но первые две мало кто знал. Похоже, они не были известны и тайному обществу по изучению его прозы, которое, тем не менее, знало о каких-то абсолютно незначительных деталях его жизни. Это смешение важных и мелких обстоятельств начало все больше раздражать его, особенно когда они вошли в ресторан неподалеку от гостиницы. Актера с ними не было; он удалился, предварительно поздоровавшись с членами общества, что заставило Виктора задуматься над тем, какими критериями руководствовалось общество, отбирая своих членов, рассаживающихся в этот момент за столами. Точнее, это были два стола, которые быстро сдвинули и уставили их графинами с водой, чашками с кофе, чаем и тарелочками с пирожными. Тайное общество, похоже, знало, что Виктор — сластена, потому что перед ним оказалась солидная порция шоколадного торта, его любимого лакомства.

— Отлично, — произнес Виктор, — давайте начнем.

Он ухватил ложечкой кусочек торта и отправил его в рот. Члены тайного общества наблюдали за ним. И вдруг все одновременно принялись поедать свои пирожные, пространство вокруг них наполнилось звяканьем бокалов и столовых приборов. При этом никто не проронил ни слова, будто они

ожидали сигнала, так что Виктор в конце концов отложил ложечку и сказал:

— Да, я в своей прозе восхищаюсь тишиной, но это не значит, что мы должны сидеть молча. Смею предположить, у вас есть ко мне кое-какие вопросы?

Члены тайного общества продолжали хранить молчание.

— Если вам не о чем спросить меня, — продолжил Виктор, — то я сам начну расспрашивать вас.

Он рассмеялся, словно произнес что-то веселое, но никто не отреагировал, и его смех оборвался.

Над столами, за которыми расселись члены общества, вновь воцарилась тишина. Все они, как заметил Виктор, уставились на него, а он, попросту говоря, совсем не знал, что следует делать. Наконец, отозвалась девушка, сидевшая рядом с человеком, который днем разговаривал с Виктором. Она открыла книгу, лежавшую перед ней на столе, и прочитала:

— Говорящий никогда не поймет того, кто молчит.

Виктор вежливо улыбнулся, несмотря на то что почувствовал, как им овладевает раздражение.

— Хорошо, — произнес он, — эти слова действительно есть в моем романе, но я никогда не рассчитывал, что они будут восприняты настолько буквально. Молчание — хорошая штука, никто в этом не сомневается, но я не имел в виду, что вообще никогда не следует говорить.

Виктор посмотрел на девушку, прочитавшую эту фразу, та потупилась и вымолвила:

— Это не из романа.

— Почему вы считаете, — спросил ее Виктор, — что это не из романа?

Девушка еще ниже склонила голову. Казалось, она во что бы то ни стало должна была вжаться в свой стул.

— Это фраза из одного вашего рассказа, — прошептала она, — а не из романа.

— Это не так! — воспротивился Виктор. — Я уверен, что это из романа "Голос тишины".

Он привстал и потянулся за книгой, лежащей на столе. Однако девушка не позволила ему сделать это, и Виктору буквально пришлось вырвать томик из ее рук. Разглядев его, он не смог скрыть удивления. Это была вовсе не его книга. Точнее говоря, у него не было такой книги, хотя на обложке стояло его имя. Судя по оглавлению, это действительно был сборник коротких рассказов, причем ни одно из названий не было ему знакомо.

— Что это такое? — спросил он неуверенно. — Откуда у вас эта книга? Если это розыгрыш, то сейчас самое подходящее время, чтобы его прекратить.

— Это не розыгрыш, — произнес человек, тот самый, который первым заговорил с Виктором. — Впрочем, я уже объяснял вам, что нам известны многие вещи, о которых вы даже и не подозреваете. Если вы откроете книгу и посмотрите на титульный лист, то увидите, что ее издадут в 2010 году.

Человек помолчал, но некоторое время спустя, когда все прочие члены тайного общества уставились на него, добавил:

— Посмертно.

Виктор закрыл глаза. А когда открыл их, то увидел, что все смотрят на него. Это всего лишь сон, подумал он и ущипнул себя за бок. Боль он ощутил, однако ничего вокруг не изменилось. Дрожь, охватившая икры, постепенно распространилась по всему телу. Он попытался вытащить из кармана пиджака носовой платок, но отказался от этой затеи, потому что пальцы ему не повиновались. Виктор не мог поверить, что все это происходит с ним, но все же осознал, что просто обязан спросить:

— Как это случится?

Когда он произносил эти слова, на их лицах не отразилось никаких чувств: их нисколько не удивляло, что сидящий перед ними писатель — их писатель! — скончается через годик-другой. Только один юноша полистал тетрадку, в которую он что-то старательно записывал, и сказал:

— В транспортном происшествии.

— Никогда не любил летать, — произнес Виктор. — Это ведь авиационная катастрофа, не так ли?

Юноша опять заглянул в тетрадку:

— Тут написано: “Погиб в транспортном происшествии”. Других сведений нет.

И тут Виктор взорвался:

— Что ты хочешь сказать этим — “других сведений нет”? И почему что-то известно, а что-то — нет? Я жду ответа, причем немедленно!

Он ударил ладонью по столу, и вода во всех бокалах заколыхалась. И хотя он не слишком повысил голос, посетители ресторана за другими столиками стали поворачиваться в их сторону.

— Кричать не к чему, — заявил человек, первым заговоривший с ним. — Вы должны понять, что мы встретились здесь с вами как с писателем, а не как с человеком.

— Но ведь одно от другого неотделимо, — воскликнул Виктор. — Писатель не может стать писателем прежде, чем станет человеком!

— Вы уверены в этом? — возразил человек. — И если да, то как вы объясните следующую цитату: “Как человек писатель может участвовать в государственном перевороте, но как пи-

сатель он участвует в этом, только оставшись наедине с самим собой в тиши своего кабинета". Вам знакомы эти слова?

— Конечно, — ответил Виктор. — Это из моего эссе о поэтике короткого рассказа.

— А не противоречат ли эти два утверждения одно другому? — продолжил человек.

— Противоречат, — согласился Виктор.

Человек посмотрел ему прямо в глаза:

— В таком случае, которое из этих утверждений верно?

— Что это, — опять взорвался Виктор, — вы меня судите? Я совершил преступление? И вся эта история с тайным обществом, основанным за пятьдесят лет до моего рождения, — что это за детские игры, кто все это выдумал?

— Никто ничего не придумывал, — сказал человек. — Впрочем, это вы занимаетесь выдумыванием, творите-то вы. А мы — просто читатели.

— Все это так, — согласился Виктор, — но о каких протоколах и документах вы говорили при нашей встрече?

Это была для него спасительная соломинка, потому что рассказ о тайном обществе, которое знало о нем за пятьдесят лет до рождения, был, по меньшей мере, смешон. Но хотелось бы знать, кто сообщил им, что он покуривает гашиш?

Человек раскрыл лежавшую перед ним папку.

— Здесь у меня только копии. Оригиналы хранятся в собрании рукописей Университетской библиотеки, пользоваться ими можно только по особому разрешению. Хотя нет никакой разницы, ознакомитесь вы с оригиналами или с копиями, потому как все документы написаны на немецком языке.

— Вы только дайте мне их, — в нетерпении воскликнул Виктор, — и я уж как-нибудь разберусь.

Человек пожал плечами, закрыл папку и подтолкнул ее по столешнице к Виктору.

— Могу только добавить, что основные документы частично повреждены влагой, проникшей в капсулу, и практически нечитаемы. Значительную часть текста мы восстановили, но приблизительно треть их безвозвратно утрачена.

— Что за капсула? — спросил Виктор, принимая в свои руки папку. — О чем это вы?

Человек вздохнул и взмахнул ладонью.

— Мы могли бы избежать всего этого, если бы вы были более терпеливым и согласились нас выслушать. Все прошло бы, как положено, по порядку, а не так сумбурно.

— Вы совсем не такой, как в своих рассказах, — неожиданно вновь подала голос девушка, сидевшая рядом с человеком. — Они такие неспешные, спокойные, ничего скоропалительного в них

не происходит. Вы же производите впечатление человека, который не может и минуты спокойно усидеть на своем месте.

— А вы могли бы спокойно усидеть на месте, если бы нечто подобное случилось с вами? — возразил Виктор. — Я чувствую себя героем чужого рассказа.

— Вы полагаете, мы себя чувствуем иначе? — отозвалась женщина средних лет в клетчатом жакете.

— В таком случае, — заявил Виктор, — мы должны расспросить друг друга, кто в чьем рассказе находится, потому что это — наверняка не мой рассказ!

Он принялся вынимать бумаги из папки; это были копии, снятые с каких-то перепачканных и измятых документов.

— Если уж они чуть не погибли в упомянутой капсуле, — продолжил Виктор, — то, может быть, хоть кто-нибудь из вас объяснит мне, в чем все дело?

Он просмотрел еще пару листов и только тогда осознал, что над их составленными столами вновь воцарилась тишина. Виктор поднял голову и увидел, что все опять уставились на него.

— Что же случилось? — спросил он. — Разве никто ничего не знает про капсулу?

— Дело не в капсуле, — отозвалась женщина в клетчатом жакете. — Дело в легкости, с которой вы отдали свой рассказ кому-то другому.

— Какой рассказ? О чем это вы? — Виктора опять охватил гнев. — Это ведь не рассказ, все это происходит на самом деле!

— Хорошо, не рассказ, — продолжила женщина. — Но как вы тогда объясните вот эту цитату: “Вся жизнь — рассказ. Даже если мы думаем, что самостоятельно принимаем решения, то все равно остаемся героями чьего-то рассказа, невольными героями, исполняющими чужие замыслы и воплощающими чужие желания”.

— Только не говорите, что это написал я! — резко возразил Виктор.

Однако женщина утвердительно кивнула.

— Опубликовано в посмертном сборнике.

Виктор сник. Он вдруг представил себя мертвым, укутанным в саван и вздрогнул от холода, который охватил все его тело. Он мог заплакать, он умел это делать, но быстро понял, что его слезы никого не тронут. Читатели немилосердны, подумал он, и ему стало немного легче. Он даже проглотил кусочек торта и запил водой.

— Вы говорили, что нам хватит минут пятнадцати, не так ли? Боюсь, прошло намного больше времени, так что я, если никто не хочет ничего добавить, вернулся бы в гостиницу. Завтра мне рано вставать.

Никто не произнес ни слова.

Виктор допил воду из своего бокала и поднялся.

— Вы ничего не рассказали мне о капсуле.

— Все эти бумаги, — ответил человек, — находились в капсуле, обнаруженной во время закладки фундамента новой городской ратуши в 1901-м, или, возможно, в 1902 году. Как я уже говорил, она была не очень плотно закрыта, поэтому земля и влага проникли внутрь и повредили некоторые документы, копии которых находятся в переданной вам папке. И папку, и копии вы, конечно же, можете оставить себе.

— Спасибо, — поблагодарил Виктор. — А вы остаетесь?

— Остаемся, — ответил человек, а поскольку Виктор все еще стоял у стола, спросил: — Вы найдете гостиницу?

— Как тут не найти? — сказал Виктор, взмахнул в знак приветствия рукой и вышел.

4

Ресторан располагался неподалеку от гостиницы, напротив железнодорожного вокзала. Номер Виктора окнами выходил во двор, в нем было тихо. Он быстро разделся, влез в пижаму, лег на кровать и принялся рассматривать бумаги из папки. Они в самом деле все были на немецком языке, слишком сложном для него, — его элементарных познаний, полученных на многочисленных, но так и незавершенных курсах, явно не хватало. Он понимал отдельные слова, а то и целые предложения, иной раз даже короткий пассаж, но суть все равно уловить не мог, особенно когда пытался вникнуть в самые старые тексты, оказавшиеся наиболее поврежденными. Первый лист, на котором полностью сохранилось только название, должен был представлять, судя по заголовку, “отчет о личности Виктора Дугайлича, писателя и учителя”. Текст занимал две страницы, но его невозможно было прочесть, так как чудом сохранилось всего несколько слов. Прочие страницы были в более пристойном состоянии, за исключением одной, по которой, очевидно, прошлась рука цензора, потому что некоторые строчки были наглухо замазаны черным, а оставшиеся были настолько не связаны между собой, что Виктору ничего не удалось понять. Где-то в середине текста ему показалось, что мелькнуло слово “концлагерь”, но оно тоже ни о чем ему не говорило, поскольку он никогда не бывал в концлагерях, да к тому же и родился после Второй мировой войны.

Несколько скрепленных страниц являли собой устав, или правила тайного общества. Тут скудные познания Виктора в

немецком языке отступили под натиском юридических формулировок, оказавшихся для него неприступной крепостью. С протоколами заседаний правления тайного общества он справился легче, но его разочаровало, что они в основном были посвящены организационным вопросам. Виктор обратил внимание на имена членов правления, хотя они ему ни о чем не говорили. Знакомым ему показался только Курт Швиттерс, бывший членом правления с 1925-го по 1932 год. Но почему известный дадаист, подумал он, заинтересовался каким-то безумным тайным обществом, посвященным еще не родившемуся человеку? И почему вообще общество тайное, а не открытое? Может, вся эта игра просто была проектом дадаистов, может, он был их ребенком, существующим в каком-то из их произведений, может, они сотворили его с помощью своих слов, как некую версию Голема в духе дадаизма?

— Ерунда! — воскликнул Виктор во весь голос, и слово пронеслось по комнате словно пуля. Он захлопнул папку, встал и направился в ванную комнату помочиться. Ничего из этого не может быть правдой. Кто-то придумал эту историю, подготовил фальшивые документы и попытался разыграть его. Но кто? И зачем кому-то понадобилось так серьезно вкладываться в обычный розыгрыш, чтобы посмеяться над ним, далеко не самым известным балканским автором?

Он нажал кнопку сливного бачка и вернулся в комнату. Лечь в постель Виктор даже не попытался, потому что знал — уснуть не удастся. Оделся, причесался и вскоре оказался перед входом в гостиницу. Площадь была пуста, и только на противоположном ее конце виднелся лениво машущий метлой уборщик в оранжевом жилете. Если он продолжит в таком же темпе, подумал Виктор, то вряд ли до утра выметет всю площадь. Он зашагал к железнодорожному вокзалу, который хотя и был ярко освещен, но выглядел заброшенным. На полпути Виктор передумал и направился к уборщику, если это, подумал он, вообще был уборщик. Разве одно только тайное общество могло стать ловушкой? Почему бы и уборщику не быть частью этого плана? Почему, в конце концов, всему Ганноверу не быть иллюзией, городом, существующим только в воображении того, кто все это придумал?

Между тем уборщик заметил, что Виктор приближается к нему, и прекратил размахивать метлой. Виктор подумал, что тот сейчас убежит, и прибавил шаг, но уборщик не шевельнулся. Он стоял неподвижно, пока Виктор не приблизился к нему вплотную и только тогда заметил, что уборщик вовсе не мужчина, а женщина.

— Меня ждете, не так ли? — спросил Виктор.

— Да, — ответила женщина.

— Я всегда думал, что смерть приходит с косой, — продолжил Виктор. — Метла мне даже в голову не могла прийти, хотя теперь понимаю, что так — гораздо практичнее.

— Ну, какая там смерть! — рассмеялась женщина. — Я работаю в городской библиотеке. Метла у меня для маскировки, я здесь просто присматриваю. Мы знали, что вы не заснете и, скорее всего, выйдете прогуляться, и поэтому мы...

— Кто "мы"? — оборвал ее Виктор. — Кто мог знать об этом?

— Члены тайного общества, — ответила женщина. — А кто ж еще?

— А откуда они, то есть вы, узнаете, что произойдет в будущем?

— Вы слишком много спрашиваете, — сказала женщина. — Я вступила в общество только в прошлом году.

— Почему?

— Потому что моя лучшая подруга сделала это еще три года тому назад.

— А почему она это сделала?

— Это вы у нее спросите, — ответила женщина.

Виктор отмахнулся. Весь этот разговор был ни к чему. Женщину с метлой подбирали тщательно. Кто-то позаботился о том, чтобы в случае, если Виктор проявит любопытство и настойчивость, его собеседнице нечего было сказать.

— И что бы вы сделали, если бы я не подошел к вам, а свернул в какую-нибудь улицу? — спросил он.

— Понаблюдала бы за вами, — ответила женщина.

— А если бы я скрылся?

Женщина не сразу собралась с ответом:

— Что вы имеете в виду? Что значит скрылись?

— А вот так, исчез бы, и все. Свернул бы в какую-нибудь улицу, вы — за мной, ищете меня, а меня-то и нет. Растворился, исчез, будто меня и не было.

— В таком случае, — ответила женщина, — я должна буду составить рапорт и представить его исполнительному комитету тайного общества, хотя, насколько я помню, нигде ничего не говорилось о том, что вы исчезли в Ганновере.

— Значит, — поинтересовался Виктор, — если об этом нет никакой записи, то это и не может произойти?

Женщина посмотрела на него с нескрываемым удивлением.

— Если бы ничего такого не было, тогда сам процесс чтения стал бы абсурдным. Не говоря уж о сочинительстве.

— Вы правы, — согласился Виктор, — вы абсолютно правы.

Помолчав некоторое время, он опять спросил:

— И что вы сейчас станете делать?

— Если вернетесь в гостиницу, то еще немного помашу метлой, а потом отправлюсь домой.

— Вы живете одна?

— Да.

Виктор протянул руку и отнял у нее метлу.

— Тогда я провожу вас домой. Годится?

— А ранний подъем? Что мы с этим будем делать?

— Скажем, — произнес Виктор, — что я отказался от этого рассказа и решил написать новый.

— Я всегда хотела стать героиней какого-нибудь рассказа, — сказала женщина, ухватила Виктора под руку, и они двинулись широкими шагами. — Только хочется, чтобы конец не был печальным.

— Чего я терпеть не могу, — откликнулся Виктор, — так это рассказов с печальным концом.

5

Виктор проснулся часов в пять утра: по крайней мере, такое время показывали часы на ночном столике. Лампа рядом с часами продолжала гореть, и груди женщины отбрасывали длинные тени на ее лицо. Виктор осторожно выпрямился, встал и принялся искать одежду. Женщина даже не шевельнулась; она дышала глубоко и равномерно, над верхней губой выступили мелкие капельки пота. Выйдя из комнаты, Виктор направился в кухню. Он намеревался выпить кофе или, по крайней мере, апельсинового сока, после чего отправиться в гостиницу, собрать вещи и поспешить в аэропорт. На дверце холодильника висели какие-то записки, календарь и открытка с видом Риги. Внутри Виктор обнаружил только яблочный сок; кофе найти так и не удалось. Он налил сок в стакан и сел за стол. Пил его не спеша, делая глоток каждые двадцать секунд, и как раз в тот момент, когда он сделал последний, в дверях кухни появилась женщина. Голая, только в черно-белых тапочках, одной рукой она протирала глаза, второй чесала живот. Она ничего не сказала, да и Виктор молчал. Женщина села за стол, протянула руку и взяла стакан Виктора. Подождала, пока он наполнит его, после чего залпом выпила содержимое, до последней капельки. Поставила стакан на стол, тыльной стороной ладони вытерла губы и посмотрела на Виктора.

— Значит, по-твоему, это не печальный конец?

— Это вообще не конец, — ответил Виктор.

— Нет?

— Нет.

— Возьмешь меня с собой?

— Нет, — сказал Виктор. — Я остаюсь здесь.

— В Ганновере?

— Да.

Женщина покачала головой.

— Не верю я тебе, — сказала она, — не знаю почему, но не верю. Все равно, — добавила и поднялась, — это ничего не меняет. Пойду приму душ, и, надеюсь, ты за это время исчезнешь.

Виктор промолчал. Подождал, когда она выйдет из кухни, потом дождался звука закрываемой двери ванной и шума воды, после чего, как будто уже нечего было больше ждать, вышел в прихожую, посмотрел в глазок, открыл дверь и вышел на лестничную площадку. Спускался он медленно, ступенька за ступенькой, и, только оказавшись в холле, вспомнил, что не захлопнул дверь квартиры этой женщины.

6

Телефон зазвонил, когда он укладывал вещи в дорожную сумку. Звонок прозвучал десять раз. Потом он умолк, но загорелась лампочка, извещающая об оставленном сообщении. Виктор еще раз осмотрел гостиничный номер, заглянул в ванную, в шкаф и под кровать, после чего закрыл сумку. Лампочка на телефоне старательно моргала, но он больше не смотрел на нее. Вышел из номера, спустился в холл и отдал ключ.

— Одну минуту, — сказал молодой человек за стойкой и протянул конверт, в котором была книга.

Виктор сунул конверт в боковой карман дорожной сумки и спросил:

— Как выглядела эта женщина?

— Это была не женщина, — ответил портье, — а мужчина.

— Вы уверены? Точно не женщина?

— Да, уверен, — ответил молодой человек не без сарказма в голосе. — Редко у какой женщины бывают борода и усы.

Вчера ни у кого не было ни бороды, ни усов, подумал Виктор, хотя это еще ничего не значит. Нет особой проблемы в том, чтобы их наклеить, актеру, например, или женщине, с которой провел ночь. Он взял сумку и направился к выходу, чтобы сесть в такси, которое, как предупредительно заверил его портье, вот-вот должно подъехать. И в самом деле, такси подъехало, Виктор расположился на заднем сиденье, велел таксисту поспешить в аэропорт, после чего надорвал конверт и вы-

тащил книгу. Как он и догадывался, это был сборник коротких рассказов, которые будут изданы после его смерти. Он начал читать первый рассказ, потом перескочил на второй, а затем и на третий. Что-то здесь не так, подумал Виктор, потому что эти рассказы вовсе не походили на те, которые он обычно писал. Правда, некоторые фразы звучали вроде бы похоже, но все остальное, в особенности сюжеты, резко отличалось от всего написанного им прежде. Неужели я настолько изменился, подумал Виктор, что не могу сам себя узнать? Он перелистал книгу, нашел страничку с заметкой об авторе и прочитал:

"Виктор Дугайлич, рассказчик и романист, один из самых значительных авторов Балканского полуострова. При жизни опубликовал шесть книг. Рассказы данного сборника воссозданы студентами славистики нескольких германских университетов на базе набросков и записок, оставшихся после его смерти".

– Что за чертовщина, – пробормотал Виктор, – откуда еще взялись эти студенты?

Таксист посмотрел на него в зеркальце:

– Вы что-то сказали?

– Нет, – ответил Виктор и посмотрел на часы: до вылета оставалось пятьдесят минут. – Но если мы не поспешим, то опоздаем.

– Если поспешим, – отозвался таксист, – то заплатим штраф.

– Я заплачу, – пообещал Виктор, и тут же почувствовал, как таксист прижал педаль газа.

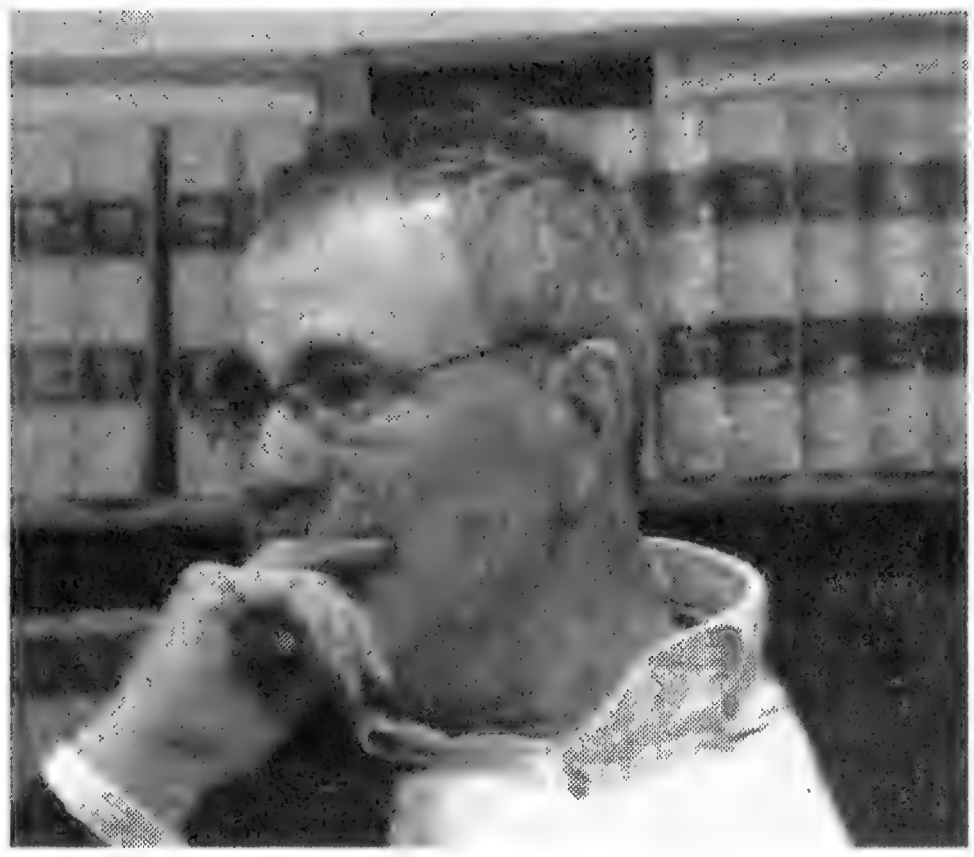
Он вновь обратился к справке об авторе и тут заметил предложение, которого – он был готов поклясться! – только что тут не было: "Погиб в Ганновере во время транспортного происшествия осенью 2007 года".

– Потише, пожалуйста, помедленнее! – крикнул он таксисту и похлопал его по плечу; тот обернулся к пассажиру.

– Думаете, слишком быстро? Не беспокойтесь!

И пока таксист улыбался ему, Виктор Дугайлич смотрел, как автомобиль вылетает на встречную полосу и врезается в грузовик с прицепом. Надо было остаться у той женщины, подумал он, после чего услышал, как корежится и ломается металл под оглушительный грохот и скрежет. Это длилось недолго – пять, от силы шесть секунд. После наступила тишина. А потом и ее не стало.

Михайло Пантич



Клуб замерзающих

Перевод Ларисы Савельевой

— ДОБРЫЙ день, мне нужен номер.

— Вы забронировали?

— Да, несколько дней назад.

— Ваша фамилия?

— Жегарац.

Фамилия прозвучала как чужая, как если бы он представился не своей. Растерянный портье, похожий на патологоанатома, внес имя в компьютер.

— Здесь вас нет.

— Этого не может быть, я вчера подтвердил бронирование, сказали, что все в порядке.

— Такое бывает, подождите, сейчас проверю. Возможно, вас записали в журнал, а потом забыли внести бронь в компьютер. Жегарац, так вы сказали?

— Да.

— Один момент.

Взял толстый журнал для записей, принялся листать, искал несколько минут. Жегарац терпеливо ждал, он никуда не спешил. И наконец:

— Ага, вот, нашел. Будьте добры ваш паспорт.

— У меня с собой только заграничный.

© Михајло Пантић, 2013
© Лариса Савельева. Перевод, 2015

– Не важно, можно и его.

Протянул паспорт.

– Номер двенадцать-тридцать шесть, – сказал портье, глядя ему прямо в глаза. И взгляд, и голос были, как только что снятые со льда в морге. Жегарац смутился. С трудом выдавил из себя:

– Последний этаж?

– Да, как здесь записано, гость просил комнату на последнем этаже.

– Все правильно, я просто проверяю.

– Ваш ключ.

Латунный брелок с цифрами звякнул о стойку. Жегарац взял его. У портье на правой руку не было указательного пальца.

– Спасибо.

– Пожалуйста. У вас будет прекрасный вид из окна.

В холле сновали самые разные люди, как будто здесь снимают кино. Один пронес контрабас в футляре, другой шептал в мобильник что-то, видимо, ужасно интимное, одна женщина пыталась успокоить расплакавшуюся девочку, другая, в короткой юбке, не закрывавшей колени, сидела в массивном кресле напротив стойки портье, кого-то ждала. Это был один из тех сияющих, вечно переполненных, безвкусно больших и не очень привлекательных отелей в самом центре города, какие ночью, светясь сотнями взятых в рамку источников света, кажутся похожими на приземлившийся космический корабль. За всю свою жизнь Жегарац не меньше миллиона раз проходил мимо этого отеля, но до нынешнего вечера, по прихоти занюханного господина случая, ни разу в него не заходил. Лишь иногда, шагая мимо окон кафе на первом этаже, он бросал на них взгляд. По ту сторону стекла было всегда примерно одно и то же: люди за столиками равнодушно провожали глазами прохожих, каждый думал о своем и каждый следовал за сюжетом своей истории.

Однажды, на тридцать девятом году жизни, человек по фамилии Жегарац захотел последовать за другим сюжетом другой истории. Можно было бы сказать, что это желание возникло неожиданно, ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, что оно охватило его на первый взгляд беспричинно. Но причины всегда есть, просто их нужно найти. Истинные обычно незаметны, не доступны глазу, но они грызут и продвигаются, проделывая ходы, как черви в дереве, изо дня в день. Они не прекращают работы, растут и растут, а потом вдруг – раз! – все меняется. Человек – не птица, он не может тут же, расправив крылья, переместиться куда-то, не

может с высоты взглянуть на самого себя, но неумолимость этой истины не мешает ему представлять себе, что такое возможно — в мгновение ока оказаться где-то в другом месте, в один миг стать кем-то другим. И Жегарацу под конец молодости, незадолго до сорокалетия, бесснежной зимой, пришло в голову, что он должен немедленно что-то с собой сделать, пусть он не знает что, но сделать, броситься навстречу чему-то новому, не раздумывая, вот так, вдруг, с неба и с облаков, без всякого плана.

Да, куда-нибудь уехать.

Уехать ему некуда. Не важно, все равно надо непременно себя куда-то деть. Для начала он набрал номер отеля и забронировал комнату на верхнем этаже, желая просто уединиться и спокойно, на высоте пятидесяти метров над землей (если он правильно подсчитал), немного поразмыслить над собственной жизнью, над тем, до чего он добрался и куда двигаться дальше по неумолимой прихоти времени, объясняющегося знаками. Перед ним, если он проживет столько же, сколько прожили отец или мать, открывалась перспектива как раз стольких дней, сколько осталось сейчас за спиной...

В то позднее зимнее послеобеденное время он закрыл дверь своей квартиры в новом районе Белграда так же, как делал это ежедневно, с тех пор как себя помнит. Квартира досталась ему от родителей, тихих людей, которые прожили вместе пятьдесят лет в безгласной ссоре. В жизни Жегарац особо не старался чего-то добиться, все, что было нужно, он просто получал одно за другим, без взлетов и падений. И двигаясь в предназначенном ему отрезке времени, словно в каком-то то совершенно темном, а то ярко освещенном тоннеле, он не чувствовал, что меняется, хотя не мог сказать этого об окружавшем его мире. Нет, мир менялся, постоянно к худшему, становился все холоднее, все равнодушнее, все стремительнее, принимая все более уродливый, по мнению Жегараца, вид. Люди в телевизоре, в автобусах, в которых он перебирался на другой берег реки, на улицах, по которым он спешил вслед за скудным сюжетом своей истории, выглядели все более отвратительными, иногда ему казалось, что здесь, посреди города, он сталкивается с дромадерами, медузами, утконосами, хоботными, копытными... которые разве что передвигаются на двух ногах и лишь издали напоминают каких-то древних, мало известных ему предков.

Наташе он сказал, что идет в город, хотя она его и не спрашивала, не было у нее такого обыкновения. Она всегда слишком много работала и всегда была уставшей, со своей женой Жегарац в течение дня едва ли обменивался более

чем парой самых необходимых слов, и так годами. А Тане он не сказал ничего, не мог, хотя хотел бы, и, конечно, поцеловал бы ее, но она еще не вернулась из школы, осталась на внеклассные занятия по рисованию. В любом ребенке живет непробудившийся Ван Гог, который позже, в зрелые годы забредает в чащу и там теряется. И Жегарац в своей новобелградской молодости играл на "фендере", в гимназии считали, что из него получится новый, белый, Хендрикс, но ни черта подобного, такой рождается лишь раз, а теперь он мертв, потому что, наверное, Богу понадобились уроки игры на гитаре, так что и потенциальный новобелградский электропаганини с годами охладел к арпеджио и аккордам, по настоятельным советам отца поступил на информатику, отучился, получил диплом, состриг дреды, нашел работу в управлении городской электросети и женился на гимназической подружке. Наташа жила в соседнем корпусе, поначалу это могло показаться любовью, но нет, только показалось. Как бы то ни было, жизнь покатилась, заработала сила инерции, и двинулась так, как ей захотелось, обычным порядком.

Ровно.

И пока улицы с неба и из облаков заливал потоп истории, Жегарац тратил свои годы на погоню за собственной жизнью, которую все никак не мог догнать и схватить. Без особого волнения, без каких бы то ни было сюрпризов. Наташа – он часто думал об этом, потому что в основном думал о любви, о том, чего всем нам не хватает даже тогда, когда оно у нас есть, но его всегда недостаточно, – была его единственной полулюбовью, настоящей, полной он никогда не испытал, за все свои без малого тридцать девять лет. Да, именно так, полулюбовью, потому что любовь – она целая, иначе это не любовь. Но иногда она не вполне различима, у нее нет нужной силы, и тогда ни туда ни сюда, так, полулюбовь, ввиду отсутствия весомых доказательств. А Таня, она навсегда, она его солнышко, двенадцатилетняя папина умница, со взглядом, от которого мутится рассудок и передвигаются предметы в комнате. Но более или менее все оставалось на своих местах, за исключением случая, когда Танюша, играя своей гипнотической силой, передвинула на несколько миллиметров комод в прихожей, и Жегарац, ночью, сонный, пробираясь в туалет, ударился мизинцем о его ножку, да так, что звезды из глаз посыпались. Но это все ерунда, такие вещи случаются повсюду и с каждым, тело привыкает к определенному пространству, и достаточно заметного только под микроскопом изменения в этом пространстве, как оно сбивается, теряется, но ничего страшного. Так же и Жегарац, слишком чувст-

вительный и легко теряющийся, привык к своему пространству и к своим ближним и находил общий язык со своей комнатой, ванной, и прихожей, и со своими домашними настолько, насколько это дано обычному новобелградскому жителю, ни больше ни меньше, чем другим.

Да, и при всем этом некоторое время назад — трудно точно определить, с какого именно момента ему стало трудно, потому что тихий ужас проникал в кости откуда-то издалека и неспешно, словно с того света, — он стал сильно зябнуть, всегда и всюду, независимо от времени дня и времени года, в равной степени зимой и летом. Он весь дрожал от холода, внутри, постоянно и незаметно для других, со временем привык, так же как всякий человек со временем привыкает к врожденной или приобретенной помехе — шуму в ушах, подергиванию века, боли в спине, тесной обуви. Зябкость, по правде говоря, самое невинное слово, для описания постоянного, хронического состояния легкой дрожи, благодаря которому он без громких слов, исподтишка, но недвусмысленно и бесповоротно стал членом многочисленного, повсюду распространенного, растущего в прогрессии всемирного братства тех, кто и в самую жару чувствует, как его зубы выбивают неслышную дробь, и которое с определенной долей ответственности можно было бы назвать не иначе, как Клуб замерзающих. Никому не известен ни устав, ни местонахождение правления этого клуба, впрочем, ни того ни другого не существует, хотя существуют его члены, даже если не знают, что таковыми являются, даже если считают, что то, что с ними творится и не прекращается, происходит только с ними одними. И с этим им суждено жить. Когда один уходит, на его место приходят трое других.

И тогда, продолжим нашу историю, на Жегараца чем-то повеяло, скорее, это было действие какой-то бессловесной ледяной стихии, а не его желаний, он ощутил это телом, которое словно бы захотело переместиться, убежать. Он перелистал телефонный справочник, нашел номер, набрал, забронировал комнату в отеле, в своем собственном городе, правда, на другом берегу реки, словно оказался здесь проездом, и ему нужно где-то переночевать. По прошествии всех лет спокойной, ничем не нарушаемой жизни он закрыл за собой входную дверь на первый взгляд так же, как уже делал два миллиона раз, но все-таки с маленькой разницей, с той чертовски маленькой, в миллиметр, разницей, которая перенаправляет дальнейшую жизнь, как небольшое в начале отклонение от нормы приводит к катастрофе — слова, которые приписывают Аристотелю. И не имея куда и к кому подать-

ся — ряды друзей поредели, кто-то развелся, кто-то эмигрировал, кто-то сделался невыносимым, равнодушным, завистливым, пассивным или слишком занятым, для того чтобы участвовать в спорадических ритуальных сборищах, — Жегарац решил, что было бы неплохо на малую толику отделиться от земли, хоть как-то взлететь, чтобы сверху поглядеть на мир, немного согреться, посмотреть, до чего он добрался в результате, что сделал, насколько ему удается все это осмыслить и что предпринять дальше.

Взяв ключ у человека с четырьмя пальцами, он поднялся на лифте. И стоило ему ступить в гостиничный номер, одним только тем отделившись и от себя, и от остальных людей, потому что нет более плотного одиночества, чем в пустом гостиничном номере, — как зазвонил телефон.

— Да.

— Вы говорите по-английски? — спросил женский голос, подчеркнуто любезный, без акцента.

— Да, я вас слушаю.

— Не заинтересует ли вас сеанс массажа, прямо в вашем номере?

Жегарац, застигнутый врасплох, на мгновение потерял дар речи. Разумеется, он сразу понял, о чем идет речь, мальчишкой он особенно любил песню “Стоунз” “Honky Tonk Women” и играл ее, как настоящий, вместе с пластинкой и с Китом[1], тон в тон, но такое, как сейчас, происходило с ним впервые. За всю жизнь он ни разу не изменял жене. Это всегда казалось ему немыслимым. Его друзья хвастались трофеями, скальпами, иногда у него было впечатление, что окружающие только об этом и шепчутся, задыхаясь в промискуитете, и что людей на самом деле влечет и захватывает только это. Да, да, жизнь движется постоянным ростом квазилюбовных интриг, переодеваний, соблазнений, трагических или комических поверхностно-эротических завязок и развязок, а его все это, как ни странно, совсем не трогало. Просто-напросто не интересовало. Ему было холодно, он только не мог разобрать, откуда берется этот холод — извне или изнутри, из костей, а может быть, и оттуда, и отсюда. И тогда, словно в другое ухо кто-то шепнул ему, что нужно сказать, он услышал, как произнес:

— Да, заинтересует.

— Прекрасно, — ответил женский голос, без акцента. — Ждите нас минут через пятнадцать.

1. Кит Ричардс (р. 1943) — гитарист и автор песен рок-группы “The Rolling Stones”. (*Прим. перев.*)

Жегарац снял пальто и повесил его в шкаф, висящее на вешалке, оно показалось ему сникшим демоном, неожиданно оказавшимся здесь, рядом с ним, наблюдающим за ним и контролирующим каждое его движение. Потом он разулся, повалился на кровать и огляделся по сторонам: обычный гостиничный номер, чистый, проветренный, прохладный, без всякого запаха...

Подошел к двери из толстого прозрачного стекла, которая вела на маленький балкон, но открывать не стал, должно быть, от неуверенности, побаивался высоты. Повсюду, куда ни глянь, простирался город, и можно было увидеть действительно все — растянутую, невротичную панораму, улицы, реки, мосты и напротив, в близкой дали, в серой, ветреной зиме, то бессмысленное, равнодушное место, где он провел всю свою предшествующую жизнь. Где-то там, в новобелградском кварталe № 66 и его комната, маленькая клетка отшельника в скале небоскреба, с иконой Хендрикса на стене.

Он взял пульт и включил телевизор, через пару секунд появилась картинка. “Посмотри только на этот бардак, в комнате можно ногу сломать. И имей в виду, я не хочу больше говорить об этом, и не хочу никакой ссоры. Решать все будет Бог, а не мы”, — было первое, что он услышал. Какая-то актриса что-то объясняла какому-то актеру, а он молчал, но не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что Жегарац тут же выключил звук и погрузился в мысли, а из мыслей в отчаяние. Зябкое, постоянное, неконтролируемое отчаяние непокойного происхождения.

Больше он не чувствовал ничего, только это отчаяние, которое где-то там, на грани самого себя, в далекой дали, превращалось в ужас и боль, потому что отчаяние, как ни возьми, — это боль души, это изречение приписывают одному анонимному сценаристу одного из трех миллионов мексиканских телесериалов. Снаружи медленно угасал день, рассеянный свет распространялся над городом, чья-то рука в управлении электроснабжением повернула центральный рубильник, и улицы вдруг разом засияли полным сиянием, а Жегарац лежал на кровати в гостиничном номере и увязал в отчаянии, как в трясине. Это было то густое ледяное отчаяние, самое густое из всех, чья причина неизвестна, — если только это не сама жизнь. Он чувствовал его так же, как его чувствуют и с трудом переносят все люди, независимо от того принадлежат они или не принадлежат к членам невидимого, но широко распространенного Клуба замерзающих, отчаявшихся, как и в случае со всеми млекопитающими, всеми копытными и парнокопытными, всеми лосями и зебрами,

львами и гиенами, вне всякой зависимости от того, съедят ли они или съедят их, ибо речь идет о том, что нам дано от рождения, что мы получаем самим приходом в этот мир, самим своим существованием и что тяжелые обстоятельства жизни лишь усугубляют.

Природа или город, ересь или церковь, алкоголь или абстиненция, обжорство или пост, целибат или бордель — всего этого недостаточно, чтобы вызвать или приглушить отчаяние. Отчаявшийся испытывает это чувство по многим причинам, и решение о нем принимает даже не Бог, который, должно быть, и сам в отчаянии от того, что́ сотворил, и дрожит теперь от жути в недоступном пространстве, у источника света. И это чувствует каждый человек, чувствует и не обязан понимать, независимо от того, кто он — сам отчаявшийся или же специалист по отчаянию, потому что каждый одновременно и то и другое, каждый чувствует отчаяние и при этом знает, что никакая мысль не может помочь его устранить, может лишь обманчиво и ненадолго отвлечь. Отчаяние сопровождающееся ужасом, если учесть все и свести к сути, что бы ни думали об этом Аристотель или неидентифицированный сценарист марафонского душераздирающего сериала, предположительно некий возможный потомок ацтеков, — это, в сущности, ли́шь постоянное предчувствие того, что нас здесь с какого-то момента больше не будет.

Помочь тут, да и то в некоторой степени, может только любовь.

Но что, если любви нет? Или же, как в случае с человеком по фамилии Жегарац, то нет, то есть, но ее никогда не достаточно? Грезит и дрожит Жегарац, на границе самозабвения, в гостиничном номере, в ожидании неожиданного визита, и тяжела ему не та мысль, что его не любит никто, а та, что его не любят все, как Хендрикса, потому что каждый любит, чтобы его любили все. И хотя каждый, не задумываясь, скажет, что не любит всех и каждого, нам всем присуще желание, чтобы нас-то любили все. Но прямоходящие, то есть те, кто ходит на двух ногах, то есть люди, в той же мере, что и страусы или кенгуру, свободны от обязанности любить каждого, и они лихо пользуются свободой такого рода. Именно в этом и проявляется какой-то сущностный дефект — не любим каждого, любим, чтобы нас любили все, и этот дефект, суетность ми́ра, никак не поддается устранению. К нему мы не можем привыкнуть, не можем с ним смириться. Здесь корень всех наших несогласий, и с самими собой, и с миром.

Любовь — это истина, безусловно. Жегарац, раздумывая в тот вечер о том, кто и как его любит, но только на самом деле

любит — и, не найдя ответа, есть ли вообще кто-то еще, кроме Тани, а это все-таки представляет собой заданную от природы, а не найденную любовь, — пришел к пониманию, что любовь — это истина. А если и не так, то должна была бы ею быть. Но от такой умной мысли лучше ему не стало, отчаяние не устранить усилием воли, никто не может приказать самому себе не быть в отчаянии. В том числе и он. Он продолжал сидеть, а точнее лежать одетым на кровати в гостиничном номере, уставившись в телевизор с выключенным звуком. Та самая актриса упорно продолжала что-то объяснять тому самому актеру, которому никак не удавалось вставить слово, и по жестикуляции можно было заключить, что их разговор, а скорее ее монолог в присутствии другого, все-таки постепенно перерастает в ссору. Наташа никогда не ссорилась, с годами она становилась все более отсутствующей, равнодушной, так что и без того едва теплившееся между ними электрическое взаимодействие со временем совсем исчезло.

Да, любовь — это, наверное, что-то истинное.

Но истина — не любовь.

Жегарац до того вечера обо всем этом так серьезно не думал, если вообще когда-либо об этом задумывался. Он просто-напросто жил, как живется, стараясь не делать зла, нанизывал один за другим дни, вставал, шел на работу, возвращался с работы, включал телевизор, ужинал, спал, и так бесконечно. Постоянно трясясь от озноба. Однако всегда наступает день, или вечер, или минута, когда человек приходит в себя, — так распоряжается жизнь. Обычно где-то лет около сорока опыт начинает сгущаться, что и не так уж страшно, но с этой поры желания любого свойства постепенно охладевают, и это переносится уже гораздо тяжелее, порой даже кажется невыносимым, и Жегарац это почувствовал. Жизнь больше не такая пестрая и многообещающая, как некогда, все идолы-гитаристы или мертвы, или превратились в карикатуры на самих себя, а ходить на концерты новых групп, толкаться среди детей, Таниных сверстников, глупо. Он ничего больше во всем этом не понимает, никакой музыки, одни компьютеры, миксы, семплы, ритм-установки... Дошло до того, что лучшими считаются те, кто лучше выглядит, кто лучше упакован, и всем безразлично, умеет ли кто-нибудь из них играть, или не умеет, да, вообще-то говоря, после Хендрикса вряд ли найдется кто-либо, играющий по-настоящему.

Тяжело...

А истина? Истина должна расти, чтобы стать любовью, чтобы достичь ее. Однажды. Или никогда. Чаще всего — никогда.

Жегарац не умел себе объяснить, что происходит с любовью, которая, как в его случае, не реализовывалась до конца, куда она девается. Или не девается никуда, а так и остается внутри нас. Нет, он не думал о такой любви, которая никогда не осуществится, которая длится вечно, точнее сказать, тлеет в неких далеких уголках души, с краю, в облаках. Не думал он и о невероятных влюбленностях, самых болезненных тогда, когда они взаимны, но не могут по каким-то причинам пробиться в явь, на поверхность. Тогда наступает осознание свинцово-тяжелой невозможности — самого тяжелого и самого бессмысленного чувства, когда не имеешь чего-то и не можешь иметь, а так бы хотелось, и это не менее сильно, чем любое обладание. Но все осталось в мыслях Жегараца где-то на полях, потому что он постоянно видел перед собой себя и Наташу.

В тот вечер в гостиничном номере, наверху, над миром, придавленный чем-то, не имеющим имени, какой-то безвыходностью, дрожа, он казался себе другим, носящим чужое имя, якобы присутствующим в жизни. Вот родился, ну так живи. И еще он казался себе движущимся к некой предполагаемой полноте, а она предстает перед ним пустотой, полулюбовью, состоянием ни здесь ни там, а вблизи чего-то, что на самом деле очень далеко. Да, все дело в том, что перед ним именно эта, состоявшаяся полулюбовь, как Наташина, так и его, а такая любовь, призрачная и слабая, рано или поздно исчезает, выветривается сама собой, по какой-то причине или без нее, которую можно или нельзя обнаружить, не так уж и важно. Причины — это слабое утешение и еще худшее оправдание для неминуемых последствий, тут мало что можно понять, так что над этим не стоит и задумываться, потому что, когда думаешь о том, чего не можешь осознать, возникает отчаяние, чувствуется дыхание ледяной пустыни. Может и не самая большая, но самая существенная часть нас не поддается объяснению словами, она недоступна, принадлежит миру непознанного. Отчаяние, эта тяжелая зябкая дрожь, предупреждало его о безграничности неосвоенного в душе пространства, неосвоенного ввиду недоступности, не имеющего имени, которое мы тем больше чувствуем, чем меньше его осознаем, воспринимаем как некое нечто, как Жегарац. В нем по поверхности плавала сотня пустых островов, которые никто никогда не заселит и которые никак нельзя друг с другом связать. Однако ужас держал их вместе...

В дверь постучали.

Жегарац встрепенулся. Встал, пошел к двери. На миг заколебался, открыть или сделать вид, что уже заснул или вы-

шел, но все же взялся за дверную ручку. Открыл. На пороге стоял жираф — не очень-то и молодая женщина, красивая, от тридцати до сорока, высокая, почти как Жегарац, она смотрела ему прямо в глаза. На ней был великолепный светлый костюм цвета ванильного мороженого и туфли на очень высоком каблуке. Выглядела она так, будто пришла прямо с торжественного приема, и не будь в руках у нее толстобокого, массивного кожаного медицинского саквояжа, никому бы не пришло в голову, что она занимается массажем.

— Добрый вечер, — сказал Жегарац совершенно спокойно, лишь в первый момент в нем пробудилось любопытство: что же последует дальше.

Женщина улыбнулась, без единого звука, как обычно и делают люди при первой встрече, и рукой показала на свое ухо. Потом приоткрыла рот и испустила какой-то горловой хриплый вздох, из которого ничего нельзя было разобрать. Когда она все это повторила еще раз, Жегарац понял: она глухонемая.

— Понимаю, — проговорил он растерянно, на что женщина осторожно взяла его подбородок и потянула к себе, так что теперь они стояли очень близко, лицом к лицу. Она несколько раз открыла и закрыла рот, прикоснулась к губам указательным и большим пальцами, расставив их наподобие латинской буквы V, направленной к глазам, что должно было означать, что она умеет читать по губам. Улыбка все это время не покидала ее лица, и, когда Жегарац немного отступил в сторону, она перешагнула порог комнаты. Тут же сняла пиджак и сбросила туфли, ловким движением стянула юбку и осталась в черном белье, ее кожа блестела в полумраке комнаты, в котором подрагивали отблески света с экрана телевизора. Жегарац наблюдал за всем, не сводя глаз, чувствуя, как в нем нарастает волна неконтролируемой страсти, той, которая возникает всегда, когда женщина, знакомая или незнакомая, совершенно не важно, обнажается перед мужчиной.

Без лишних движений, по-прежнему с улыбкой, как будто бы на ней маска, она потеснила его к смятой кровати, помогла расстегнуть брюки, спустила их до середины бедер, и через несколько секунд он уже стал расти в ее свежем прохладном рту. Она работала языком, зубами и пальцами точно, как хирург, подняв глаза, в которых ничего нельзя было прочитать. Потом остановилась, потом продолжила и снова остановилась, заползла ему на живот и села верхом. Жегарац отдался ее равномерным, все более сильным рывкам, извлек из ее лифчика две полные, похожие на груши груди с набухши-

ми сосцами и, охваченный страстью, почувствовал, как отчаяние и зябкость в нем тают, подобно тому, как тает на огне свинец. Он думал о сотне вещей одновременно и ни об одной отдельно, и в тот момент, когда он погрузился в иррациональное состояние, под опущенными ресницами ему привиделась только начавшая созревать грудь его дочери.

Женщина-жираф соскользнула с него и ушла в ванную, а он, все еще дрожа, достал из переброшенного через спинку стула пиджака бумажник, вынул две самых крупных банкноты, помедлил, взял еще одну, помельче, он не знал, сколько может стоить эта услуга, такого рода опыта у него не было. Должно быть, достаточно, сказал он самому себе и положил деньги возле телевизора. Отключенный от звука диктор программы новостей в сопровождении девушки, которая переводит слова на язык глухонемых, старался сообщить миру еще одну новость о какой-то катастрофе или войне. Безуспешно, Жегарац не умел читать по губам или увязывать жесты в одно целое. Высокая женщина появилась из ванной, нагая, и забралась под одеяло, она еще не собиралась уходить. Жегарац не знал, что следует делать, поэтому лег рядом с ней, прижал ее к себе и при этом ногой соприкоснулся с ее грубой, шершавой пяткой. Он вздрогнул. От ее тела пахло холодом, хотя пару минут назад его под душем обливала горячая вода. Он прижался к ней, пытаясь согреться.

Так и заснул, незаметно, с пустой головой.

Проснувшись незадолго до рассвета, он в первый момент решил, что все это ему приснилось — рядом с ним никого не было. В тишине комнаты на экране телевизора падал снег. Встал, выключил телевизор. Денег на столе не было. Он вышел на небольшой балкон.

Все-таки.

Светало, но вдоль пустых улиц, в сухом и сером морозном утре еще горели фонари. Он шагнул к ограждению, не чувствуя холода, не чувствуя ничего, без малейших раздумий перебросил через парапет ноги и оторвался. Падая в пропасть, свободный от всего, успел подумать, что, может быть, умеет летать.

И раскинул в стороны руки.

Владимир Тасич

Тайная история электронной музыки

Перевод Василия Соколова

ПРОФЕССОРА, как обычно, не сходятся во мнениях о дате, которую следовало бы считать началом эры электронной музыки. Еще в 1759 году Жан-Батист де ла Борде сконструировал электрический клавесин: небольшие молоточки, движимые статическим электричеством, ударяли в колокольчики. В 1874 году Илайша Грей создает музыкальный телеграф. Были и другие попытки, но первый серьезный результат — таково мнение исследователей — получили лишь на рубеже XIX и XX веков. Вашингтонский адвокат и изобретатель Таддеус Кэхилл в 1896 году запатентовал первый электронный инструмент — телармониум, — который с помощью динамо-машины и генератора переменного тока воспроизводил синусоидальные “звуки будущего”.

Кэхилл, похоже, мечтал об эоловой арфе, которая бы нашептывала или громко возвещала о наступающей эпохе техники и коммуникаций, о волшебном превращении, которое сотворило бы из рек и озер, угля, стали, железа, керамики и меди соответствующий фон для звуковой картины современ-

© Владимир Тасић, 1995
© Василий Соколов. Перевод, 2015

ного мира — как это некогда сделали струны лиры, свитые из внутренностей принесенной в жертву козы. Махина весом в двести тысяч килограммов в последних числах сентября 1906 года переехала в двенадцати грузовых вагонах в нью-йоркский "Телармоник Холл" на пересечении Бродвея с Тридцать девятой улицей, откуда предполагалось передавать ее звуки по телефонным проводам в рестораны, кафетерии и жилища Нового Вавилона.

Тринадцатью кварталами ниже (эта цифра, в полном соответствии с традицией, окажется несчастливой) в кафе "Мартин" впервые установили на столах специальные динамики, которые, совсем как Адамовым листком, прикрыли зелеными растениями. В девятый день одиннадцатого месяца 1906 года романтические пары, посетившие кафе "Мартин", первыми услышали звучание телармониума. Как сообщали с места события, музыка была встречена с удивлением и даже благоговением. Однако, несмотря на блистательный дебют, эксперимент Кэхилла завершился бесславно. Как вскоре было установлено, сигналы телармониума вызывали помехи на телефонных линиях города. Нью-йоркская телефонная компания просто-напросто разорвала договор и отказалась от дальнейшего сотрудничества. Кэхилл, по словам некоего историка, с "настойчивостью, свойственной провидцам и упрямцам", несколько лет провел в поисках финансистов, которые бы разделили его восторг от футуристических аккордов и вложили деньги в покупку независимой системы связи. После премьеры прошло восемь лет, и в 1914 году он был вынужден объявить себя банкротом.

Так поражением завершается официальная история телармониума. Следы этого происшествия теряются в хаосе последовавших лет: машину Кэхилла заглушили инструменты, возникшие по ту сторону Атлантики. Сначала это были обычные вопли "жертв войны ради уничтожения всех войн", храпы коней, вязнущих в грязи, стоны раненых, придерживающих руками собственные вывалившиеся из раны внутренности, хрипы молодых людей, задыхающихся в облаках ядовитого газа. И вскоре к этому ужасающему оркестру где-то в глубине сцены, рядом с барабанами, тубами и треугольниками, присоединилась какофония Октябрьской революции. Анналы того смутного и опасного времени, его летописи, до того отягощенные мрачными событиями, что даже у величайших скептиков иной раз вдруг вспыхивала надежда, что, наконец, должен же появиться творец, одаренный адским чувством юмора, все-таки зафиксировали: электронная музыка, ее история, начатая в Нью-Йорке и Вашингтоне, после того как улеглась пыль вели-

кой бури, продолжилась на востоке, в море грязи и снега, когда рядом с дворцами, захваченными во имя светлого будущего народа, на мостовых некогда царских дорог, на которых как единственный признак сопротивления новым властям и изобретательного ответа на старую Гераклитову загадку о неизменности всех перемен, дымился еще теплый конский навоз.

Лев Сергеевич Термен родился в Санкт-Петербурге в 1896 году, в том же году, когда Кэхилл запатентовал телармониум. О его молодых летах мало что известно, частично из-за обоснованного нежелания Термена оскорбить дирижеров революции неосмотрительными высказываниями, которые можно было бы истолковать как нечто большее, нежели обычную ностальгию по беззаботному детству, а частично из-за секретности, которой он был обязан придерживаться как служащий "одной исключительно важной организации". Этой организации он был обязан своей славой и своими страданиями; он отдал ей если не всю жизнь, то, по крайней мере, значительную ее часть, а в известной мере она стала и виновницей его смерти, так что он испытывал перед ней страх, как истово верующий, и даже в интервью, данном во Франции в 1989 году, не решился назвать ее, придерживаясь, словно какой-то схимник, правила не произносить имя Божие всуе. И не напрасно, потому что перед акронимами этой организации многие богатыри, как закоренелые уличные хулиганы, так и закаленные герои революции, трепетали, будто перепуганные мальчишки: ГПУ, ЧК, НКВД, КГБ.

Однако нам известно, что отец Термена был адвокатом, его мать обладала врожденной склонностью к искусству, особенно к музыке, знаем также, что он играл на фортепиано, учился в консерватории и окончил ее в звании "свободного художника-виолончелиста". Там он учился физике и астрономии, работал в ленинградском Техническом институте, а сведения о том, что вскоре после этого его видели на Выставке электротехнической промышленности в Москве, не требуют пояснений, поскольку речь идет о периоде, когда особое внимание в стране было обращено на индустриализацию и электрификацию. В свободное время он строил планы по созданию нового музыкального инструмента, который бы излучал и модулировал звук без механического воздействия, без физического контакта, благодаря одним лишь движениям рук, "как это делают дирижеры".

Простота замысла Термена была отмечена печатью гениальности. Каждый, кто пытался изменением направления антенны улучшить качество сигнала, прекрасно знает, что близость человеческого тела создает интерференцию: человеку

кажется, что он нашел лучшее положение антенны, но стоит ему отойти, стоит усесться в кресле, окажется, что сигнал принимается хуже, чем раньше. Термен изменил взгляд на эту проблему, придя к выводу, что интерференцию следует рассматривать не как проблему, но как возможность контролировать звук, что, собственно, составляет суть каждого музыкального инструмента. В 1920 году он сконструировал прототип, деревянную коробку с двумя антеннами — кольцевой сбоку и прямой на верхней крышке. Высота тона контролировалась движениями ладоней вблизи антенн; инструмент реагировал на положение рук, сопровождая их жесты меланхолической монофонической мелодией, о которой позже написали, что такая мелодия могла возникнуть только в то время и в том месте.

Электронный инструмент Термена представили на московской выставке, и вскоре он привлек внимание определенных кругов. Говорят, Ленин похвально отозвался об этом изобретении. Уже на следующий год Термена пригласили продемонстрировать свой инструмент группе московских ученых. В этой группе, наверняка не случайно, оказался и известный Попов, который с целью обеспечения безопасности молодого советского государства отслеживал развитие техники за границей. Попов кое-что знал о телармониуме; слышал, например, что проект Кэхилла провалился, потому что его нелепая махина создавала, помимо симуляции увертюр Россини, неустранимые помехи на телефонных линиях Нью-Йорка. В отчете, написанном после презентации Термена, Попов, можно сказать, дал волю своей фантазии. В его воображении предстал отряд музыкантов, то есть специально обученных диверсантов, переодетых в исполнителей на новых инструментах, артистов, которые (после успешно проведенной пропагандистской кампании) отправятся на гастроли по странам Запада как суперзвезды передового в морально-политическом отношении общества, где каждый может стать дирижером, и будут воодушевлять декадентствующую элиту, мороча их рассказами про авангардную музыку, — все для того, чтобы, находясь в зените славы, по сигналу из штаба произвести могучую лавину помех, полностью блокирующих все линии связи в Европе и Америке. Весь мир стал бы заложником этой энтропической бомбы.

Попов был предшественником будущих хакеров; он выдумал это до того, как наступило их время. Среди начальников были и такие, которые считали его опасным сумасшедшим или, что еще хуже, криптоанархистом. Характеристика, выданная ему, стоила Попову головы, но некоторое время он все еще пребывал в безопасности: по каналам, которые не сумели обнаружить его противники, он мог выходить на самого Лени-

на. Еще до отчета Попова аналогичный проект был одобрен на самом верху, над ним трудились в известных лабораториях, правда, без особого успеха. Сконструированный независимо от них аппарат Термена открывал наконец-то путь к реализации замысла. В 1921 году изобретателя приглашают посетить Ленина. Днем раньше Попов лично исследует инструмент.

Льва Сергеевича сопровождают в Кремль и оставляют ожидать в комнате, которая должна была ему показаться столь же импозантной, как зала в царском дворце, хотя это была просто приемная перед кабинетом Ленина. Компанию ему составила секретарша Ленина Фотиева, пианистка с дипломом Московской консерватории; обстоятельство, которое, не без основания, не показалось ему случайным совпадением, тем более что в его досье было отмечено, что перед шармом исполнительниц он может и не устоять, однако в ходе разговора с Фотиевой его тревожные сомнения рассеялись. Потом они перешли в соседнее помещение, огромный зал с письменным столом в одном конце и с концертным роялем в другом. Где-то между этими точками расположился инструмент Льва Сергеевича. Вошел Ленин в сопровождении группы ученых, с которыми до этого разговаривал Термен. После формальностей, не очень-то привычных для Термена, Ленин сел, улыбнулся и указал на коробку с антеннами.

В соответствии с наставлениями, которые накануне дал ему Попов, Термен сыграл “Жаворонка” Глинки, любимую мелодию Ленина. Исполнение было встречено аплодисментами. Последовал короткий разговор об инструменте, о важности электричества в советском обществе, о значении инноваций в области музыки. До этого момента все разыгрывалось в рамках жесткого протокола. Но Ленин захотел играть сам. Точнее, он пожелал сам исполнить на терменвоксе “Жаворонка” Глинки. Он встал перед аппаратом и взмахнул руками, совсем как фокусник; из коробки вырвался звук, похожий на вопли спаривающихся электрических кошек. Ленин посмотрел на Попова, Попов — на Термена; Термен все понял. Он подошел к Ленину, встал за спиной, взял в свои ладони его руки, словно собирался станцевать с ним пассаж из авангардистского балета, в котором одна птица обучает полетам другую. Потом отошел в сторону, и Ленин полетел сам, поднимая и опуская руки, сгибая и выпрямляя тело, дирижируя невидимым оркестром электромагнитных полей, невидимым, но повсеместно присутствующим, совсем как русское пространство. Очень жаль, что никто и никогда не узнает, о чем он думал в это мгновение, что чувствовал, что видел со своих небесных высот. Все, что можно сказать об этом, если

довериться Термену, — у Ленина "был слух", и он не опозорился.

Тем не менее он не позволил себе отдаться музыке. Как вспоминал Максим Горький, Ленин еще во время их встреч на Капри говорил о музыке весьма странно: "...часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно". В 1921 году Термен, находясь в Кремле, не мог знать об этом разговоре. Ленин отыграл партитуру, поздравил Льва Сергеевича с изобретением нового инструмента; что-то шепнул Попову. И это все. Наутро Термен узнал, что ему выдана государственная дотация на проведение гастролей по всей стране. С этой целью Ленин приказал произвести двести экземпляров терменвокса. Попов намекнул, что эти гастроли, если все пойдет по плану, могли бы стать генеральной репетицией гастролей по столицам Западной Европы и даже в Америке...

В тот же году Термен женился на Екатерине Константиновне, сестре одного из его коллег по ленинградскому институту. Катя музыкой не интересовалась, и еще меньше — техникой. Одно время Лев Сергеевич пытался объяснить ей принцип работы терменвокса, рассказывал о Ленине, но Катя молчала. Попова на свадьбе не было. Термен гастролирует, играет, преподает, работает над новыми произведениями. В это время (уже в 1926 году) он сконструировал аппарат, который назвал телевизон, дальновидение, но Кате казалось глупым и непонятным, зачем людям надо смотреть в какие-то коробки. Попов же настаивал на том, что приоритетным изобретением является терменвокс, и Термен отказывается от работ над передачей изображения на расстояние. Комиссия по вопросам искусства принимает решение представить его инструмент в ходе мирового турне: Франкфурт, Париж, Нью-Йорк.

Термен, конечно, был готов к этому еще в 1921 году. Что ему Германия, Франция, Америка, если он сумел очаровать самого Ленина? Да ничего! Однако речь шла о другом. Важной организации, которой он, сам не зная того, принадлежал (и это надо понимать в буквальном смысле), требовалось некоторое время, чтобы подготовить почву, обеспечить финансовую поддержку, привлечь внимание влиятельных музыкальных критиков. Терпение и щепетильность принесли плоды. Успех был потрясающий. Николай Обухов сочинил для терменвокса специальную музыку. Во Франции пытались создать свою версию (некий "звучащий крест"), но, как и в Германии, безуспеш-

но. Американ̀ские компании предлагали договориться о серийном производстве. Когда Термен 22 декабря 1927 года прибыл в Нью-Йорк, его встречали как звезду. Сотрудники советского консульства позволили ему, правда, до известной степени, свободно работать. Доходами, полученными от продажи патента на терменвокс американской вещательной компании RCA, займется соответствующая государственная служба; пусть это не беспокоит Льва Сергеевича, он должен целиком посвятить себя работе. Единственное, что он обязан делать, как полагается сознательному и честному гражданину, пребывающему за границей — за счет государства, не забыли они подчеркнуть, — время от времени, когда сочтет удобным, являться в консульство для встреч с соответствующими товарищами, извещать их о деятельности новых знакомых, не упуская даже тех деталей, которые покажутся ему незначительными, но которые в широком, геополитическом контексте...

Супруги Термен снимают большой дом на Пятьдесят четвертой улице (номер 37, Западная сторона). В последовавшие годы Лев Сергеевич принимает у себя множество композиторов, музыкантов, танцоров, ученых. Сам Эйнштейн частенько наведывается к нему, чтобы поиграть на терменвоксе. И играл Эйнштейн с закрытыми глазами, словно очарованный, после чего чертил какие-то геометрические фигуры, но вскоре пожаловался, что не умеет рисовать. Термен решил помочь ему и отыскал "очень привлекательную девушку, молодую художницу", чтобы Эйнштейн мог перенести на бумагу свои задумки, вдохновленные советским инструментом. Но Эйнштейну этого было мало. Теперь ему недоставало пространства, и он развесил по всей комнате свои исследования геометрии звука. Термену это не нравилось.

— У Эйнштейна, — доложил он сотруднику консульства, — нет слуха, чтобы достаточно хорошо играть, его интересует только теория. Он не физик, он — теолог.

Решение было найдено моментально. Надоедливому теологу и его привлекательной ассистентке нашли помещение в доме знакомого Термена, служащего консульства, который, по воле случая, как раз в это время отправился в длительную поездку. Термен в интервью 1989 года заявит, что ему, как изобретателю и практику, гораздо ближе был Владимир Ильич, а не Эйнштейн.

Вряд ли можно точно сказать, в какой момент Катю начали одолевать тревожные мысли. Возникли ли сначала какие-то сомнения, или все стало ясно, когда ей без обиняков посоветовали убраться подальше? Официально было заявлено, что она не хочет целыми днями сидеть дома, — а на самом де-

ле (об этом она не сказала, по крайней мере, тогда) она больше не могла выносить печальные звуки терменвокса и наблюдать за вереницей важных гостей, этих Варезов, Стоковских, Эйнштейнов, этих наивных придурков, толпящихся вокруг коробки с антеннами, пока их с бокалами вина и паштетом из брансвикских омаров оценивающе рассматривают агенты неких непонятных служб, переодетые в русских аристократов в изгнании, — и она записалась в медицинский колледж в каких-то шестидесяти километрах от города и поселилась в студенческом общежитии.

Поначалу Катя приезжала в Нью-Йорк раз или два в неделю, потом эти визиты стали более редкими. Однажды без всякой предварительной договоренности в дверях дома Термена появился неизвестный молодой человек и сказал, что должен поговорить с ним "как мужчина с мужчиной". У него с Екатериной Константиновной, сказал он, сложились отношения, которые могли бы перерасти в брак, если Термен согласится на развод. Термен заявил, что в принципе развод возможен, потому что "мы в Советском Союзе свободные люди", но окончательное решение он примет только после разговора с Катей. Он пробует созвониться с ней по телефону, но все попытки Льва Сергеевича не увенчались успехом. Три дня спустя драма, которая начиналась как рассказ об измене — видимо, ее таинственным постановщикам такая версия показалась недостаточно убедительной — приобретает новое звучание, на этот раз с политическим оттенком. Сотрудник консульства демонстрирует Льву Сергеевичу статью в газете, которую издавали нью-йоркские фашисты. В ней сообщалось: "Супруга Льва Термена вступила в нашу организацию и оказывает нам полную поддержку. Ее муж решительно отказывается финансировать супругу, потому что он — еврей". Сотрудник недоуменно покачал головой:

— Мы знаем, что вы не еврей, это проверено, но это, это — недопустимо!

Термену посоветовали срочно развестись. Единственное условие, которое он осмелился выдвинуть, — разговор с Катей. Разговор оказался коротким и неприятным.

— У меня есть там кое-какие приятели, — сказала она, — но я никогда не вступала в их организацию.

Позже Термен заявил, что не поверил ей. Он так и не пояснил, чему именно не поверил — тому, что она дружила с фашистами или что не вступала в их организацию. Впрочем, это было делом второстепенным, поскольку в консульстве все уже было готово для оформления развода. Катино присутствие было не только необязательным, но и нежелательным. Офи-

циальные бумаги положили на стол перед Терменом, хотя было ясно, что вопрос решен окончательно и бесповоротно: ему оставалось только подписать их, что он и сделал.

Человеку его склада, практику, прочно стоящему обеими ногами на земле и считающему, что Ленин ему гораздо ближе, чем Эйнштейн, все эти необоснованные предположения относительно Кати казались, по меньшей мере, странными. Тем не менее не исключено, что Лев Сергеевич отдавал себе отчет в сложившейся обстановке. Пожалуй, даже можно сказать, что человек технического склада, вроде него, не мог не догадаться, что в известном смысле сам стал неким инструментом, эдаким терменвоксом, эфирофоном, коробкой с торчащими из нее антеннами, которая поет так, как велят ей ладони московского дирижера. Пришедшее к нему в виде кошмарных предчувствий осознание, что посольские служащие, которых он считал друзьями и товарищами по борьбе, на поддержку которых он рассчитывал, руководят его жизнью теперь уже совершенно открыто, понимание, что он, совсем как антенна терменвокса, оказался в поле сил, которые не в состоянии контролировать сам, привело его (потому что человек, несмотря ни на что, все-таки не машина) на грань отчаяния. От смертельного прыжка в пропасть его удерживала только мысль, что это обернется неприятностями для Кати или ее брата. Выход он нашел: с головой ушел в работу. Надо было сконструировать что-то новое, лучшее, более совершенное, инструмент, который приспосабливается к движениям исполнителя, реагирует на все его тело и позволяет ему двигаться по сцене, инструмент, который не порабощает, а освобождает человека.

Он взялся за дело и вскоре сконструировал терпситон. Терпситон извлекал музыку из танца, используя движения танцора для модуляции электромагнитных полей, меняя тем самым частоты воспроизводимых звуков. Одна из комнат его нью-йоркского дома превратилась в танцевальный зал, и Лев Сергеевич днями напролет наблюдал движения балерин и танцоров, совершенствуя реакции терпситона, регулируя его модуляторы, превращая инструмент как бы в продолжение их тел или же в эфирное существо, у которого руками служат силовые линии, и они непрестанно касаются кожи, груди, крепких бедер молодой красивой гаитянки Лавинии Вильямс, темнокожей богини танца, будущей супруги Термена.

В консульстве брак получил полную поддержку.

— Лавиния, говорите? Конечно, конечно. Лев и Лавиния — звучит, как бы это сказать, немного... Вам это не мешает? Впрочем, шутки в сторону. Эта женщина создана для вас.

Молодая, здоровая, не якшается с сомнительными организациями, помогает вам работать.

Рукопожатие, поздравления. Необыкновенная легкость, с которой было получено разрешение, несложно объяснить той цепочкой событий, которые произошли в тысяче километров восточнее. Лавиния была вне всего. Черный конь, окруженный белыми шахматными фигурами.

С этого момента рассказ о Термене, и так не очень внятный и невероятный, раздваивается на противоречащие друг другу версии. По одной из них, однажды весенним вечером 1938 года, когда Лавиния в танцзале занималась под гаитянскую музыку, которую она включала на полную громкость, двое мужчин ворвались в дом и приказали Термену следовать за ними. Никогда прежде он не встречал таких суровых лиц; физиономии, лишенные даже намека на сочувствие, взгляд, не ведающий пощады, вряд ли он хоть когда-нибудь сможет на нее рассчитывать. Его протесты, требования встретиться с сотрудниками консульства, просьбы разрешить собрать необходимые вещи, записи и чертежи, а также попрощаться с женой, отклика не нашли.

— Обезьянам место на пальме, — ответил один из типов, — а не в Советском Союзе.

Термену вдруг захотелось спросить его имя и звание: "Знаешь ли ты, товарищ, с кем ты имеешь дело? Мне Ленин руку жал!", однако он не сказал ничего, потому что знал — теперь это ровным счетом ничего не значит: к счастью, понимание того, что теория это одно, а практика — несколько другое, не оставило его.

— Пошли! — сказал он, и это с достоинством произнесенное слово уберегло его от побоев и унижения, о которых он тогда, на Пятьдесят четвертой улице Западной стороны, номер 37, еще не имел никакого представления. Его отвезли в какое-то здание на окраине. Короткая беседа с новым сотрудником консульства успокоила его, потому что ему пообещали — в это обещание он поверил только потому, что очень хотелось верить, — что Лавиния сразу же приедет к нему, как только будут выполнены формальности, связанные с выдачей визы.

По другой версии, принадлежащей самому Термену и отличающейся от первой деталями, но только не эпилогом того бурного вечера, Термен будто бы сам захотел уехать, тем более что какое-то время назад он просил Москву отозвать его, "вернуть на базу". Близилось начало новой войны, немецкие войска готовились к походу, цель которого была ясна каждому, и Термен счел, что на родине он сможет принести

больше пользы. Единственное, о чем он просил, — выдать Лавинии визу, но тут, по словам Термена, "дело застопорилось". Ну и финал обеих версий одинаков: он больше никогда ее не увидел.

Так или иначе, похищенный или уехавший по свой воле, Термен оказался в Москве. Его версия выглядит несколько сомнительной, потому как сразу после возвращения он был обвинен в антисоветской деятельности. После привычно скорого суда его направили в сибирский лагерь под Магаданом. На Западе распространялись слухи о его казни, и даже в наши дни можно встретить музыкальные энциклопедии, в которых, в зависимости от года издания, значится, что создатель терменвокса был расстрелян в 1938-м, 1942-м или в 1945 году.

История Льва Сергеевича Термена убедительно свидетельствует о недостоверности исторических документов, подвергнутых пересмотру и манипуляциям, документов, повествующих о судьбах людей. Так или иначе он провел в лагере два года, выдержал два ужасающих следствия, услышал известие о собственной смерти, после чего оказался в лаборатории Министерства внутренних дел под непосредственным надзором органов безопасности. Будучи заключенным этого "научного института", он разделил судьбу Королева и Туполева (с последним его позже перебросили в "авиационный институт"). Ему было приказано забыть о музыкальных инструментах и заняться средствами установки радиопомех и прослушивания эфира. После года поисков и успешного выполнения задания Термен принял участие в операции по внедрению своих устройств в здание американского посольства и приборов, обеспечивающих электронную защиту, в помещения, где работал Сталин. Эти заслуги не остались незамеченными, и в 1947 году он становится лауреатом Сталинской премии первой степени, что означало сто тысяч рублей и перевод на "гражданскую" службу.

В конце шестидесятых Термену позволили уйти на пенсию. В Московской консерватории ему выделили небольшую лабораторию, в которой он мог продолжить работу над новыми музыкальными инструментами. Термен мечтал, что сможет, наконец, посвятить себя исследованиям, от которых был жестоко оторван, — он намеревался усовершенствовать терпситон. Но вот ведь есть же люди невезучие! В то время электронная музыка на Западе была в большой моде. Моуг и Хаммонд развили идеи Термена — каждый в своем направлении — и завоевали рынок, но серьезные композиторы, да и сочинители популярной музыки, продолжали экспериментировать с терменвоксом. Звук этого необычного инструмента,

который стал известен на Западе под именем “теремин” (в соответствии с английским произношением французской транскрипции имени изобретателя — Theremin), преследовал и очаровывал всякого, кто имел возможность услышать саундтрек “Птиц” Хичкока, хит группы “Beach Boys” “Good Vibrations” и в одной из песен самих “The Beatles”. Между тем Москва в то время кишмя кишела шпионами. Они прибывали в нее с дипломатическими паспортами, с журналистскими аккредитациями, в составе делегаций промышленников из Швеции и Югославии. И если бы не предпринятые особые меры безопасности, то кто-нибудь из них обязательно докопался бы до истоков.

Журналист из “Нью-Йорк таймс” явился в консерваторию и потребовал от ее ректора Свешникова разрешения на интервью с Терменом. Свешников какое-то время сопротивлялся, тянул время, ожидая решения куратора из госбезопасности. Говорят, для актеров, участвующих в пьесе, страшнее всего в таких ситуациях остаться без инструкций режиссера. Рекомендацией, полученной Свешниковым с самого верха, воспользоваться было невозможно: “Поступай, как знаешь, Термен — твоя проблема”. Свешников решает, что “для тех, наверху”, Термен больше ничего не значит. Семидесятилетний старик, забавляющийся какими-то антеннами, — кто на такого клюнет? И он решил позволить американскому репортеру взять у него интервью.

Известие о том, что Термен жив и здоров, да еще и работает над новыми инструментами, стало настоящей сенсацией. Приглашения нанести визит, предложения оформить патенты, письма от Лавинии Вильямс — все это, словно выплески грязевого вулкана, оказалось на столе Нужина, секретаря Свешникова. Свешникова через несколько дней сняли с должности: Что же касается Термена, то Нужину было сказано то же, что и его предшественнику: поступай, как знаешь. Наделенный интеллектом, о котором и сам он был невысокого мнения, Нужин, тем не менее, приходит к естественному и единственно верному выводу: Термена надо устранить. После небольшой подготовки Нужин приходит в лабораторию Термена, бросает на стол экземпляр “Нью-Йорк таймс”, орет, что это — скандал, задает какие-то вопросы, не требуя на них ответа, потому что Нужин в этот день наконец-то — и с огромным воодушевлением — сыграл роль в спектакле, об участии в котором он тщетно мечтал всю свою жизнь. Термен, который по собственному богатому опыту знал, что оперные певцы должны делать паузу, чтобы набрать в легкие воздуха, успевает произнести что-то об общественно-полити-

ческом значении инноваций в музыкальной сфере, о важности связи искусства и электричества — эту литургию он произносил еще при жизни Ленина, упорно повторял в лагерях следователям, произносил перед кураторами в институте, и вот — остался в живых, но Нужин быстро обретает новое дыхание и выкрикивает единственную фразу, с которой он войдет в историю: “Электричество музыке ни к чему, оно годится для электрического стула”.

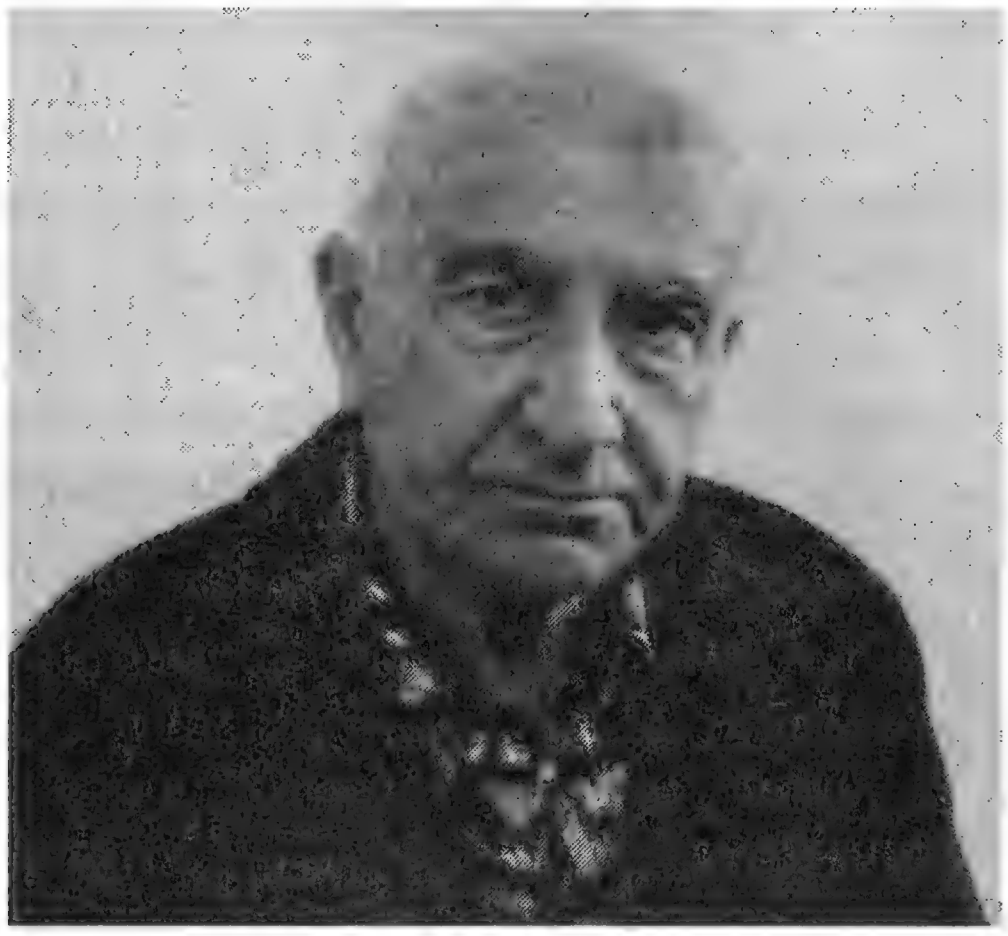
Тем не менее пришлось подождать еще пару десятков лет, — время, в котором отсутствуют какие-либо документальные свидетельства о Термене, — чтобы слова Нужина стали частью архива. Они явились миру во Франции, в 1989 году, в последнем интервью Термена, почетного гостя фестиваля электронной музыки в городе Бурж. Забытый, но все еще осторожный, по понятным причинам не доверяющий обещаниям, данным во время очередной перестройки (сколько их он пережил на своем веку!), Термен производил впечатление усталого старика, который обращается с последней просьбой по единственно возможному адресу, к той “весьма важной организации”, к единственному Богу, существование которого он мог доказать, потому что тот своими непредсказуемыми действиями определял его судьбу:

— Я хочу только одного — чтобы мне разрешили... естественно, с благословения Советского правительства... продемонстрировать миру свои инструменты.

Спустя два года, совсем как в ветхозаветной притче об Иове, молитва была услышана, и Термен вновь отправляется в Америку. Он читает свою последнюю лекцию в Беркли. По окончании ему показывают лабораторию электронной музыки. Студенты смотрят на него так, как физики смотрели бы на Эйнштейна: таращатся со смесью неверия и уважения, как будто увидели привидение. Он умер, если можно доверять этим сведениям, в 1993 году в Москве.

(Лавиния Вильямс после известия о расстреле Термена оставила Нью-Йорк и открыла балетную школу на Гаити, в Порт-о-Пренсе. Копии эскизов Эйнштейна каким-то чудом оказались в Москве; в конце XX века анонимный коллекционер продал их в Лондоне на аукционе за семизначную сумму в долларах.)

Александар Тишма



Величайший знаток в мире

Перевод Василия Соколова

С величайшим знатоком в мире я познакомился во время поездки в Цюрих, в спортивном клубе “Лиммат”, названном в честь местной реки и со временем превращенном в многолюдную ночлежку. Собственно говоря, той весной 1957 года, через несколько месяцев после будапештского восстания, все гостиницы в Цюрихе, кроме самых дорогих, были забиты венгерскими беженцами, и власть предержащие открыли дополнительные ночлежки для них и других непредвиденных путешественников.

В ночлежке “Лиммат”, куда с соответствующими сожалениями направило меня туристическое бюро, иностранцев размещали в бывшем большом спортзале, разделенном по этому случаю дощатыми перегородками на мужское и женское отделения, которые, в свою очередь, были поделены серыми листами фанеры на боксы, призванные изображать изолированные комнаты. Между тем стенки боксов не доставали до потолка, а общие умывальники располагались с обеих сторон этих боксов, так что в оставшемся свободном про-

© Александар Тишма, 2006
© Василий Соколов. Перевод, 2015

странстве, напоминающем коридоры, постоянно толклись мужчины и женщины, перекликающиеся и стучащие в низкие стенки, отчего создавалось впечатление беспорядка и перенаселенности.

Я прибыл туда вечером, усталый и мрачный дежурный провел меня по правому коридору, в который выходили из отсеков и умывальников голые по пояс молодые люди с полотенцами, наброшенными на плечи; предварительно небрежно постучав в дверь, он впустил меня в один из крайних боксов, в котором вдоль стен тесно выстроились шесть кроватей. На двух слева играла в карты босоногая компания молодых венгров в пижамах; справа, в глубине бокса, под одеялом, аккуратно натянутым до подмышек, под костюмом, висящим на плечиках, лежал в белой рубашке старик: величайший знаток в мире.

Тогда я еще не знал, что это он и был; я только увидел — и не мог не увидеть, потому что дежурный указал мне на соседнюю с ним кровать; он так контрастировал с веселой молодежной компанией, потому что был очень старый, совсем седой, плешивый, бледный, с ввалившимися щеками и шишковатыми старческими пятнистыми руками, пальцы которых рассеянно теребили краешек одеяла. Я осторожно поздоровался только с ним на официально принятом здесь немецком языке, потому как молодежь не обратила на меня ни малейшего внимания, и он тут же живо откликнулся, кивнув головой, и тоже по-немецки, скрипучим старческим голосом, но с идеально чистым произношением. Потом он смотрел своими провалившимися светло-голубыми глазами на то, как я раскладываю свои пожитки на кровати и рядом с ней, и как только заметил, что я завершил свои первые хлопоты, завел разговор. Спросил, откуда я родом и чем занимаюсь, воспринимая ответы с очевидным интересом; ухватившись за край кровати, повернулся на бок и, подперев голову подушкой, объявил, что я наверняка знаком с известным господином Рихардом Шварцем, который тоже югослав, опубликовавший в свое время монографию о Бетховене. Я ответил, что, к сожалению, не знаю упомянутого господина, но тут же торопливо добавил, что издательство, в котором работаю, опубликовало другую книгу о Бетховене, перевод известной работы Ромена Роллана. В ответ на это он махнул рукой, объявив, что книга Роллана, конечно, хороша, потому что тот любил великого музыканта, но она устарела с появлением новых фактов; сразу после этого он признался, что и сам более четырех десятков лет работает над книгой о Бетховене, потому и в Цюрих его привели поиски новых до-

кументов; да только вот неожиданная болезнь — сердечный приступ, случившийся две недели тому назад, — свалила его с ног и вынудила временно остановиться в этом гостеприимном пристанище. Похоже, долгий монолог, произнесенный с некоторой горячностью, стоил ему больших усилий, и потому он посреди фразы закашлялся; лицо его покраснело, дыхание стало коротким и быстрым, так что ему пришлось откинуться назад. Я заметил, как он побледнел, а на висках и на лбу выступили капли нездорового пота. Дрожащей рукой он нашарил под подушкой платок, вытер им лицо, что его явно утомило; он закрыл глаза и долго лежал неподвижно, шумно дыша и время от времени хрипло откашливаясь, коротко и машинально стеная и слабо всхлипывая, словно перед смертью.

Все-таки постепенно он пришел в себя, дыхание замедлилось и сделалось тише, и я, почувствовав облегчение, подумал, что он заснет. Но этого не произошло. Молодые люди на соседних кроватях беззаботно шлепали картами, перебрасываясь специфическими репликами и дурачась, да и во всех соседних боксах переговаривались, перекрикивались, пересмеивались, откашливались, так что задремавший было старик вздрагивал то от этого шума, то от громких разговоров, чавкал запавшими губами, вытирал платочком пот со лба, а когда двери нашего блока с треском распахнулись и в них нарисовался высокий головастый парень в джинсах, он совсем пришел в себя и широко открыл свои светлые васильковые глаза. Я разозлился на наглеца и даже приготовился, надеясь получить поддержку старика, наказать его суровым взглядом, но с удивлением заметил, что он смотрит на парня с незамутненным, почти что детским любопытством; приветствие парня, иронически обращенное ко всему обществу, он воспринял с любезной улыбкой, а поскольку новичок свалился на кровать подальше от прочих, он сам обратился к нему. Расспрашивал его, повторяя и упрощая фразы — потому что юноша весьма плохо владел немецким, — интересуясь, где тот побывал в течение дня, одобрительно кивал, выслушивая ответы, обращал его внимание на достопримечательности, которые стоило посмотреть, и так до тех пор, пока новый приступ кашля не заставил его успокоиться и прикрыть глаза. Я понял, что имею дело с весьма упрямым умирающим.

Это подтвердилось в ходе нашего дальнейшего короткого знакомства. Короткого не только по срокам моего пребывания в Цюрихе — всего два дня, — но в первую очередь из-за времени, которое я проводил в этой шумной и малопривле-

кательной ночлежке на окраине абсолютно чуждого, но все же вызывающего у меня интерес города, где у меня были определенные дела. Тем же вечером я вышел прогуляться по незнакомым улицам и наткнулся на озеро, окруженное тысячами огней на невидимых окрестных холмах, оно настолько очаровало меня своей тишиной, что я долго оттуда не уходил. Когда я, наконец, вернулся в клуб, лампочки на потолке зала едва светились, я же так устал, что хотел всего лишь нащупать кровать, раздеться и погрузиться в сон. Утром я опять поспешил захватить место в общей умывальной и как можно скорее раствориться в солнечном дне, свет которого мощно заливал спортзал, так что только мельком глянул на старика, лежащего на своей кровати с закрытыми глазами то ли после беспокойно проведенной ночи, то ли защищающегося таким образом от царящей суеты.

Но зато после обеда, когда я вернулся в клуб и появился в своем боксе, чтобы отдохнуть, наше общение неминуемо продолжилось. Постояльцы в это время пребывали, в основном, на работе или в ее поисках; проходы вдоль боксов пустовали; в нашем отсеке старик лежал в одиночестве, уже готовый к беседе, поскольку наступивший покой, казалось, пошел ему на пользу. Едва я вошел, он спросил меня, точно как накануне того головастого, хорошо ли я провел время в городе; когда я ответил ему, что был в издательстве, и на его вопрос сообщил, что речь идет о фирме “Manesse”[1], он моментально, без малейших усилий, приподнялся на локтях, вытянул морщинистую шею, покрутил помятой головой, на которой словно белый гребешок торчали давно нестриженные волосы, и, подняв белоснежные брови над запавшими глазами аж до середины лба, воскликнул:

— “Manesse”! Так ведь это замечательный издатель, мой господин! Кажется, совсем недавно я наткнулся на одну очень интересную книгу в библиографии “Manesse”. Да-да, именно в “Manesse”, я уверен.

Тут он повернулся на бок и, вытянув руки, принялся копаться в стопке журналов и газет, что лежали на стуле у его изголовья, вытаскивая из нее отдельные экземпляры и возвращая их на место, хватая другие, перекладывая целые пачки на одеяло, чтобы половчее углубиться в них, так что вскоре оказался усыпанным пыльной пожелтевшей бумагой. Я поднялся со своей кровати, чтобы помочь ему, хотя не видел никакого смысла в этих действиях; спросил, что

1. Швейцарский издательский дом. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

именно он разыскивает, и он ответил, что “Züricher Zeitung” десяти- или двенадцатидневной давности, и мы совместно продолжили поиски, снимая с верхушки стопки газету и откладывая ее в сторону, при этом произнося вслух заголовки и дату. Меня удивило, каких тут только изданий не было: два-три швейцарских, по меньшей мере пять немецких, отдельные номера “Arts”, “Times Literary Supplement”, вышедшие в разные месяцы, прошлогодние, сваленные в беспорядке в одну кучу. Но оказалось, что это еще не все; старик нетерпеливо, очевидно воодушевленный моей готовностью помочь, велел мне заглянуть под кровать, где я, помимо небольшого матерчатого чемодана, обнаружил еще одну пачку газет и журналов, которую предстояло извлечь на белый свет. В этой припрятанной заначке мы, наконец, нашли “Züricher Zeitung”, дата которой примерно совпадала с объявленной им; установив это, он издал победный вопль; лихорадочно кашляя, дрожащими руками развернул газету и, тыча сухим искривленным указательным пальцем с давно нестриженным синеватым ногтем в одну из последних страниц, указал на строки, подчеркнутые красным карандашом:

— Вот оно! Ну, разве не говорил я вам? Я знал! Я знал!

Это была набранная мелким шрифтом библиография, в которой господин Унгер — такова была фамилия старика — подчеркнул все интересующие его названия, среди них оказалось одно издание цюрихского “Manesse Verlag”, какая-то “Geschichte der Musik des Barocks” или же “Musikgeschichte des Barocks”[1] автора, имя которого я, прочитав, тут же забыл.

Но он продолжил рассуждать о книге цюрихского издательства, подчеркивая, что автор — известный в мире знаток музыки, особенно музыки Бетховена; в качестве доказательства он назвал три или четыре его ранние книги, которые он читал, изучил и сделал несколько весьма полезных выписок; да только, добавил он с сожалением, их у него под рукой нет, они с прочими материалами остались в небольшой частной гостинице, где у него прямо во время работы случился сердечный приступ, так что ему пришлось оставить эту гостиницу из-за дороговизны пансиона, потому что он первоначально рассчитывал пробыть в Швейцарии всего несколько дней — по пути в Милан — где намеревался исследовать го-

1. “История музыки эпохи барокко” (*нем.*).

родской архив. А из Милана он отправится в Англию, где его ждет никогда не публиковавшийся материал. Только надо поправиться и дождаться ежемесячной стипендии Бетховенского фонда, которая где-то застряла, видимо, из-за перемены адреса.

И тут его монолог прервал неожиданный визит, который позволил мне заглянуть в личную жизнь господина Унгера. Кто-то осторожно постучал в двери, и, когда мы оба пробормотали "Войдите", в них бочком, скользя, осторожно шагая, вошла румяная, кругленькая, совершенно седая старушка в опрятном черном платье, неся на вытянутых руках, словно на подносе, выглаженную и аккуратно сложенную белую мужскую рубашку.

– Добрый день, Альберт, – прощебетала она на таком же правильном немецком, которым отличался Унгер. – Как ты себя чувствуешь?

Старик посмотрел на нее с недоумением, будто не совсем понимая, откуда она тут появилась, и только потом небрежно ответил:

– Хорошо себя чувствую, совсем хорошо, – и опять повернулся ко мне, продолжая свой рассказ про архивы, издателей, фонды, рассказ, который создавал впечатление, будто все эти учреждения существуют единственно для того, чтобы обеспечить появление шедевра, то есть его монографии о Бетховене. На самом деле все и должно было бы быть именно так, уверял меня господин Унгер, воинственно надув опавшие щеки и взъерошив седые брови. Однако в действительности издатели его торопят, фонды шантажируют, требуя, чтобы он немедленно начал работу над заявленной книгой, угрожая в противном случае расторгнуть договор и прекратить выплачивать ежемесячную стипендию.

– Но я сказал этим господам, – воскликнул он, пригрозив сжатым кулачком, – что не стану их послушным орудием, я им не кто-нибудь, а лучший знаток материалов о Бетховене и, если они хотят обстоятельную, солидную книгу, тогда должны ждать, пока я не завершу до конца исследовательскую работу.

Тут дыхание у него опять перехватило, он закашлялся, после чего повторилось вчерашнее: он упал навзничь, широко раскрыл беззубый рот, чтобы ухватить побольше воздуха, и прикрыл усталые глаза, так и не сообщив, согласились ли господа с его требованиями или нет.

Старая дама с озабоченным видом следила за монологом Унгера, все еще стоя в дверях, держа выглаженную рубашку, а когда он преодолел приступ кашля, подошла к больному,

мелко перебирая ногами, положила рубашку на стопку газет, лежащую на стуле, и наклонилась к изголовью.

— Вот и хорошо, — пробормотала она и покорно-жалостливо зацокала языком, не переставая твердить свое "Вот и хорошо" и, продолжая озабоченно цокать, принялась за мелкие самаритянские дела. Поискала и нашла под подушкой платок, утерла больному лоб и шею, ласково подсунула ладонь под его птичью голову, приподняла ее, взбила подушку и расправила одеяло. Потом долго стояла над ним, скрестив руки на круглом животе, терпеливо ожидая, когда его дыхание успокоится. После чего спросила:

— Может, водички?

Старик, не открывая глаз, кивнул головой.

— Ты лекарства принял?

Он точно так же кивнул головой.

— Может, пойдешь прогуляться?

Он отрицательно помотал головой.

— А съесть чего-нибудь?

Ответ был тот же.

— Но ты ведь не обедал, Альберт! — Он вообще не ответил. — Давай подогрею тебе молока?

Опять помотал головой. Она продолжала стоять над ним долго, молча, будто раздумывая над тем, что бы ему еще предложить.

— Хочешь, я тебе куплю в городе чего-нибудь свеженького? Или сварю супчик из пакета?

На этот раз старик широко открыл глаза и ответил резко, безапелляционно:

— Оставь меня в покое, мне ничего не надо!

Она озабоченно покачала головой.

— Но ведь тебе надо хоть что-то поесть, — она повернулась ко мне и продолжила: — Вот видите, так все время, с тех пор как оказались здесь. Ничего не ест, а врач сказал — главное, чтобы набрался сил.

И, похоже, приободренная моим сочувственным молчанием, опять обратилась к нему:

— Альберт, ты должен сегодня поесть, ты ведь знаешь, что велел врач.

То ли его смягчило повторное упоминание доктора, то ли решив отвязаться от нее, он уже примирительно пробормотал:

— Ладно, давай супчик. Но попозже. А теперь оставь меня в покое.

Он смотрел на нее злобно и нетерпеливо своими сверлящими васильковыми глазами оттуда, с подушки, на которой

его лицо казалось белее полотна, и мне стало неловко, стыдно за него из-за такой беспричинной грубости. Старушка между тем сохраняла спокойствие, готовая немедленно прийти ему на помощь, терпеливая заботливая улыбка была словно приклеена к ее полному, пышущему здоровьем лицу.

— Хорошо, хорошо, — без тени досады, спокойно ответила она. — Только переодень рубашку. Я ее постирала и погладила.

Потом опять повернулась ко мне и объяснила, пожаловавшись без возмущения, как всякая домохозяйка, исправно выполняющая свои обязанности:

— Здесь так плохо с бельем. Горячей воды нет, а в боксах нет плиток. Согреть и сварить хоть что-то можно только на вахте, а тамошние служащие, — она улыбнулась, — не всегда идут навстречу.

Я постарался заверить ее, что понимаю, все это неприятно, после чего поднялся, чтобы не наблюдать тяжкую картину переодевания старика, и распрощался. Господина Унгера огорчило мое желание уйти.

— Неужели пора? — он опять приподнялся на локтях с испуганным выражением лица. — Ах, да! Вы ведь еще не все посмотрели в Цюрихе. Ни в коем случае не пропустите Музей государственного архива, там вы найдете уникальные экспонаты.

Он дружелюбно махнул мне вслед, без толики недавнего раздражения, которое, почувствовал я, немедленно, как только я выйду, обрушится на симпатичную старушку.

В тот вечер я опять поздно вернулся на ночлег — после театра задержáлся, прогуливаясь по набережным Лиммата, так что в клуб “Лиммат ”, освещенный только снаружи, я вошел на цыпочках, чтобы никого не разбудить. Однако применительно к нашему боксу такая предусмотрительность оказалась излишней. Двери в него были приоткрыты, и, тихонько войдя, я обнаружил, что пространство бокса освещено лучом света карманного фонарика, который вырывал из полумрака бодрствующие лица постояльцев. Я остановился и увидел, что луч света направлен на стул у кровати Унгера, в открытую медицинскую сумку, стоящую на стопке газет, и в сумке, согнувшись, рылся незнакомый мне человек в халате — очевидно, доктор, — а между этой сумкой и моей кроватью стояла с фонариком в руках старушка. Я подошел ближе, и скорее взглядом, чем голосом, спросил, что происходит; она объяснила мне шепотом, гораздо спокойнее, чем я ожидал:

— Альберту плохо, ему сделáли укол.

Тут доктор выпрямился, и я на мгновение увидел в луче фонаря заострившееся лицо Унгера, который, как мне показалось, крепко зажмурил глаза, а потом заметил и его полуоткрытый беззубый рот, услышал его хриплое дыхание. Я растерялся и не знал, что предпринять, потому что помочь ничем не мог и только мешал всем в этой переполненной комнатенке. Однако в комнатенке ничего не происходило: доктор стоял у кровати, повернувшись к больному, Унгер тяжело дышал, а его жена — теперь не было никакого сомнения, что это именно она, — терпеливо держала фонарик, сложив руки на круглом животике. Мои же соседи ворочались на своих койках, поднимали с подушек головы, после чего вновь опускали их, натягивая на лица одеяла; глядя на них, я вдруг почувствовал себя усталым и не выспавшимся и потому решил: нет смысла искушать себя бесполезной жертвенностью, и мне остается только одно — залезть под одеяло и попытаться уснуть. Я так и поступил, неслышно раздевшись за спиной старой госпожи, прикрывавшей от меня свет фонарика своим телом. Потом еще некоторое время наблюдал в полусне движение у кровати старика, а когда услышал глубокий голос доктора, удовлетворенно констатировавшего “Он уснул!”, повернулся на другой бок и закрыл глаза.

Утром я проснулся поздно; в освещенном солнцем боксе был только огромный венгр, разбиравший вещи в своем рюкзаке, а когда я перевел взгляд на кровать господина Унгера, то увидел, что она была разобрана и пуста. Умер, подумал я с ужасом, который окончательно вывел меня из полусонного состояния; но, расспросив венгра, узнал, что, напротив, старику утром стало лучше и что жена вывела его в туалет либо в умывальню. И в самом деле, на гвоздике я увидел только голые деревянные плечики, без костюма, который раньше висел на них. Я встал и вышел, чтобы привести себя в порядок, но не встретил в общих помещениях ни старика, ни старушку — может быть, они перебрались в ее, женское отделение, — а когда вернулся в свой бокс за плащом, то застал кровать Унгера все в том же беспорядке. Я распрощался с венгром, который теперь лежал на кровати, читая газету, и вышел.

После обеда я опять вернулся в “Лиммат ”, потому как вечером мне предстояло отправиться поездом дальше, в Базель. Как всегда, уезжая откуда-либо, я ощутил легкую печаль расставания, которая показалась мне вполне объяснимой, несмотря на некоторые неприятности, с которыми я здесь столкнулся. На фоне этой печали даже мое временное пребывание в бывшем спортзале представля-

лось теперь не таким уж удручающим и дежурный, с которым я рассчитывался, не таким уж мрачным, а в самом моем боксе господин Унгер, которого я, вернувшись за вещами, застал в одиночестве, на его прежней кровати, показался мне более близким и более симпатичным, чем прежде. Впрочем, ему минувшей ночью было так худо, что я с легкостью простил ему эгоизм, даже грубость, с какой он накануне ответил — не мне, а соседу, — так что я искренне поинтересовался его здоровьем. Он сказал, что ему уже хорошо, что вчерашний приступ — следствие его хронического заболевания или желудочной колики и что не следует принимать это всерьез; но я не мог не заметить, насколько этот инцидент изменил его: еще глубже провалились его пергаментные белые щеки и виски, глаза запали в орбиты, голос надломился. Я, конечно же, сделал вид, что все в порядке, заявив, что выглядит он прекрасно; но он прервал мою тираду, нетерпеливо отмахнувшись рукой.

— Утром я вас не видел, — он поспешил сменить тему. — Но я все же попросил жену, чтобы она нашла то, что вас наверняка как издателя заинтересует.

Он попытался повернуться на бок, но только бессильно откинулся на подушку, указав мне рукой на пачку газет и журналов, которые и в этот раз разместились на стуле у кровати.

— Вон тот голубой конверт, в нем вы все найдете.

Сверху, на пачке, действительно лежал большой, битком набитый голубой конверт, потрепанный и засаленный от многих прикосновений.

— Открывайте, не стесняйтесь, — приободрил меня Унгер, но, когда я, взяв конверт, присел на свою кровать, чтобы рассмотреть его содержимое, он вырвал его из моих рук и сам принялся дрожащими костлявыми пальцами вытаскивать содержимое.

— Смотрите, — произнес он, — исключительно одни оригиналы, документы о Бетховене и его окружении, известные только мне.

Он перебирал листы и листочки, согнутые и расправленные, чистые и запачканные, пока не остановился на одном.

— Вы вспоминали Ромена Роллана; вот одна его открытка, — и протянул мне обыкновенную серую почтовую карточку, на которой отчетливо были видны буквы, написанные выцветшими от времени чернилами; текст начинался со слов “Уважаемый господин Унгер”, и далее некто сообщал на французском, что письмо госпожи фон Штернберг, адресованное Бетховену, которым интересуется уважаемый господин доктор, находится в частной коллекции в Брюсселе, у

такого-то и такого-то господина, после чего была указана улица, и номер дома. В конце стояла приписка: “Примите мои самые искренние, добрые пожелания, Ромен Роллан”. Написано было отчетливым почерком, так что я не усомнился бы в подлинности текста, даже если бы и не знал о пристрастиях знаменитого писателя к архивам. Но Унгер не позволил мне налюбоваться драгоценным документом, отобрал у меня открытку, отложил ее в сторону и продолжил перебирать бумаги.

— Вы наверняка знаете Стефана Цвейга. Вот его письмо ко мне по поводу якобы подлинного портрета Элизы. Вот его четыре письма о создании “Крейцеровой сонаты”. А вот исключительно важное письмо от Прюдома, лучшего знатока Бетховена во Франции...

Он перебирал письма, время от времени передавая их мне и тут же отбирая, чтобы всучить следующее или прочитать какой-нибудь отрывок из письма, разъяснив его значение, — все быстрее, все увлеченнее, пока — не слишком неожиданно для меня — монолог не прервался приступом сухого кашля, отбросившим его навзничь, на подушку.

Тогда я — пока тот привычно приходил в себя — собрал разбросанные по одеялу письма и скопом засунул их опять в конверт: мне не хотелось самому читать их, без его надзора, боясь, что это расстроит старика. Впрочем, меня и в самом деле не особо интересовало их содержание. Меня удивил, прямо-таки поразил сам факт их существования, потому что он перевернул с ног на голову мое уже сложившееся впечатление о господине Унгере как о фанатике какого-то не ясного для меня бесконечного дела, как об архивном маньяке, который давно и навечно отвернулся от окружающей действительности. Эти письма, вновь упакованные в большой голубой конверт, демонстративно выложенный на кипу газет, говорили о какой-то совсем другой деятельности, об обширных связях, о многолетней систематической работе, которая превратила Унгера в настоящего знатока, может быть, на самом деле величайшего в своей области, что дает ему возможность и право написать самую полную книгу о Бетховене. И все же это новое впечатление опять-таки никак не согласовывалось с тем состоянием, в котором находился лежащий передо мной старик, изможденный, беспомощный, несомненно смертельно больной, рвущийся из этой ночлежки для бродяг в другие города, хотя вряд ли он надеялся когда-нибудь снова тронуться в путь. Мне показалось очень важным узнать именно сейчас, хватит ли у него на это сил, и потому я мол-

ча сидел, ожидая, когда прекратится очередной приступ, и, как только он опять открыл глаза, спросил:

— Господин Унгер, есть ли у вас что-нибудь готовое о Бетховене? Книга или какой-нибудь текст?

Он, все еще задыхаясь, с удивлением посмотрел на меня, приходя в себя от приступа, но почти тут же щеки у него надулись от подавляемой тщеславной усмешки:

— Конечно, есть, почему бы не быть? — отозвался он. — Там, внизу... в чемодане... — указал пальцем под кровать. — Вытащите его и поищите... на дне.

Я присел перед кроватью и рассмотрел под ней небольшой, обтянутый холстом чемодан, который еще вчера, наряду с пачкой газет и журналов, привлек мое внимание. Я вытащил его и открыл: он был набит бельем.

— На дне, — раздался над моей головой голос Унгера, и я увидел, как прямо перед моим носом нетерпеливо качался кривой указательный палец. Не без брезгливости я разгреб белье, и действительно, у самого днища чемодана мои пальцы нащупали старую, пожелтевшую газету. Я вытащил ее — показалось дно чемодана, оклеенное полосатой бумагой, — и протянул Унгеру.

— Это?

— Это, это, — сказал он и с торжественной неспешностью сложил руки на груди, словно отступая и оставляя поле битвы за мной. — Откройте на двенадцатой странице.

Я присел на свою кровать и развернул газету.

Это был старый, потрепанный экземпляр какой-то "Rheinländer Zeitung", датированной 1934 годом (месяц я уже позабыл), причем, судя по толщине, это был воскресный выпуск, о чем свидетельствовали и цветистые колонтитулы на полях. На двенадцатой странице, разукрашенной гирляндами из еловых лап, был один-единственный заголовок: "Бетховен в Веймаре". Я принялся за чтение статьи.

В ней говорилось о визите Бетховена в Веймар, и по этому случаю описывалось, как выглядел этот город во время пребывания в нем музыканта. Событие это было изложено с достаточно скрупулезной, утомительной дотошностью (целый абзац был занят перечислением выдающихся выпускников, окончивших тамошнюю гимназию на протяжении века), но биографические сведения о них никак не подтверждались ни фактами, ни документами, зато имя каждого из выпускников сопровождалось эпитетами: "замечательный", "великолепный", "одаренный" и т. д. Короче говоря, это было типичное воскресное приложение к типичной провинциальной газете, может быть, несколько наивнее тех, что

появляются нынче в нашем беспокойном мире: приложение, подходящее для того, чтобы в послеполуденный отдых обывателя внести нечто возвышенное. И под всем этим текстом жирным шрифтом было напечатано: д-р Альберт Унгер.

Я долго не решался закрыть газету и поднять на него глаза. Конечно же, я боялся, что он прочтет в них разочарование. И если это случится, как он перенесет его? Не отразится ли оно на нем, не сломит ли прямо здесь, передо мной, и мне придется разделить с ним осознание полной безнадежности? Но когда я совладал с боязнью, зафиксировал на лице фальшивую приветливую улыбку и посмотрел на него, то с удивлением понял, насколько нелепыми были мои опасения. Светящиеся и озаренные полным удовлетворением его васильковые глаза смотрели на меня с прозрачным сиянием, которое может родить только подлинное, глубинное знание.

Гордана Чирьянич

Эрогенная зона

Перевод Василия Соколова

У Йовы уже давно свербела левая голень, он даже расчесал ее почти до кости. Язва от этой чесотки появилась на ней не впервые, и он, в принципе, мог бы продержаться несколько дней, не расчесывая ее, чтобы рана затянулась сама по себе, но тут вдруг про его поведение сказали: “Дремучее невежество”.

— Господин инженер, — сказала ему старшая сестра, во время последней встречи заметившая, как он задумчиво, прямо через штанину джинсов, чешет ногу, после чего на правах родственницы взяла да и завернула брючину. — Ты свой псориаз лелеешь, как любимое домашнее животное.

Они отдыхали в креслах после воскресного обеда у матери. Он и не думал отнекиваться, просто его забавляла такая непосредственность — вроде взрослые люди, а она все еще обращается с ним, как с любимой куклой.

— До меня только сейчас дошло, — продолжила она, — а ведь я месяцами наблюдаю, как ты чешешься. Это у тебя словно нервный тик: стоит только расслабиться, и ты с удовольствием начинаешь расчесывать ногу. Ты свою голень превратил в эрогенную зону. Сходил бы к врачу, судя по всему, это у тебя что-то вроде псориаза.

© Гордана Ћирјанић, 2009
© Василий Соколов. Перевод, 2015

Он заставил сестру замолчать, пообещав, что непременно сходит, но тогда он еще не воспринял всерьез ее замечание, что пренебрежение собственным здоровьем и неосознанное удовольствие от почесывания свидетельствует о его дремучем невежестве. Откровенно говоря, эти ее слова, словно грязный носовой платок, забытый в кармане, оставались в памяти будто специально для того, чтобы в один прекрасный день явить себя в самый неподходящий момент.

Он уже четыре года не представал ни перед кем в голом виде — начиная со своего сорок второго года по нынешний сорок шестой, то есть в те годы, когда мужчина, считается, в самом расцвете сил. Нелегко было самому себе признаться в том, что сексуальные позывы возникали все реже: невоплощенные желания имеют обыкновение атрофироваться. Честно говоря, желания-то были, но чисто теоретического плана — не чувственные, а, скорее, просто фантазии — например, хорошо было бы влюбиться, жениться, создать семью. Прежде это все как-то не получалось, все как-то не складывалось: то корова, то ослица, то овца, то верблюдица. А тут вдруг появилась некая особа, пока еще только на дальних подступах, но о ней хотя бы можно было подумать, помечтать... Дело у них даже до поцелуя еще не дошло, но все-таки он был готов к неожиданному развитию событий. Однако стоило только ему взглянуть ее глазами на собственную голень, и он видел, как отвратительно расцвела его язва — крупные капли лимфы на покрасневшей кожице, едва скрывающей кость, а вокруг подсохшая шелуха. И в самом деле — дремучее невежество! И он решил отправиться к кожнику.

Когда вы в последний раз были в кожно-венерическом диспансере? Ничего с тех пор не изменилось. Йова хорошо помнит толстенькую книжку "Домашний доктор", по сей день стоящую у матери на полке, и черно-белые фотографии в ней, представляющие человеческое тело как нечто отвратительное, и вот сейчас, когда он открывает стеклянные двери, ведущие в регистратуру, его охватывают чувства, подобные тем, которые он испытывал ребенком, тайком, с опаской листающим ту самую книгу — смесь отвращения, стыда и вины.

В регистратуре толпятся какие-то неприятные личности — и все волнуются, кто в поисках нужного окошка, кто ожидая своей очереди. Волнение, можно сказать, здесь никогда не утихает. Ну да, всегда есть — и всегда будут люди, у которых что-то свербит, где-то чешется... Глядя на большинство посетителей, сразу можно понять, что явилось причиной их появления здесь — несоблюдение правил личной гигиены. И в этой общей картине растворяются и те редкие посетите-

ли, в более или менее чистой и аккуратной одежде. Неплохо было бы выглядеть шикарно и вообще выделяться в толпе, но "богатые и красивые", когда у них что-то начинает чесаться, сюда не приходят — в Белграде хватает частных клиник, в которых лечат даже гонорею.

Не представляя, куда именно следует приткнуться, Йова занял очередь перед стойкой, что была ближе всего к входным дверям, решив для начала просто спросить, куда ему идти, но вскоре понял, что попал куда следует. Тетке за стойкой все надоело — и робкие посетители, и маленькая зарплата, и вообще жизнь, так что женщину, протянувшую ей медицинскую карту, она громко, чтобы все вокруг слышали, спрашивает, на что та жалуется.

— Чешется, — тихо и покорно отвечает женщина средних лет.

— Громче! — требует дама за стойкой, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, а может, у нее просто проблемы со слухом; впрочем, все здесь для нее привычно, обыденно, а стеснительность пациентов она принимает за лицемерие.

— Чешется, говорю!

— Где?

Пациентке становится неприятно, будто ее неожиданно, обманом вытащили на площадь к позорному столбу. Она никак не может вспомнить приличное слово, обозначающее самую интимную часть тела, и только указывает на нее взглядом. А дама за стойкой смотрит вовсе не на нее, а в лежащую перед ней раскрытую тетрадку.

— Где у вас чешется, уважаемая? Скажете вы, наконец, я же должна знать, к кому вас направить?

Несчастная перебрала в голове все возможные варианты, но не смогла припомнить ничего культурнее латинского слова, означающего половой орган.

— В вагине.

— Окно номер три. Следующий!

Женщина, которой кажется, будто все уставились на нее, — хотя, если честно, свидетели ее позора озабочены лишь тем, что их тоже ждет подобная процедура, — потупив очи, отправляется к рядам пронумерованных окошек, тайком высматривая назначенное ей. И здесь тоже приходится ждать, правда, к счастью, в этой очереди никто из пациентов не слышал, где именно у нее чешется. Еще несколько минут она чувствует, будто ее половой орган оказался на затылке, который она принялась почесывать, но и это пройдет: впереди — новое окошко, новые муки.

У стойки регистрации подошла очередь моложавого мужчины, румяного полноватого здоровяка в спортивном костюме. У него сыпь.

— Где?

— Между ног.

Йове не стоило большого труда заявить, отчетливо и громко: “На левой голени”, более того, оказавшись перед гусыней за стойкой, он на мгновение ощутил нечто вроде тайного ликования, потому что той не удалось его унизить. Одновременно он почувствовал некоторое превосходство над несчастными, которые были вынуждены обозначать интимные части своих тел, но сразу же отверг это чувство как недостойное.

Ему определили окно номер два, в котором ему оформили медицинскую карту и дали направление к доктору по фамилии Шпирич, — вероятно, специалистки по экстренным случаям. Организация труда — великое достижение марксизма, он еще в гимназии писал реферат на эту тему, незадолго до того, как этот предмет был отменен.

Ему велели присесть и ждать номерок, но, поскольку сидеть ему не хотелось, Йова облокотился на часть доски перед окошком и сразу заработал замечание от старшей медсестры — настоящей матроны по сравнению с другими, молоденькими, медсестрами с модными прическами.

— Прошу вас, освободите место у окна, — она строго глянула на него, и, вновь обратив взгляд к стопке бумаг, среди которых затерялось чье-то направление, вздохнув, добавила как бы про себя, но и для молодых сестричек тоже: — Нет, здесь просто невозможно работать!

Он отступил, чтобы не мешать. И хотя ему и без того было понятно, на каком низком уровне здесь организация труда, отступил он всего лишь на шаг, чтобы не терять из вида стопку медицинских карточек, среди которых была и его, как будто тем самым мог предотвратить ее вероятную потерю или ускорить процедуру.

К первому от стены окошку подошел пожилой мужчина в узком пиджачке из искусственной кожи, чисто выбритый, с идеально повязанным, но уже довольно потрепанным платком на шее вместо галстука. Трактирный волокита, подумал Йова, старик и в самом деле тут же вперил взгляд на смелое декольте сестрички, чьи непокорные крашеные пряди торчали во все стороны.

— Откуда вы здесь? — удивленно спросил старик, бесцеремонно уставившись на нее и плотоядно облизывая нижнюю губу, что, впрочем, ничуть не помешало ей вступить с ним в разговор.

— День добрый, господин Марич, — прочирикала она кокетливо.

— А кто же докторше ассистирует?

— С утра я была там. А теперь она без меня справляется.

Ну, понятно, этот надушенный старикан продолжает изображать из себя соблазнителя, но неужели и женщины нового поколения клюют на эти устаревшие приемы? И ее вовсе не раздражает это якобы естественное простодушие, она даже подыгрывает ему!

— О, если б я знал, то проснулся бы пораньше, чтобы попасть в ваши ручки, — глаза его уставились в разрез халатика на груди, того и гляди слюни потекут.

— Здесь я нужнее, господин Марич, — сдерживает она хохоток, давая понять, что комплимент она принимает.

Его старые мокасины сверкают; все на нем поношенное — и брюки, и пиджак, но, притом, вычищено до блеска, отглажено, отутюжено. Старый козел, наверное, таскается по трактирам, сидит там до закрытия и пристает к каждой юбке, не пропуская и официанток. И даже не понимает, насколько им это неприятно. Спит небось до обеда, пенсионер несчастный, а потом совершает турне по клиникам, чтобы поддерживать в нужной форме душу и тело, — привычный осмотр у врача, привычное пикирование с молоденькими сестричками.

Йова, склонный близко к сердцу воспринимать чужие неприятности, старается больше не думать о старом пижоне. Раньше ему казались смешными отцовские советы, какие тот давал ему перед первыми походами на танцы в дом культуры: девицам следует льстить напропалую, говорить глупости, от которых интеллигентного человека с души воротит: “Я за тебя умереть готов”, “Красота твоя неописуема”, “Ты пронзила мое сердце”, — но вся последующая жизнь убеждала его в отцовской правоте, по крайней мере, когда речь шла о легкомысленных женщинах. Вся проблема в том, что легкомысленные женщины никогда его не интересовали. Марина красива, но красота вовсе не единственный ее козырь. И как может женщина с ее внешностью и умом оставаться одинокой? Наверно, стоило бы в один прекрасный момент закатить глаза и брякнуть что-то типа: “Красота твоя неописуема”. Но в какой момент это ляпнуть? И как при этом самому не сгореть со стыда? Ведь ему действительно нравится ее удлиненное лицо — чистая шелковистая кожа, синие глаза, прячущиеся под длинными черными ресницами, маленькие губки, носик с горбинкой. Этот носик с горбинкой — та самая деталь, из-за которой он смог бы полюбить ее еще сильнее, то самое отклонение от общепризнанной нормы, которое

еще сильнее подчеркивает прочие черты, соответствующие канонам неземной красоты.

Наконец ему выдали номерок, и Йова выслушал указание пройти в зал и ожидать вызова в кабинет номер пять. И только пройдя в тот самый зал, он понял, что именно теперь начнется настоящее ожидание, а все, что было перед этим, лишь увертюра.

В огромном прямоугольном зале, который, если бы в нем был деревянный пол, более напоминал бы спортзал, расположились все те люди из регистратуры, собравшись в группки возле пяти-шести дверей, ведущих во врачебные кабинеты. Здесь уже не было толпы, скорее все напоминало чистилище, в котором взволнованные души, такие близкие и в то же время такие далекие друг от друга, толкутся, стоят или сидят, погрузившись в собственные переживания. Здание клиники старое, — кто знает, что раньше здесь было? — с двойными внутренними дверями высотой метра в три и робкими следами якобы ремонта: стены зачищены и побелены, а на полу лежит все тот же линолеум времен революционных преобразований. Стулья, — по пять продавленных пластиковых седалищ, нанизанных на протянутый снизу металлический прут и намертво прикрепленных к полу, — хотя и новые, но своей уродливостью и сомнительным качеством пробуждают воспоминания о недавних сообщениях прессы — о скандальном случае с госзаказом.

Найдя дверь с арабской цифрой “пять” на латунной табличке, Йова поинтересовался, кто последний, и посчитал, что до него к этой докторше должны пройти шесть пациентов. Сиденья крепились вплотную друг к другу, но расстояния между ними было достаточное, чтобы не прижиматься к чужим бедрам, но он все равно уселся на последний стул в ряду, оставив между собой и старухой в желтом берете свободное сиденье. Стоило ему только опуститься на стул, как старуха к нему обернулась.

— Уже полчаса, как туда мужик вошел, — сообщила она, указывая взглядом на двери кабинета, словно хотела сказать: “Оставь надежду, всяк сюда входящий”.

Эх, если бы он захватил с собой какую-нибудь книжку или хотя бы газету купил по дороге! Он уперся локтями в колени и принялся разглядывать обувь пациентов: грязные тапочки, стоптанные женские полусапожки, спортивные туфли на пробковой подошве, деформированные от выпирающих косточек, мокасины с растрескавшейся подметкой, стоптанные ботинки с разноцветными шнурками, новые башмаки с кожаным верхом в дырочку. Он поднял взгляд на обладателя но-

вых ботинок, который уселся напротив. Мужчина его лет, лысоватый, чисто выбритый, в замшевой куртке и клетчатом шарфе из тонкой материи. Незапоминающееся лицо, подумал Йова, но в таком месте чистые ботинки и шарфик шотландской расцветки делают его приметным. Выглядит прилично, а ведь одет не бог весть как, похоже, у него заботливая женушка, которая не даст ему выйти из дому, не осмотрев одежду и не стряхнув в знак полного одобрения перхоть со спины.

Он вновь уперся локтями в колени и уставился на собственную обувь — нечищеные, потрепанные башмаки с подметками из качественного, но сильно сносившегося пластика. Увидел и свои вельветовые брюки, изрядно потертые на коленях, и свою выцветшую куртку из болоньи, которую он так любил из-за глубоких карманов. Нынешним утром он не побрился, а голову не мыл уже несколько дней. Оплошал в общем!

Отправляясь к врачу, недостаточно надеть чистые трусы и чистые носки. Если уж собираешься стоять в очереди, если оказываешься перед кем-нибудь в положении просителя, то из дома следует выходить в наилучшем виде. Если бы он позаботился о своем внешнем виде, то в ситуации, в общем-то неловкой, почувствовал бы себя гораздо увереннее, да и в глазах других он выглядел бы иначе, и отношение к нему было бы соответствующее. Глядишь, и матрона за окошком не стала бы делать ему замечание. Забота о самом себе вызывает у людей уважение, пусть и не конкретно к тебе, вообще в каждодневном общении с пациентами регистраторши, медсестры, врачи и врачихи смотрят не на лица, а инстинктивно составляют впечатление о человеке в зависимости от того, во что он упакован. Надо было бы ему нарядиться как следует, чтобы выглядеть безукоризненно ухоженным...

На стул между Йовой и старухой в берете приземлился мужчина в засаленной куртке с широким и морщинистым красным лицом. К ногам он опустил пластиковый пакет, из которого торчала гроздь бананов, руки его были усыпаны шелушащимися прыщами. Чтобы новый сосед не подумал, будто он ему неприятен, Йова выждал несколько минут, потом поднялся и принялся прогуливаться по залу.

Он решил вспомнить, как в минувшую субботу был на дне рождения у кума. Откровенно говоря, он знал, что там будет Марина, или, по крайней мере, надеялся на это — кум видел, что они с интересом поглядывают друг на друга, и потому все чаще стал приглашать в гости соседку, особенно когда был уверен, что Йова тоже появится у него. Они уже четырежды встречались у кума в гостях.

В ту субботу они даже вроде бы случайно отъединились от компании и перешли на “ты”. Гости вели разговор: кто когда в последнее время побывал в Хорватии, вспоминали приятные и неприятные подробности тех путешествий, а когда принялись описывать приморские городки, сравнивая, как было прежде и как стало теперь, Марина поднялась из-за стола, направилась в лоджию и уселась там в глубокое кресло.

Вскоре к ней тактично и осторожно подошел и Йова: “Надеюсь, я тебе не помешаю?” Он и сам понимал, как ему недостает той здоровой напористости, которую многие считают признаком мужественности. “Надоело слушать, — сказала она, уставившись на него своими синими глазами, не допускающими возражений. — Не люблю, когда мне мешают вспоминать то немногое, что еще осталось в моей памяти”. У каждого в детстве и юности было свое местечко в Далмации, куда упрямо возвращаешься всякий раз, и Марина и Йова едва не подпрыгнули от удивления, узнав, что их обоих связывает Старый Город на острове Хвар. “Так ведь у нас там был свой домик!” — воскликнула Марина. “И у нас!” — Йову обрадовала неисчерпаемая тема завязавшегося разговора. Они прошлись по улочкам Старого Города, встретили и проводили паром, отплывающий в Сплит, по дороге на кладбище приласкали ослика, а спускаясь оттуда, набрали несколько пучков дикой спаржи. “С Хорватией у меня никаких проблем нет, — заключила Марина. — Я недавно была в Загребе, на конгрессе офтальмологов, там все было прекрасно. Но в Старый Город возвращаться не хочу. Есть города, как и люди, связь с которыми оборвалась, и нужды в новых встречах нет. Мне рассказывали, что Старый Город сильно изменился. Да пусть он хоть в сто раз лучше станет, в моей памяти он останется прежним. Ведь есть воспоминания, изменять которым нельзя”.

Она говорила взволнованно, даже с каким-то ожесточением, которое, как бы по ошибке, было обращено на шумную компанию, гогочущую за обеденным столом. “Я тоже задумывался над этим, — подхватил Йова. — Недавно, когда листал альбом с фотографиями далматинских островов, сделанными с высоты птичьего полета, я едва не расплакался: нет, не от красоты, просто мне показалось, будто от меня оторвали частицу моего тела. Адриатика была частью моего личного пейзажа, и вот ее у меня отобрали. Сегодня, как ни странно, мне гораздо ближе греческое или испанское Средиземноморье. — Глянув на нее искоса, он решился добавить: — Это как в любви — когда расстаешься с той, чье сердце билось в унисон с твоим, и тебе кажется, что она все равно остается в твоей

жизни, на самом же деле она уже так далеко, как продавщица из газетного киоска, с которой ты каждый день здороваешься, хотя даже не знаешь, как ее зовут".

Если можно одновременно пребывать в напряжении и расслабленности, то именно это и произошло тогда с Йовой. Слова текли плавно и естественно, словно укрощенные воспоминания, но сознание лихорадочно просчитывало возможные варианты: что можно позволить себе на этом этапе, стоит ли отважиться? Он знал, что она врач по образованию, теперь знает, что по специальности – офтальмолог. Кум, конечно, обыкновенный торгаш, но дело свое знает, умеет концы с концами сводить, но ведь высшее образование – какой-никакой козырь в глазах женщины – как бы ей невзначай ввернуть насчет своей профессии?

Обоим было понятно, что они не обременены семьями, но об этом ведь не станешь говорить ни с того ни с сего. Догадываться можно о чем угодно, но никто из них так и не решился сделать первый шаг и назначить свидание. Может, ей это и ни к чему? Может, для нее это просто обычный, ничего не значащий разговор? С возрастом человек приходит к тому, что его общественная жизнь начинает входить в противоречия с личными потребностями. Конечно, можно было рискнуть и попросить у нее телефон или даже назначить свидание, и будь что будет! Ну и что, если бы отказала! А теперь ему остается, разве что позвонить в дверь, держа букет в руках, а это риск еще больший. Или дождаться Николина дня, когда кум празднует именины – но ведь ждать следующей, как бы случайной, встречи никак не меньше двух месяцев. На что же все-таки решиться и при этом не выглядеть смешным? Даже воробью известно, что в делах любви должна быть хоть какая-то искорка безумия, но как ее добыть, как и когда?

Впрочем, что теперь говорить! Хорошо, когда в нынешней ситуации бесконечного ожидания у тебя есть человек, о котором можно поразмышлять, и это помогает скоротать время. Склонив голову набок, Йова все шагал и шагал по залу от дверей до окон. В очереди к кабинету номер пять оставалось еще три человека. Он прислонился к выступу стены и, как вчерашней ночью, решился еще раз мысленно прижаться к гибкой Марине, а может, и раздеть ее, хотя бы по пояс, но стоило ему только зажмуриться, как скрипучий женский голос вернул его в зал.

– Сестра, открой, мне спросить надо!

Перед входом в соседний кабинет стояла невзрачная цыганка ростом с десятилетнего ребенка и без видимого успеха дергала за ручку двери. Двери были закрыты.

— Открой, сестра, не будь же такой!

Все пациенты вытаращились на нее со всех углов.

— Сестра, не будь же такой!

— Там все написано, — раздался из-за запертой двери грубый и резкий женский голос.

Цыганка — то ли слабоумная, то ли безумно упрямая — не отставала.

— Открой, сестра, не будь же такой!

Она, видно, что-то хотела спросить и все дергала ручку двери, в одной руке у нее был зажат листок, во второй — белая женская сумка и полиэтиленовый пакет с какими-то тряпками. Возможно, она лежала в одном из отделений и ее только что выписали, но кто поймет этих убогих, то ли они одеваются так перед выходом в город, то ли они в таких одежках спят: голова у нее повязана красным платком, из-под пуховика, доходящего до колен, выглядывают какие-то штаны в три четверти, напоминающие скорее пижамные, на ногах — розовые носки и черные туфли с кривыми каблуками. Одним словом — настоящий цирк, тридцать килограммов живого веса и железное упорство.

— Сестра, не будь же такой, — повторяет, словно мантру, свою просьбу, жалобу, мольбу, не подкрепленную серьезными аргументами, и не думает даже на сантиметр отойти от дверей.

Неизвестно, есть ли в кабинете пациент — Йова не видел, не обращал внимания на эту дверь — или же работа там закончилась после осмотра маленькой цыганки и врач с сестрой заперлись там, чтобы спрятаться от нее? Но она ведь не опасна, только очень упряма. По сути дела, просит помочь ей.

— Не будь же такой, сестра!

Наконец, она отошла от двери на два-три шага. В листок, на котором “все написано”, даже и не заглянула. Люди в зале делали вид, что ничего особенного не происходит, хотя внимательно следили за развитием событий, особенно те, кто ожидал своей очереди именно в этот кабинет. Цыганка смолкла на несколько минут, и тут в замке провернулся ключ. Но когда дверь приоткрылась, цыганка моментально подскочила к ней и ухватилась за дверной косяк. Медсестре, которая едва успела просунуть голову, деваться было некуда, теперь она не могла захлопнуть дверь, чтобы не прищемить ручонку, и потому постаралась оттолкнуть эту настырную пациентку.

— Докторша все тебе написала. Она не хочет тебя больше видеть! Больше нам не о чем говорить!

— Но, сестра, мне надо спросить!

Цыганка не отпускала дверной косяк, но сестра оказалась сильнее, и дверь вновь захлопнулась, и опять повернулся ключ в замке.

— Сестра, не будь же такой! — началась та же песня.

Когда героиня этой сцены сделала паузу, чтобы собраться с силами и войти в привычный ритм стенаний, Йова решил прекратить представление. Предположив, что нелепая карлица не умеет читать, он подошел к ней и протянул руку к листочку, который та держала. Зрители все как один уставились в пол.

— Вам же сказали, что тут все написано. Хотите, я вам прочитаю? Давайте, я посмотрю.

Листок она не дала, словно тот совсем ничего не значил, а Йову просто проигнорировала, как человека, который в этом ничего не понимает. Он и в самом деле ничего не понимал.

— Мне надо спросить.

Йова отошел от двери, ему было неприятно, что он оказался в центре этого фарса, к тому же его попытка уладить скандал не удалась.

— Сестра, открой, не будь же такой!

Чтобы не наблюдать более печальное представление и хоть как-то минимизировать свое участие в нем, Йова отошел к стене.

— Сестра, не будь же такой!

Эти слова выражали абсолютную беспомощность просительницы, но от упорного, бесконечного повторения они обретали разрушительную мощь и всколыхнули болезненную, липкую атмосферу зала.

В кабинет номер пять, с дверей которого Йова не спускал глаз, вошла старушка в желтом берете. Еще двое, потом я, сказал он себе. В этот момент с силой распахнулась, а затем захлопнулась дверь соседнего кабинета. Йова выглянул из-за выступа стены, за которым опять решил скрыться: из кабинеты вышли сестра и докторша. Карлица ухватила докторшу за рукав, та грубо, с отвращением стряхнула ее руку, будто вонючего клопа.

— Слушай, отстань, Зухра, — цыкнула она и решительным шагом направилась к коридору.

Цыганка поскакала было за докторшей, но не смогла догнать ее на своих кривых каблуках. Докторша перешла на бег, ее птичье лицо покраснело от гнева и от нелепости ситуации — вместо того чтобы как-то разрешить вполне обычную коллизию, ведь она здесь в роли начальства, она просто сбежала. И было совершенно очевидно, что с ее уст чуть не со-

рвалось грязное ругательство. Не только брюки, но и высокие сапоги, белый халат и короткая стрижка делали ее мужеподобной, а еще и хамство, и плохо скрытое отвращение, и грубый голос, более подходящий уличному бродяге. И этот хищный нос с горбинкой и глаза, которые с видимым удовольствием расстреливали жертву! Йова был посрамлен. И удивлен. Разве Марина не говорила, что она офтальмолог?

Йова встал перед дверью в кабинет номер пять, повернувшись к двери лицом, сжимаясь в комок под своей выцветшей курткой из болоньи. Успокоившись, она вернется в свой кабинет и пройдет мимо него, другой дороги нет, а он очень не хотел, чтобы она его узнала. Зачем только она ездила на конгресс офтальмологов? Что общего у глазных и кожных болезней? Коньюктивит? Если бы он хоть был прилично одет, в лучшем своем виде, то шагнул бы к ней навстречу и сказал: "Марина, нельзя так обращаться с людьми!" Но он прекрасно знал, что решимости на это ему не хватит, даже если бы одет он был великолепно. С другой стороны, ему ведь здорово повезло, что он так и не решился назначить ей свидание. Какой еще Николин день, что за глупости! И вообще, слегка почесывать собственную голень очень приятно... Вот как раз сейчас ее так приятно защекотало...

Милица Мичич-Димовска

У перекрестка

Перевод Василия Соколова

Ж Ёнщина знала, что заснуть больше не получится. Тонкая пелена сна упала с глаз, открывая явь, словно поле, над которым поднялся туман, и оно предстало перед взором наблюдателя в виде голой мерзлой пустоши.

В голове у нее все еще прокручивались картины приснившегося пространства, какие-то ванные комнаты и уборные в конце больничных коридоров, по которым она блуждала, а потом оказывалась на усыпанном щебнем пространстве между рельсами, умудряясь в последний момент обойти ямы с тлеющими на дне углями.

Она окончательно проснулась на одинокой кровати в гостиничном номере, ощущая, как ее охватывает холодная действительность, которую не мог обмануть никакой сон. Серый сумрак номера, будто инеем пронизанный неоновым светом, проникающим в окно с улицы, станет для нее — и она чувст-

© Милица Мићић Димовска, 1998
© Василий Соколов. Перевод, 2015

вовала это — задником сцены, на которой разыграются тягостные репризы дневных событий, пройдет скрупулезный просмотр допущенных ошибок и проступков. Она видела миниатюрный циферблат ручных часов, на котором дрожали электронные цифры. Было три десять. С тех пор как она возглавила бухгалтерию на предприятии, предварительно став любовницей шефа, пробуждение среди ночи, посреди нездорового сна, стало восприниматься ею как данность, как неумолимый факт.

Вот и сейчас, остановив взгляд на часах (своим черным кожаным ремешком они напоминали ей летучую мышь с растопыренными крыльями), она знала, что избежать предстоящих воспоминаний не удастся. Прошло неполных два часа, как она лежала на этой кровати со своим директором, который в каждой командировке требовал, чтобы они сняли какую-нибудь комнатенку, дачу или гостиничный номер. Видела нависшее над ней лицо, напряженное, сосредоточенное на исполнении акта телесной близости. Едва сдерживалась, чтобы не оттолкнуть его. Несмотря на то что она была его любовницей, чувства близости у нее так и не возникло. Ее задачей было расчетливо подстраиваться под него, надев на лицо маску похотливости, и она выполняла эту роль прилежно, опасаясь, что директор бросит ее и тем самым лишит привилегированного положения в фирме.

Год тому назад она впервые стала чьей-то любовницей из корыстных побуждений. Или по необходимости, как она обыкновенно убеждала себя, словно это могло оправдать ее — члена добропорядочной семьи, — унизительное положение.

Она пребывала в браке уже восемнадцать лет, выйдя замуж в двадцать два года. У нее были сын и дочь. Ее муж руководил гигантским предприятием, которое никак не могло приспособиться к изменчивым условиям рынка. Когда оно обанкротилось — а банкротилось оно несколько месяцев, — с ним случился инсульт.

Сейчас, приподняв подушку повыше и поудобнее устроившись на кровати, она стала вспоминать, как развивалась болезнь мужа. Началось это несерьезно, даже напоминало нелепую шутку. Они пили кофе. Перед этим она разбудила его от послеобеденного сна, и он поднялся хмурый, словно с похмелья, но не раздраженный, как бывало в последние дни. Рухнул в кресло всей своей тяжестью — так ей показалось, когда она наливала кофе в чашку, не отрывая взгляда от струи. Она решила во что бы то ни стало избежать разговора о том, как друзья оставили его с носом, растащив все, что только мож-

но было; одним из них был и ее нынешний директор. Она завела разговор о предстоящем дочкином выпускном, о том, какое платье ей лучше сшить. Протягивая чашку, она посмотрела на него, с удивлением заметив ухмылку. "Чего это ты смеешься?" — спросила она. Он, запинаясь, ответил: "Я не смеюсь". Его правая губа поползла вверх, как будто он улыбался только одной половиной лица. Попытался принять чашку, но рука не послушалась. Она безжизненно свисла с подлокотника. "Надо бы еще немного соснуть", — произнес он, едва выговаривая слова. Она попробовала устроить его в кресле поудобнее, но тело так отяжелело, что его оказалось невозможно сдвинуть с места.

В больнице он пробыл два месяца. Все эти шестьдесят дней пролетели для нее очень быстро. Был конец учебного года. Выпускной вечер у дочки прошел хорошо, о чем свидетельствовали фотографии. Сын, которому исполнилось шестнадцать, закончил очередной класс с отличием. Женщина любила дочку, а к сыну испытывала болезненную привязанность, еще и потому, что он был хром на одну ногу. По правде говоря, хромота была почти незаметна, так что даже не приходилось носить ортопедический ботинок. В этом была ее заслуга, десять лет она упорно и неустанно массировала сыновнюю стопу, с того самого момента, когда у двухмесячного ребенка установили врожденную аномалию. Она любила покупать ему подарки. За отличные успехи в школе на этот раз она побаловала его весьма дорогими фирменными кроссовками и джинсами.

Выйдя из больницы, муж укорил ее за то, что она за два месяца потратила почти все сбережения на глупости, но она снесла упреки молча, с затаенным упрямством. "Теперь нам следует изменить образ жизни, теперь мы нищие, я не могу зарабатывать как прежде", — сказал он ей с грустью, смиряясь с судьбой.

Он бродил по дому, приволакивая ногу, по-детски радуясь, если ему на очередном осмотре говорили, что прогресс налицо, что последствия удара почти исчезли и что он будет здоровым пенсионером. Женщину сначала раздражало это его примирение с тем, что произошло, она уговаривала его вернуться на работу и показать, на что он способен. "Ты ведь еще молодой, — говорила она ему. — Что такое пятьдесят два года? Да ничего. Опять станешь таким, каким был". Она старалась напоминать ему про их лучшие годы, убедительно воссоздавая картины совместных отпусков, путешествий, вспоминала его деловые успехи, свои достижения, тоже деловые, но не такие серьезные, как его (все-таки она

была обыкновенным экономистом, а он – руководителем, от которого зависело все на предприятии). "Помнишь, бывало, заведешь машину – и вперед. Дети на заднем сиденье, я – впереди, сменный напарник, и с раннего утра – на море, пока прохладно, кофе в термосе..." – начала она, и голос задрожал от нежности. Она посмотрела на него, и все сразу стало ясно: его не порадовали воспоминания, напротив, лицо помрачнело, а во взгляде сверкнуло презрение. Вечером, когда дети вышли в город, он навалился на нее, упрекая в холодности и безразличии, мял ее тело, приходя в ярость от собственного бессилия. Но даже если время от времени ей удавалось удовлетворить мужа, это практически не влияло на его поведение. Он оставался замкнутым и продолжал ревновать.

"Надоела мне твоя ревность". Женщина улыбнулась, услышав, как она сказала ему это, будто он был здесь, рядом, а не в семидесяти километрах, отделявших их город от столицы, от этой гостиницы и этого номера на пятом этаже. "Ты ревновал, когда для ревности не было никаких причин. Подсчитать, на сколько наревновал. Всё только счета, счета, счета, – подумала, – всё только счета, с покрытием или без".

Женщина взяла сумку, которую оставила на полу, рядом с кроватью. В ее внутреннем кармане, закрытом на молнию, лежал конверт с деньгами. Прежде чем открыть его, она включила лампу на тумбочке, вновь глянув на призрачный циферблат часов. Цифры вспыхивали голубым светом, показывая четыре десять. "Уже", – подумала она, утешившись скорым наступлением утра. В конверте было две тысячи динаров. Констатировала совсем как в своей бухгалтерии: "Купюрами по двадцать динаров". Это была неучтенка, ее часть отката от продажи служебного помещения в Белграде, которое принадлежало – она не знала точно – то ли прежней фирме, то ли новой, которая отделилась от старой и которую возглавлял мужчина, ставший ее любовником.

Женщина подумала, что все было неплохо исполнено, эта продажа, их приезд (директоров, юристов, шефов отдела продаж) формально на семинар экономистов в концертном зале гостиницы "Славия". Там же они сняли номера, поскольку семинар был рассчитан на два дня, но участники из других городов хотели немного развлечься, раз уж оказались далеко от дома. Ее директора не интересовало мнение экономистов, университетских преподавателей, разных теоретиков. "Все они утописты", – любил повторять он. Нравилось ему производить впечатление остроумного человека.

В самом начале их связи ему достаточно было показать палец, и она заливалась почти истерическим смехом. Когда она в первый раз оказалась в его постели, то подумала: “Боже мой, если я ничего не чувствую, никакого возбуждения, а уж о любви тут тем более речи нет — так чего же боюсь?”

Куда больше она боялась наказания за подписи на документах. Она расписывалась везде, где только ей велели. Ради порядка читала тексты и сверяла цифры. На бумаге все сходилось, все было точно подсчитано, но она-то знала, что это только так кажется, все данные подделаны, подогнаны. Иногда она понимала, что кроется за этими фальшивыми данными, но в основном, особенно в последнее время, подписывала счета, не вникая в их содержание, стараясь ничего не проверять.

Ночами дневная уверенность и легкость, с которой она визировала бумаги, внезапно сменялась хладнокровной серьезностью следователя. Она сама себе стала следователем: “Где отчеты о командировках? Что это за счета? Вы, как главный бухгалтер, должны были знать, что эти сведения сфальсифицированы. Где товар, закупленный в счет этого кредита? Не знаете или, что еще хуже, знаете...” В итоге она, навечно опозоренная, обнаруживала себя в тюремной камере.

Купюры были новенькие, плотные и хрустящие. Получив их после обеда в ресторане, она почувствовала себя контрабандисткой. Все дела были обстряпаны в том ресторане. Фирму, купившую помещение, тоже представляли руководители — директор, шеф отдела продаж, юрист, а в качестве украшения присутствовала секретарша, явно чья-то любовница, молодая блондинка с глубоким декольте, которая то и дело вставала, куда-то уходила и вскоре возвращалась, бесстыже крутя задницей. Они, конечно, тоже получили свои доли отката. Потом они все вместе отправились на послеполуденное продолжение дискуссии о новых методах в экономике, как бы зарабатывая себе алиби.

Вечером они опять встретились за ужином и выпивкой, на этот раз в гостиничном ресторане.

Днем женщина не успела обойти магазины и потратить деньги. Пачка банкнот, пока она держала ее в руках, пахла чем-то пресным, сырым мясом и эссенцией. Ее чуть не стошнило от этого запаха. На самом же деле вонь исходила из открытых дверей ванной комнаты, смердело дезинфекцией.

“Он даже душ не принял”, — подумала она о директоре. Спешил присоединиться к обществу, засевшему в ресторане.

Она смотрела, как он поспешно одевается, почти на бегу, стремясь уйти как можно скорее. Ей пришлось напомнить ему о галстуке. Даже сама повязала его, не одеваясь, в одной комбинашке, вплотную приблизившись к нему. Он шлепнул ее по ляжке и сказал: “Можешь присоединиться к нам, если пожелаешь”. Она ответила: “Нет, спасибо, я устала”.

И в самом деле уснула, как только он ушел. Но и во сне она не забывала о том, в чем провинилась, что она в гостинице и одновременно в больнице и на вокзале, и бесцельно слоняется, не зная, куда и зачем идти.

Если бы можно было опять заснуть, вздохнула она. Если бы подумать о чем-нибудь хорошем! Например, что купить детям. Дочка хотела несессер с комплектом косметики, а сын — диктофон “Сони” со встроенным радиоприемником. Его желания всегда оборачивались для нее увлекательными экспедициями. И чем они были сложнее, тем ей было приятнее. Вот и сейчас ее ожидал поход по магазинам электроники. Она представила себя у прилавка, как делает вид, что ровным счетом ничего не понимает в этих делах, и как продавцы стараются ей угодить. Представила и некоего случайного покупателя, вежливого и предусмотрительного, который вступит с ней в беседу, а она с нежностью и гордостью в голосе сообщит ему, что покупает для сына диктофон, а он как раз точно знает, как выбрать лучшее...

Подкравшийся долгожданный сон увлек ее в пространство, напоминающее больницу, правда, без кроватей и больных, по крайней мере, она их не заметила. Откуда-то возникли два санитара и сообщили ей, что сына только что искупали и надо, чтобы она одела и обула его. Это обеспокоило ее. Она вошла в другую комнату, отодвинув клеенчатую занавеску цвета сырого мяса. Увидела сына, который стоял в яме. Над ее краями возвышался его торс, голый и белый. Среди его вещей она сразу заметила ботинки с толстыми ортопедическими подметками. “А где твои кроссовки?” — с укором спросила она, стараясь не показывать свой страх. “Разве ты не знаешь, что я не ношу кроссовки?” — ответил он. “Это неправда! — возмутилась она, подходя к нему со спины, в то время как он дергался в яме, словно заводная игрушка. — Немедленно вылезай оттуда!” — прикрикнула она, ухватила сына за плечи и принялась отчаянно, что было сил, трясти его. Эта тряска и разбудила ее.

Когда она, приподнявшись, открыла глаза, два молочно-белых цилиндра на люстре закружились. Она зажмурилась, и перед ее внутренним взором возникло лицо сына с упрямым и печальным взглядом. Она вновь открыла глаза. Белые ци-

линдры были недвижны. Она опустила босые ноги на пол, подошла к окну и раздвинула занавески.

Внизу, на перекрестке, сквозь покров темноты пробивался неоновый свет. Трамвайные рельсы выстроились в четыре ряда.

Женщина увидела, как на улицу, раскачиваясь и скрежеща, сворачивает трамвай. Из его окон изливался слабенький, как из сиротской хижины, желтоватый свет. Можно было различить темные согбенные фигуры немногочисленных пассажиров. Ей захотелось присоединиться к ним, сесть на потертое сиденье и погрузиться в бесконечное круженье этого трамвая, не задумываясь над тем, куда он ее увезет.

Радован Бели-Маркович

Возвращение Лазара Дражича

Перевод Василия Соколова

ПОЕЗД остановился у вокзала в Валево. Тут путь и заканчивался, рельсы были загнуты вверх и вмурованы в бетонные балки, а вокруг простиралась продуваемая всеми ветрами равнина. Сыпал мелкий снег, тополя у складских бараков задумчиво уставились в небо, а издалека доносился протяжный, зовущий голос; похоже, пока хозяин справлял нужду у плетня, лошадь куда-то уволокла телегу. До родного села мне оставалось три часа пешего ходу. Из Валево легче всего выбраться по Мислопольской улице. Она идет по правому берегу Колубары, а у таможенного поста раздваивается: влево уходит белесый тракт на Лайковац, направо — размытая дорога, которая, огибая горы, подбирается к небу, почти под самые облака, к тому солнцепеку, в который понатыканы наши дома и наши хлева, так что я не сомневался: моя дорога — вот эта самая, размытая; вообще мне в жизни

© Радован Бели-Марковић, 1999
© Василий Соколов. Перевод, 2015

редко когда доводилось что-либо выбирать, и уж тем более место, где выпало родиться.

Ну вот и начался рассказ, так что подошло время, хотите вы того или нет, сообщить: я — Лазар, из рода Дражичей, что живут в Верхней Псаче. Возвращаюсь я из Германии, из Мюнхена, в одиночку и бочком, словно пес, который побаивается получить на ходу пинок под зад. Никаких вещей на себе не тащу, но все равно меня ломает и корчит, будто нынче в сыром стогу переночевал. Все марки, что заработал, при мне. Не так уж их и много, но все равно имею право шагать по Мислопольской как богатый человек, потому что Мислопольская — нищий переулок по сравнению с любой самой зачуханной штрассе. Приходится рассматривать разные, некогда прекрасные, вещицы, раскиданные теперь по обеим сторонам улицы, будто нищенские пожитки, а еще и вывески, зазывающие к кузнецу, шорнику и сапожнику, но вот той вещицы, что мне позарез нужна, вот ее-то и нет нигде в витринах: а нужен мне ранец, школьный, синий, с желтым клапаном и карманами по бокам!

Именно такой я однажды возжелал. В то нищенское время он казался мне невероятно красивым, ничего прекраснее прежде я не видывал, вот я сейчас и подумал: случись мне его увидеть — сразу же моим будет, хотя, как правило, все, на что глаз положу и подумаю: моё! — тут же как-то незаметно и потихоньку от меня уплывает.

По правде говоря, тот синий ранец был не единственной вещью, на которую я глаз положил и которая мне в душу запала, но он был первым, а первую вещь забыть невозможно, так что самое время — а кое-кто наверняка именно так бы и сделал — спросить себя: а не для того ли я притащился из Мюнхена сюда, чтобы на Мислопольской купить этот, честно сказать, пустяшный ранец? Как будто других ранцев, куда как красивее, на свете нет, по которым, особенно в большом мире, нетрудно узнать благородного человека.

Вот так я шел и размышлял, а снег сыпал, словно в какой-нибудь сказке. Короче говоря, за каких-то два десятка шагов я все, все вспомнил: есть вещи, которые позабыть нельзя, даже если думаешь, что запамятовал, и каждый в душе своей отчетливо их видит, пока в очаге догорает полено, а в темной ночи облепленные снегом бедняки зовут свою скотину.

Я увидел этот ранец той ветреной послевоенной весной, в начальной школе: однажды утром он засиял в нашей школе, которая до войны была жандармской конюшней, и можно было разглядеть, что ранец тот был сработан из какой-то шелковистой синевы, с желтым клапаном и карманами по бо-

кам; самый красивый ранец, какой только мне довелось повидать в своей жизни или во сне. С ним пришел мой сосед, Милош Сандарич, который получал посылки от американского дядюшки. Я тяжко расстроился из-за такой красоты, этот ранец все время так и стоял у меня перед глазами. До той поры для меня ничего тоскливее школы не было, а теперь я бегом мчался туда, чтобы полюбоваться этой шелковой синевой, этим небесным шелком, из которого, говорят, делают цеппелины; и я верил, что ранец Милоша может летать, стоит его лишь чуть-чуть приспособить для этого дела.

У меня должен был появиться такой, тут нечего было предаваться пустым мечтаниям, нечего было выжидать, пока на меня счастье не свалится само по себе.

Обо всем прежнем я и думать забыл. Отказался от салок, казаков-разбойников, штандора и чижика. Перестали меня радовать консервные банки и желтые гильзы со свалки за стрельбищем, и к правлению не ходил смотреть, как мужики забивают лошадей. Той весной привязалась ко мне печальная думка о том, что Дражичи совсем не такие, как Сандаричи, а просто нищеброды и горемыки, у которых в жизни ни праздников не бывает, ни даже белых рубашек. Впрочем, повезло нам немно́го, когда новые власти признали отца Байку инвалидом из-за ноги, которой он благодаря конокрадам лишился, но ни на какой портфель мне все равно рассчитывать не приходилось; ни на похвалу от учителя Гойко за отличную учебу и еще более отличное поведение, даже если бы я отблагодарил его шматом ветчины или стаканчиком виноградной ракии, потому как я вечно последним из худших был, а в первых рядах появлялся только тогда, когда оплеухи отвешивали, да на горох коленками ставили, да когда в подвал запирали, так что для задней парты я просто незаменимым был. Так вот я и тосковал, высыхая изнутри, словно лужа под солнечными лучами. Возненавидел я соседа Милоша, и ненависть эту скрыть невозможно было, потому как она из меня просто высыпала, как парша из волос, и только ненависть эта удерживала меня от того, чтобы не расхвораться. Правда, не всегда эта ненависть во мне возникала. У Милоша никогда вшей не находили и не лупили его за грязные ногти и слюнявые губы. У него и матросский костюмчик был, и бескозырка с синими ленточками, к тому же и настоящие туфли, да и сам он был какой-то особенный, и величаво красивый, особенно когда солнышко ему в затылок светило. И тогда я совсем забывал про ранец, не говоря уж о ненависти, и так меня эта его внешность захватывала, что я ей чуть ли не греховно наслаждался.

Но, так или иначе, ни мира, ни покоя мне его ранец не давал. Купить я такой не мог, в подарок тоже было не получить, не говоря уж о том, чтобы отнять его силой. Милош был крупный, сильный, а я — хилый, росточка никакого, и, кроме того, все во мне было как-то так устроено, чтобы выставить меня в неприглядном свете, гнилые зубы, к примеру, которые я так и не научился прикрывать губами, да целая россыпь расчесанных прыщей.

И вот ничего мне, в конце концов, не оставалось, как этот ранец украсть, так что в итоге я и спер его, в субботу, когда мы играли в прятки, уговорившись, что тот, кто водит, прежде чем отправиться на поиски, досчитает до ста. Запихал я Милошев ранец в свою торбу из козьей шерсти, хотя меня запросто могли застукать пацаны, бросившиеся во все стороны в поисках схрона, да и сам Милош, который водил, мог не зажмуриться.

Боже мой, — думаю я сегодня, почти так же, как и тогда, — отчего вся эта глупость, пусть даже и обычный ранец, становится величайшей ценностью, да еще такой, что ты можешь лишь втайне наслаждаться его красотой — из-за секретного обладания предметом, которого нет и не может быть ни у кого?

Но подобные мысли меня не утешали. Две ночи и день провел я без сна и еды, осознавая, что переступил границу, что всю свою жизнь я теперь буду прокаженным и никто никогда не отзовется на мое пожелание доброго утра.

Родители Милоша были не только богатеями, но и хитрованами. Отняли у них многое, но они смолчали в тряпочку и даже сумели завязать с новой властью отношения. Уже в понедельник на первый урок заявились три члена местного комитета, чтобы выяснить обстоятельства и найти преступника. Один из них, смуглый и желтоглазый, пришел с секатором, и я подумал, что они отрежут мне пальцы. Второй изображал из себя кого-то вроде секретаря, а третий, непрерывно барабаня пальцами по столу, с видимым удовольствием потребовал от дежурного немедля принести розги.

Я признался. Учитель чуть не ткнул мне пальцами в оба глаза.

Я отвел его, комитетчиков и весь класс к школьной поленнице. Там ранец и обнаружили, замаранный и помятый. Какой-то бледный червяк ползал по ранцу, да и клапан покрылся чем-то вроде ржавчины, но все равно память о его шелковой синеве, этой небесной сини, я запомнил на всю жизнь, как и выражение лица Милоша, печальное и гадливое, не покидавшее его, пока меня конвоировали к школьно-

му крыльцу, сопровождая руганью и щипками, от которых надолго остались синяки.

Учитель Гойко принес сверкающую никелем машинку и выстриг на моей голове крест-накрест две полосы, чтобы ныне и впредь засвидетельствовать появление в Верхней Псаче отъявленного вора. Я смотрел то в проолифенный потолок, то на черную доску, то блуждал взглядом по карте Европы, мысленно прощаясь со всеми, кто меня знал. Дежурный, выполняя приказ учителя, повернул портрет президента лицом к стене, так что нигде ни жалости, ни спасения не было, никого, кто мог бы по-человечески понять меня. Состриженные волосы падали к моим ногам. Я и не подозревал, что они такие жесткие и мертвые и что на моей голове столько лишаев. Потом меня заперли в подвале, забитом сломанными стульями и колыбельками, оставшимися после учительских пар, которых направляли в верхнепсачскую школу в наказание. Колыбельки эти, казалось, поскрипывали, будто кто-то, спрятавшийся за рассохшейся кадкой, раскачивал их, а изо всех углов посверкивали маленькие крысиные глазки. Выпустили меня, только когда вытянулись тени деревьев, а я их побаивался — особенно одного вяза, который скрипел под ветром, как зубы у конокрадов, которые дрались когда-то под его кроной.

Дома мама Срчика прижимала мои ладони к горячей плите и секла меня, голого, березовыми прутьями до тех пор, пока я не описал старое рядно, лежащее у ядовито-зеленого комода, а отец Байкула, как только доковылял ночью домой, достриг мою голову, как попало, ступеньками; надо же, хватило ему силенок так меня отделать! Материны розги не позволяли мне сесть на стул, так что стоял я, прислонившись к косяку, а голову то и дело ронял на грудь, совсем как пьяный отец.

После всего этого в школу я пришел только на третий день. Еще на ступеньках Милош Сандарич двинул мне своим ранцем в нос. Прочие встретили меня дружной руганью и дразнилками, а на большой перемене какой-то пес застрял на школьной пасеке, так что учитель Гойка две розги измочалил, пока не заставил меня вот так, полураздетого, с короткими рукавами и штанинами, влезть прямо в пчелиный рой и отстегнуть на псине ошейник.

Рой разозлился и распух, словно грозовое облако, и загудел вокруг меня.

Рассказывают, тогда отец мой Байкула два дня сидел на крыльце и выстругивал из липового обрубка новую ногу. Рассказывают, что дядья между собой наследство делили и ост-

рыми топорами размахивали; вилы через колено ломали, а дубовые бревна в полтора метра вдоль распластывали. Материли, рассказывают, все на земле и на небесах сущее, а тетки под занавес доски на полу в нужнике разобрали, так что отец, с только что выструганной ногой по пояс в братнино говно окунулся, после чего мать его в жестяном корыте выкупала, а новую деревяшку выкинула прямо в тихую ночь, осиянную звездами. Рассказывают, что наутро кобыла Нона заржала; что солнышко пригрело, и двор задымился, словно блин на сковородке; что взлетела с тына голодная ворона, каркая так, будто ломоть сыра обронила. Говорят, небеса разверзлись и земля сотряслась, а я не видел ничего и ничего не слышал.

Весь я распух, как огромный волдырь, и душа моя куда-то утекла. Пчел вытаскивали изо рта моего, из глаз, из ушей и носа. Трясла меня, кружила и бросала в беспамятство дикая лихорадка. Мама Срчика обкладывала меня мясистыми листьями белокопытника и заворачивала в только что содранную овечью шкуру. В сумерках посверкивали в воздухе блестящие вязальные крючки, и кто-то долго отрезал тупым ножом куриные ноги, а бабочка билась в закопченное стекло керосиновой лампы. Меня знобило, но все же я почувствовал ветерок, ворвавшийся в дверь: приехала тетка из Валево и часами прикладывала к моему изголовью апельсин — то крохотный, величиной с бусинку, то огромный, размером в тыкву; укладывала его тонкими пальцами, которые пахли так, будто тянулись ко мне из какого-то прекрасного потустороннего мира.

Я поклясться был готов, что на веках моих разлеглась вся Верхняя Псача, а лицо усеяли синюшные пятна, так что пришлось вызвать ко мне доктора Банковича. Мои побаивались доктора, особенно мама, когда отец после того, с конокрадами, оказался в больнице, а платить нечем было, так что силач Грозданич, мастер с железки, а при случае и зубодер, вырвал у матери клещами три золотые коронки, чтобы покрыть расходы да тягловых волов спасти от продажи на скотном рынке в Валево, купола которого были краше, чем на церкви в Псаче. Но доктор Банкович ни копейки не взял, ни за осмотр, ни за медицину, да и добавил еще: “Примите мои соболезнования”, положив к моему изголовью монетку.

Так что я перемог кое-как болезнь, а осенью отдали меня в город, в Валево, к мастеру Мате Почеку обучаться слесарному делу. В Псаче говорили: “Это ремесло ему пригодится для воровских дел”. Квартировал и столовался я у тетки, что жила на Кланичской улице напротив дубильни Милана Китано-

вича, откуда тянуло страшной вонью, словно с раскопанного собачьего кладбища. Вот там-то я и насмотрелся разных ранцев и сумок: утром сонная тетка — пока я крошу черствый хлеб в крутой кипяток, в котором, словно плевки, плавают островки перегоревшего жира, а однажды в нем оказалось что-то вроде жабы, — тайком открывает дядькину сумку, черную, железнодорожную, похожую на сундучок, и во мрак ее, полный разных тайн, привезенных из путешествий, опускает белую булку и кусок ветчины, нарезанный тонкими ломтиками. Нет, эта сумка ничуть не походила на тот ранец Милоша, синий, ни капельки, но я все равно взирал на нее с уважением, размышляя о расстояниях, которые ей доводилось преодолевать, до тех пор, пока тетка, сидя у окна, не замечала, как на горизонте исчезает красный огонек последнего вагона дядькиного поезда, после чего, вызванный каким-то мне не известным манером, являлся унтер-офицер первого класса Ягош Ракочевич, перед чьим желтым ранцем я был готов преклонить колени, но только ни в коем случае не коснуться его руками, подозревая, что в нем хранятся разные военные предметы и секретные бумаги, а самому воину я был благодарен за доверие, с которым он оставлял меня сидеть на кухне, рядом с сапогами, шапкой и мокрым дождевиком, в кармане которого вполне могли быть и деньги.

Кроме этих ранцев, сумок и портфелей, каких я еще только ни повидал: генеральских, на которые день-деньской пялятся по двадцать солдат и ни слова не смеют сказать по их поводу; бухгалтерских, с которыми следует обращаться аккуратно, потому как их хозяева ежедневно просматривают книги с дебетом и кредитом; министерских, набитых документами, которые убеждают, подтверждают, доказывают, приказывают, а иной раз так угрожают, что у простого человека башка лопается; студенческих, несколько вызывающих, будто они и сами интересуются поэзией и в которых каждый может найти подтверждение того, что их хозяин созрел для желтого дома; тьма-тьмущая таких портфелей и ранцев продефилировала передо мной, ранцев с характером, а один мне особо пришелся по душе, именно здесь, на Мислопольской улице, из синего пластика, с желтым клапаном и с карманами по бокам — да только он был не про меня. Отец денег мне не давал, а посылал половину инвалидской пенсии напрямик тетке, мастер же Почек подмастерьям не платил, напротив — они сами ему возмещали за каждый сломанный напильник или сверло.

И вот что я понял: все на этом долбаном свете как-то вечно и бесконечно повторяется, да только грешный человек со

своими желаниями остается все таким же неудовлетворенным. Я боялся, вдруг не удержусь и что-нибудь стырю, так что долгое время даже думать не смел о том самом ранце и вообще о чем-нибудь таком, что заняло бы в моей душе его место, а даже если и задумывался, то тотчас же замирал от страха, что кто-то меня на этом поймает.

Но память не сразу исчезает. Помнил я свою Верхнюю Псачу и ее людей; надеялся получить депешу хотя бы из двух слов: отец умер, — чтобы вернуться на круги своя; пусть хоть и на отпевание в церкви Святого Иеремии со всеми ее картинами — несчастными женами, иссохшимися старцами и хвостатыми чертями, вооруженными косами, трезубцами, зелеными мечами и сплетенными в бичи змеями в каком-то неземном темно-зеленом свете, — написанными так, будто занавес, скрывающий ад от грешного человека, поднят, и мне самому надо отыскать в аду муки для самого себя, но я все же надеялся, что на дне этого дьявольского царства встречу и Милоша Сандарича — куда же мы друг без друга!

Милош, наверное, хорошо в жизни устроился, люди с такой фигурой да с таким затылком никогда впросак не попадают, думал я, тайком желая ему, — есть уж там ад или нет его, кто знает, — по меньшей мере, местечко в битком набитом вагоне поезда, следующего в Германию, в которую я, отслужив срочную, вынужден был отправиться — а куда деваться, если уж я сам с собой разговаривал, как с покойником.

В тесном коридоре этого проклятого вагона один парень — затылок у него был совсем как у Милоша, да и сам он был фигуристый красавчик с таким же точно ранцем за плечами — блевал кровью у моих ног. Мне его как-то сразу стало жалко, и я тут же все простил ему как родному. А что я, господи прости, мог поставить ему в вину, кроме того что ранец этот несчастный был его, а не мой? Однако, вглядевшись в его лицо, я понял, что это не Милош, и мне стало даже тошно, что это не он... Точило это меня до самого Мюнхена, да и потом, стоило только вспомнить. Я все качал головой и мысленно уже привязывал петлю к трубе, на которой буду вешаться.

В итоге я чуть с ума не сошел: во всем Мюнхене не мог найти такой ранец — синий, с желтым клапаном и карманами по бокам. Ни в Мюнхене, ни во всей этой швабской стране, так что я решил купить его в Валево, как только вернусь. Но меня терзала одна мысль: есть ли еще они там и не сняли ли их вообще с производства. По моему разумению, я мог сильно промахнуться, потому как такие ранцы, вероятно, давно уже приказали долго жить, но надежды я не терял.

Человек не испытывает счастья, после того как его желания исполняются. Желания со временем сокращаются, становятся ничтожными и смешными. Счастье, если оно вообще есть, состоит в наслаждении страданием. Вот оно-то, это страдание, и есть самая крутая нежность, которая опустошала и убивала меня в этой швабской стране, где я зарился на чудеса, которые, казалось, разыгрываются только для меня, так что и пришлось мне смириться с собственным ничтожеством.

Едва сойдя с поезда, я направился на Мислопольскую. И купил этот ранец. Нашел его в шорной мастерской, что у самого моста. Стоил он две тысячи семьсот. В марках — примерно пять... и немного мелочи. Я страшно устал, и, разглядывая себя в витринах, пришел к выводу, что лицо у меня бледное и болезненное.

И вот, наконец, я добрел до того самого перекрестка, что был в самом начале рассказа. Сюда — Верхняя Псача, само это название невозможно воспринимать без удивления и насмешки, туда — шоссе в Лайковац, логово железнодорожников, все там сплошь пьяницы и картежники, однажды железнодорожники в Лайковаце избили какого-то столичного поэта фонарями. Ранец в моих руках смерзся, скрючился как снулая рыба, но вовсе не из-за холода, суть была в другом: ранец скончался, угас. Напрасно я прижимал его к груди и пытался согреть своим дыханием; его шелковая синева, небесная голубизна просто-напросто поблекла, из нее более не возносились в небо радужные мосты.

Смеркалось, а до Верхней Псачи и дома Дражичей оставалось еще часа три ходу, если только ты не несешься туда сломя голову, представляя, как тебе возрадуются все живые и покойные, и даже те, что еще не родились — хотя псачские дела кому угодно крылья подрежут, так что в Верхнюю Псачу лучше всего войти на четвереньках, понимая, что тебе на плечи в любой момент могут набросить саван.

И все-таки, думал я, здорово после стольких лет появиться на родном пороге, хотя отец мой Байкула вместе со своей липовой ногой преставился давно, а мать Срчика — в прошлом году, в Михайлов день. Я не смог проводить их ни к алтарю церкви Святого Иеремии, ни до Сакаркучского кладбища. Оба раза хозяин отказался дать мне *урлауб*, да и просил я его об этом так, будто мои покойники еще живы, и еще я был уверен, что *там* будет кому выкрикнуть мое имя. Может, кто-то из злыдней дядьев, которые снесли крышу с нашей хибары, разобрали ограду, отняли землю, продали кобылу Нону и промотали деньги, или подколодных теток, которые готовы

были в вино подмешать яду, а в ухо мне затолкать жука-короеда...

И вот пока снежинки таяли в воздухе, я понял, что не стоит входить в село с этим смешным ранцем под мышкой. А вдруг меня увидят родичи Милоша? Сам-то он неизвестно где пропадает, но все равно, люди все припомнят, потому что с обитателями Верхней Псачи никогда ничего не случается, но если что и случится, то уж запомнят навеки, как запомнили какого-то Епура, который живого щегла проглотил.

Нашел я тогда обломок доски, разгреб под старым буком прелые листья и зарыл в них тот ранец, совсем как когда-то припрятал его в школьной поленнице.

В селе я никого не встретил. Снег сыпал, словно в сказке, а я хохотал и громко топал ногами по земле, пока кто-то не хлопнул меня по плечу и не обозвал дураком.

Мирьяна Павлович

А где здесь я?

Перевод Евгении Шатько

1

Я думал, что у моего отца, на восемьдесят шестом году жизни страдающего старческой депрессией, больше нет никаких желаний! У него же их было целых два: чтобы я привез ему глобус и чтобы его кремировали, когда он умрет. Зачем ему глобус? Не суть важно, главное, что ему хоть что-то нужно. “Ну а кремация — для этого еще точно слишком рано”, — сказал я очень уверенно, но пообещал ему и это.

Как только вернулся в Белград, я купил в “Неккермане” глобус и два одеяла, чтобы все-таки уговорить его выбросить рваное, прожженное и изъеденное молью одеяло, в котором больше дырок, чем шерсти. С тех пор как умерла мать, отец живет один, все больше и больше напоминая далеких предков человека. Одевается он в лохмотья, из обуви признает только стоптанные тапочки, а из столовых приборов — ложку и свои пальцы. “Я так хочу — и точка!” На все в доме и рядом, начиная с отцовских ногтей, похожих на когти дикого

© Mirjana Pavlović, 2012
© Евгения Шатько. Перевод, 2015

зверя, до покосившейся ограды, наклеено невидимое предупреждение: “Запущено! Не вмешиваться!” Я отдаю этому запрету дань уважения и все же, прикрывшись глобусом, предпринимаю попытку подложить и новые одеяла. Но отец, мне кажется, хочет от меня чего-то еще — быть для него отцом. И не каким-нибудь, а абсолютно безотказным родителем капризного чада. Он ждет, что по первому же его зову я тут же примчусь — это два с половиной часа на машине — и останусь хотя бы на день-два в его берлоге, а он будет считать себя вправе, если он не в настроении, не обмолвиться со мной ни словом, пока я здесь, или вообще меня не замечать.

Как только я поставил подарки на стол, он нетерпеливо разодрал упаковку и достал блестящий разноцветный шар. Долго, сквозь большую лупу, в тишине он рассматривал Юго-Восточную Европу, и я спокойно задремал на сломанном, стоявшем в столовой стуле. До обеда я работал, после — ехал, нос у меня был фиолетовый от повышенного давления — и, должно быть, во сне я видел свою кровать, когда в мой сон ворвался испуганный дрожащий голос отца:

— Где моя страна? Нет моей страны!

— Что?.. Вот она, Владимир.

Ногтем мизинца показываю ему светло-зеленую территорию нашей страны, которая теперь называется Сербия и Черногория (с конца Второй мировой войны до нынешнего времени это уже третье название, и отец, может, не знает в какой стране живет сейчас): номер 42.

— Нет названия!

— Оно не могло поместиться на половине квадратного сантиметра. Посмотри, и другие маленькие страны помечены только цифрами: Голландия, Бельгия, Швейцария... Если для тебя настолько важно название, я куплю тебе глобус побольше.

Отец потрясен, будто только сейчас, на его глазах, а не за десять лет до этого, Югославия распалась на пять маленьких стран, в чьи границы на относительно маленьком глобусе не может уместиться ничего длиннее двузначного номера.

— Безымянные ничтожества, — со стоном вздыхает он.

Он, кажется, не знает, что наша и без того уменьшенная страна вот-вот распадется на Сербию и Черногорию, но я не напоминаю ему об этом, а то еще расплачется. Кончиком ручки он тычет в разноцветные “ничтожества”, точнее — в числа 40, 43 и 44, за которыми скрываются бывшие югославские республики, темно-зеленая Словения, желтая Босния и Герцеговина и оранжевая Македония.

— Да на этом земном шаре нет даже места, где я родился!

— Как нет? Ты пропустил номер 41, Хорватию. В ней твоя Славонска Пожега.

Я сказал “твоя” Славонска Пожега, но только потому, что он там родился. Сам он никогда не говорил “моя”. Он даже не вспоминал о своем родном городе, будто еще во время Второй мировой войны, когда он без оглядки бежал из Хорватии в Сербию, припрятал этот город вместе со всем самым страшным и навсегда запечатал его. До этого усташи убили его отца, серба, на городской площади. Несмотря на то что после войны Сербия и Хорватия продолжали быть в составе общей страны, отец провел между ними свою личную государственную границу, которую никогда больше не пересечет, и даже шагу не сделает в своем родном городе. Дом и виноградник он продал через посредника, а роскошную семейную гробницу отдал на волю судьбе, когда услышал, что кто-то, убедившись, что она брошена и запущена, начал ее обирать и уже снял с нее мраморную плиту. Я не знаю, ни чьи все эти наслоившиеся и погребенные там кости, ни где разместились кости моего убитого деда, и я не знаю, знает ли об этом отец. Он не хотел говорить о вырванных из его прошлого страницах.

— А где здесь я? — он выдернул меня из раздумий.

Я не улыбнулся. Он был разочарован и подавлен, будто и правда ждал, что на глобусе размером с небольшой арбуз разглядит не только место, где родился и учился, но и нарисованного себя. А когда он повторил свой вопрос, отец выглядел таким растерянным, будто чудом вдруг смог охватить взглядом весь земной шар и увидел, как он, Владимир, превращается на нем в маленькую точку и исчезает. В третий раз он успел сказать только: “А где...” Я его перебил, потому что в моей затуманенной голове, что бы он ни спросил, был лишь один ответ: “ Ну а я где тут?”

— Папа, хватит придуриваться. Давай съедим что-нибудь и — спать.

— Я не придуриваюсь. Принеси мне из своей комнаты тот толстый фломастер.

Он повернул нашу прекрасную планету и сказал: “Я вот здесь”. И посреди голубого Тихого океана нарисовал отвратительную кляксу.

— Вот он я!

Меня это совсем не удивило, я даже в этот момент подумал, что мозги моего отца по-прежнему в полном порядке, несмотря на то что, когда он вытаращился на свою мазню, показался мне настоящим сумасшедшим. От этой кляксы меня пробрал озноб, мне нужно было срочно прийти в себя. Ко-

гда я попытался отобрать у него глобус, чтобы выбросить его в мусорное ведро, отец пихнул меня в голень. Если он продолжит в таком духе, то и я не выдержу. И на его черную кляксу прилеплю свою, и мы оба уйдем на дно Тихого океана. А там он выпьет всю мою кровь до последней капли. Не отдам. Не могу. Не стану!

2

Не отдам, не могу, не стану, ни за что, никогда — и я принял роль отца. Я решил, что, как любой здравомыслящий родитель, я буду и разрешать и отказывать, а мерилом моего поведения станет благополучие отца. Я хочу вытащить его из депрессии, но он, как еж, сворачивается в колючий клубок, а я танцую вокруг него, вдохновляясь то старыми, то новыми идеями, не зная, как ему помочь. Иногда бесплодно уповаю, вдруг он на что-то согласится, иногда готов задушить его голыми руками, потом снова на что-то надеюсь, полный сочувствия, но еще более подавленный, чем он сам. Я навещаю его, когда мне позволяет работа, и оплачиваю все, что только можно оплатить: парикмахера, чтобы тот брил и стриг его время от времени; одну женщину, чтобы та два раза в месяц приводила в порядок дом, и другую женщину, чтобы каждый день готовила обед, пила с ним кофе и, надеюсь, немного с ним разговаривала, чтобы у отца голос не заржавел. И каким-то соседским пьянчужкам плачу, чтобы покосили траву во дворе...

Недостаточно? Это все для него ничего не значит — а что может для него что-то значить? Я весь извелся от своих промахов и спросил, хотя лучше бы и не спрашивал: есть ли у него какие-то особые пожелания? Как он встрепенулся! Есть, есть, всего одно, ничего особенного. Я так обрадовался, что разинул рот и умолк. “Знаешь, что я хочу? Чтобы ты написал роман о моей жизни, — сказал он глубоким, торжественным голосом, — чтобы...” Я опять разинул рот, теперь уже по другой причине.

— Если ты этого не сделаешь, от меня и моей долгой жизни ничего не останется.

— Ничего? Если я тебя переживу, останусь я, экономист, который не умеет писать романы!

— Не говори глупости. Писать романы даже я смогу, я достаточно грамотный. Но правая рука у меня больше ни на что не годится, постоянно трясется. Я буду рассказывать тебе обо всем по порядку, от самого рождения, а ты записывай. Воспоминаний у меня хоть отбавляй. Получишь все на таре-

лочке, твое дело только занести это на бумагу, чтобы сохранилось.

— Ты знаешь, сколько мне понадобится времени, чтобы записать твою жизнь?

— Нет, не знаю. Но я не умру до того, как ты закончишь.

— Ты-то нет... Хм, я на эту работу ни одной минуты своей жизни не потрачу!

— Что же я за человек, если сын у меня вырос таким эгоистом?

— Я — эгоист? Я для тебя делаю больше, чем могу.

— Ты что-то сделал для человека, когда дал ему то, что ему нужно, а не то, что ты думаешь, ему нужно.

Ты что-то сделал для человека, когда... Веский аргумент, нельзя этого не признать. И все же: нет, я откажусь! Я должен это "откажусь" повторять, чтобы самого себя убедить и устоять. Вот я, наконец, и понял, в чем его нужно ограничить. И какая ему польза от того, что я буду мучиться со всем этим, а никакого романа все равно не получится? Но отец не привык отвечать на разумные вопросы. Его дело — требовать. Мое — согласиться или отказать.

Откажусь, откажусь! И я пожертвовал отцу не минуту, не час и не день. Только за первый месяц первого года "работы над романом" я отдал ему полных шестьдесят часов. Если бы я этого не сделал, отца, скорее всего, уже не было бы. После того как я сказал ему нет, отец наотрез отказался принимать пищу и стал таять прямо на глазах, хотя он и прежде был похож на постную шкварку. Когда же он получил то, что хотел, он прекратил забастовку и начал есть — больше, чем когда-либо. Я думаю, что в обозримом будущем он станет тяжелее меня.

По выходным отец рассказывает, а я записываю. По будням, приехав с работы и приняв горсть таблеток, я просматриваю записи, переношу их в компьютер, распечатываю. Разнородный материал множится: семейные диалоги, описания пейзажа, исторические факты, комментарии отца, цитаты из документов, заявления свидетелей о событии. Все вперемешку — его мысли о войне и рассказ о дедушкином концертном фортепиано, отрывки из чьего-то эссе о "сербо-хорватском вопросе" и тут же воспоминания о винограднике, черном псе Доне... В абсолютном беспорядке переплелись общие темы и рассказы о филигранных изделиях (каждый предмет мебели из орехового дерева занял около половины страницы). На сегодняшний момент все распихано по папкам, и я понятия не имею, сколько места какие события должны занять и чем они так ценны. Однако мне ясно, что еще не дошло дело до отцовского убитого отца, нет дяди, который отравился, когда у не-

го конфисковали аптеку, нет описания бóльшей части брошенного и разграбленного имущества. Как только мы подходим к этому, отец тут же возвращается к раннему детству, вспоминает что-то совершенно второстепенное о своих бабушках и дедушках, от них идет дальше до прабабок и прадедов и тут уже начинает просто выдумывать, потому что мало что о них знает.

Мы никогда не завершим эту работу. Когда же закончим — финальный продукт будет тем же, что и исходный материал, только еще толще и тяжелее — неудобоваримая объемистая книга. Я с самого начала догадывался, что так и будет, но знал, что ни разу об этом не пожалею. С момента, когда я принял решение исполнить волю отца, я был уверен, что таким образом смогу обрести до конца своих дней мир и спокойствие. И мне станет чуть радостнее на душе, как только вспомню, что я осчастливил своего незаконного, своего приемного ребенка — как и большинство людей, я люблю свое потомство таким, какое оно есть. Когда я сказал отцу, что мы скоро "начнем работу", он схватил мою бутылку "Кратошии" и наполнил вином свой любимый пластиковый бокал, чтобы выпить за это. Исхудавший и ослабевший, он от первых же глотков немного опьянел. Я не могу объяснить самому себе, почему сцена, которая последовала за этой, казалось бы ничем не примечательная, запечатлелась в моей памяти как нечто очень хорошее и навсегда осталась для меня записанной в настоящем времени.

Как только я выхожу на террасу, отец пробирается мимо меня и проходит через сноп солнечного света, пробивающийся через обожженные ветви виноградной лозы. Он босой и совершенно голый. Несет бокал, из которого выливается красное вино. Он заканчивает свой круг по улице, и я через открытые двери дома слежу за его медленными шажками в длинном, темном коридоре, за перемещениями от комнаты к комнате, исчезновениями и появлениями, а потом за его внезапным выходом на террасу, за тем, как он делает следующий круг... После полудня, где-то около трех часов, он ест. От жары я уже застыл на лавке, такой же неподвижный, как бетон подо мной. В моем затуманенном мозгу мелькает один из спутников Диониса, который "любит танцы и вино", отец мне кажется похожим на сатира — вероятно, из-за бокала, заостренных серых ушей, напоминающих рога, и этих маленьких ног, похожих на козлиные копыта. Как только он входит в сноп света и солнце его, голого, согревает, я замечаю, что он беззубо усмехается — кажется, он и протезы снял. И я тоже улыбаюсь.

Еще рано решать вопрос о кремации, которую я ему так легкомысленно обещал (там, где живет отец, нет крематория). И все же иногда я думаю о том, как буду чувствовать себя на этой кремации и что сделаю. Будет грусть, но — та грусть, которая не давит; она разольется во мне, прозрачная и чистая, без единого спазма, свинцового узла и темного шрама. А моими последними словами на проводах отца, могли бы стать эти: "Ты дал мне, Владимир, редкий шанс понять своего отца". А вспомнив, что прошедшая жизнь отца худо ли бедно записана, вероятно, смогу подшутить над своим собственным сыном: "Ты напишешь роман о моей жизни?" И он сразу согласится, сказав "Хорошо, давай, договорились", потому что даже не услышит, о чем я попросил. Он будет прокручивать в голове свои рабочие планы, заботы и подводить итоги, будто и все свои дела захватил с собой на кладбище, чтобы чего-то не упустить, если вдруг придет в голову.

Моему амбициозному сыну всего тридцать три года, а он уже невероятно успешный лысеющий бизнесмен с умеренной гипертонией. Он попал в жернова, которые перестают молоть еще до того, как обнаружится "злокачественная гипертония" и неизвестно только: будет ли это инфаркт сердца или головного мозга? Иногда мне кажется, что из этой дробилки доносится скрипучий голос отца: "Я так хочу — и точка". "Точка" сына еще тверже "точки" отца. Правда, он ничего от меня не требует, кроме невмешательства в его жизнь, он не жаждет, чтобы я составлял ему компанию, пока он делает то, что хочет, или, чтобы, упаси бог, я не написал о нем толстую книгу. Достаточно и того, что я соблюдаю дистанцию, которую он сам установил. А я отошел еще чуть дальше, потому что не хочу доставлять ему хлопоты. Я не могу ему помочь — могу ему только помешать. Даже когда у меня есть возможность поговорить с ним, я скорее чувствую, чем знаю: его нервирует, что я говорю медленно. А если он мне по телефону: сообщает: "Мы опять не успеем заскочить к вам, извини и передавай маме привет", я проглатываю застрявший в горле комок и после этого говорю ничего не выражающим голосом это многозначное "понимаю", которое может быть или по-отцовски великодушным, или по-солдатски покорным, или ироничным, и все три значения горше полыни.

3

В конце концов, мы распаковали все подарки и расставили их на столе, рядом с именинным тортом. Нет, это не я привез своему внуку глобус. Никогда бы не подумал, что что-то

подобное может его обрадовать. “Это планета, на которой мы живем”, — говорю я. Пока мой внук с любопытством крутит живописный шар, я пальцем показываю ему континенты, страны, океаны, моря, архипелаги. “Это Европа, а вот здесь наша страна... Это Средиземное море... Тут Африка... Слева Атлантический океан... Вот тут ниже — Южная Америка...”

Но этот ребенок, кажется, унаследовал от прадеда Владимира склонность к ошибочным выводам. Он заволновался. Держит глобус и, вместо того чтобы увидеть, насколько он на своем пятом году жизни больше Земли, уменьшенной в 70 ооо ооо раз, видит, что потерялся на этой Земле. Я мельтешу, мельтешу: “Здесь у нас, вот здесь у нас”, а он испуганно спрашивает:

— А где я?

Молчу. Потому что не собираюсь быть отцом и своему внуку, я даю возможность ответить сыну:

— Ты, Филип, здесь, за столом. Задуй свечки. Давай, сын, поторопись! Папе нужно назад на работу.

Драган Великич

Трактат о тишине

Перевод Ольги Панькиной

РАССКАЗЫВАТЬ, вообще-то, надо бы о том, что послышалось, подслушалось, едва услышалось. Из смешения звуков и шумов надо выделить то, что никто не слышит, никто не видит, никто не чувствует, нечто неслыханное, а потом рассказать об этом другим. Рассказ таится в неслышимом, невидимом и открывается только внимательному слуху.

Такой слух у меня есть. Я — всеслышащее ухо и всегда слышу, прекрасно слышу едва слышимое. Я всевидящее око. Не нужно ничего выдумывать, если обладать слухом и зрением, с помощью которых расшифровывают забытые языки, находят привидения в необозримых библиотеках или обнаруживают следы прикосновения на волглых стенах гостиничных номеров. Бесполезно пытаться воображением заменить отсутствие таких чувств.

Я прохожу сквозь пространство, сначала по вертикали, через разноголосицу звуков, и слышу дыхание моего спящего сына. Слышу потом, как этажом выше, над комнатой сына, кто-то водит пальцем по строчкам рассказа, который читает. Вижу, как ветер играет занавеской на окне квартиры под крышей. Ясно слышу, как птицы садятся на крышу. Я слышу движение облаков высоко над крышей, я слышу и вижу одно-

© Драган Великић, 2009
© Ольга Панькина. Перевод, 2015

временно, как это облако на востоке нависает дождем, слышу, как тает лед на какой-то планете, слышу абсолютную тишину Вселенной.

Я прохожу сквозь пространство, теперь по горизонтали, через разноголосицу звуков, не только слышу, но и вижу, будто через объектив в окне, как прохожий поправляет шарф, слышу, как падает свет на тротуар на соседней улице. Мои чувства теперь направлены к северу. Я слышу, вижу и ощущаю все больше, как в Венгрии, например, в доме, где я никогда не был, чьи-то ногти впиваются в постельное белье. Слышу последние звуки песни, которую поет лодочник на Волге, слышу, как в Астрахани спят ягнята, вижу, как через лес в Финляндии пробирается охотник, вот его ружье, патроны и тяжело дышащая собака. Я это ясно слышу. И еще слышу, как северный олень потерся о кору дерева.

Теперь я путешествую во времени через нагромождение шумов и слышу звук от падения тела Беккета на парижский тротуар, слышу, как ложится снег на крышу барака в Освенциме, хлопья касаются друг друга с нежным, мягким, почти неслышимым шелестом, я слышу, как Камилла Клодель проводит пальцами по коже Родена, слышу звук кисти Вермеера и скрип пера Монтеня, слышу, не напрягаясь, не прислушиваясь, слышу совершенно ясно, словно это раскат грома, как зудит волдырь на язве прокаженного, знаю, что он скоро лопнет, но я не задерживаюсь настолько, чтобы услышать, как он лопается, я отправляюсь дальше, слышу звук падения хлебных крошек, которые выплюнул Фома Аквинский, звук отвратительный, но Фома счастлив, он глупо улыбается, и я так же ясно слышу его смех, как слышу крик женщины во сне Нерона, ее крик Нерона не разбудил, я слышу его равномерное дыхание, слышу стук капель крови Цезаря, стекающей на пол Сената, но никто другой не слышит этого всплеска, это удивляет меня, звук громкий, отчетливый, он разносится по залу, смешиваясь, правда, с другими звуками, но, тем не менее, ясно различим, у его крови звук черного цвета, я слышу звуки сновидений Артемидора, слышу плач Диотимы, она плачет, потому что ее не позвали на пир, слышу бульканье отвара цикуты, текущего в теле Сократа, слышу его последний вздох и боль его последней мысли. Я слышу скрип кровати Спинозы.

Но вы ошибаетесь, если думаете, что от книг мои органы чувств притупились, что в пыли библиотек они потеряли свою способность ощущать окружающий мир, где все кипит от злобы, зависти и страха. Мне доступны даже котлы ада, их пламени не уничтожить архивы. Я прекрасно слышу и вижу

существа, которые, подобно насекомым, ползают по улицам. Следы копыт застыли в грязи. Герои избежали наказания за преступления, скрывшись под гарантирующими безопасность сводами поэм. Они прячутся под шкурами песен, которые пел слепой гусляр. Я узнаю след ходулей Вука Караджича.

И больше того. На грохочущих поездах, кораблях, санях я покоряю просторы всех семи континентов. Вбиваю металлический флагшток в лед Антарктиды, рассекаю клинком немое лицо Сфинкса, граблю сокровища инков, достаю полные амфоры из затонувших галер. Где-то в Сибири кровоточит сердце мамонта. Тело в белой мантии пахнет ванилью. Беззубые рты произносят благословение. Носилки исчезают в темноте катакомб.

Бетонный двор следственного изолятора покрыт следами, которые вижу только я. Правда, огромное здание сейчас используется по другому назначению. С окон исчезли решетки, некоторые стены снесены, камеры превратились в роскошные апартаменты, а на фасаде появились украшенные лепниной балконы. Следователь смыл кровь с белых перчаток. Но, несмотря на весь камуфляж, на искусственном газоне гостиничного ресторана пятна крови стали видны еще отчетливее. Официанты улыбаются. Они носят перчатки и галстуки-бабочки.

Коллекционные вина стоят на полках, как папки уголовных дел. Но стены остались, хоть их и снесли, вонь доносов не исчезает после стакана минеральной воды. Крики жертв все еще слышны преступникам. Манекен в витрине универмага узнает тюремного надзирателя, вышедшего на воскресную прогулку. Улыбка сына не смывает грехи отца.

Разумеется, можно исцелить совесть испарениями термальных вод, вытянуть усталое тело на лежаке на террасе гостиницы, скользнуть взглядом по белым горным вершинам. Но когда-нибудь, как известно, мы окажемся с глазу на глаз с тишиной, в которой запечатлен каждый след. Сосновая шишка упадет на хрустальную тропинку, твердое сердце, пахнущее смолой, покатится вниз по склону, превращаясь в большой белый ком. Потому что, и нам следует это знать, невидимая рука завела механизм шарманки, металлические зубцы задергали струны, время следователю исповедаться, неважно, при помощи чего он скрыл свое криминальное прошлое — стихов, мемуаров или щедрот своих покровителей.

До рассказа остается всего один шаг.

Осенние дожди сделали дороги непроходимыми. Колеса тонут в грязи, свист кнута раздается над крупом лошади, фо-

нарь качается на ветру. Мерцает огонек в стеклянной клетке. Удлиненные тени исчезают на краю рассказа. Связка ключей звенит в руке. Какой замок отпереть?

На лице убийцы выражение жертвы. Произнесенная дрожащим голосом исповедь каждым человеком воспринимается по-разному. Теперь, когда на полках библиотек растут ряды все новых книг, новых свидетельств, в качестве смягчающего обстоятельства выныривает трудное детство. Еще не все потеряно. Присяжные слушают с пониманием. В глазах подсудимого блестят слезы. Климат тогда был суровый, дороги засыпаны снегом, вой волков леденил кровь. Тень кинжала в ученической сумке путешествовала от деревенских школ до прокуренных кафе Парижа, Цюриха, Вены. Слова философа затерялись в сумерках еще одной цивилизации. Неожиданно выросли баррикады, угнетенные ринулись в бой. Осиротевшие стада бродили по холмам и долинам Аркадии. Пушки "Авроры" открыли огонь по мертвеющей ткани. С каждым упавшим на ступенях Адмиралтейства в Санкт-Петербурге гас еще один рассказ. Химическое оружие в лесах Галиции стерло знаки препинания в незаконченных биографиях. Без сомнения, следует когда-нибудь должным образом провести инвентаризацию костей. Перед этим надо переплавить золотые зубы, обручальные кольца и перстни в надежные слитки, в которых нет места для воспоминаний и свидетельств. Стереть следы крови, прибегая к соответствующим речам, орденам и памятникам.

Ключ открывает еще один замок, еще одну папку. Надо написать тонны книг, для того чтобы мог исповедаться каждый отчаявшийся человек, родившийся усталым, утомленным богатством награбленных подвалов. В ученической сумке нет и следа кинжала, только шуршащая фольга шоколадных конфет, сказки Андерсена, авторучка с золотым пером. Марципан на фарфоровом блюде, аромат померанцевого чая, витражи в окнах салона, цветочные духи гувернантки. Пока учитель музыки терпеливо ждет в прихожей, мальчик, все еще полусонный, медленно снимает шелковую пижаму. Всего десять лет отделяют его от последнего раздевания в холодном душе лагеря. Родинку на правой руке закроет последняя цифра вытатуированного лагерного номера.

Я возвращаюсь к себе, слушаю и слышу, как на стенках моих кровеносных сосудов скапливается холестерин, вижу движение камня в почке, слышу, как кислота разъедает стенки желудка, слышу, как волнуется сперма, спрашиваю себя, не проснется ли сын от этого звука, настолько он громкий, прислушиваюсь, успокаиваюсь, мой сын продолжает ровно ды-

шать, еще пара лет, забурлит и его сперма, откроется еще один архив, и записи предков начнут новый рассказ. Я слышу, как лопается капилляр у меня в глазу, этот звук тоже громкий, но он отличается от звука движения моей спермы. Все звуки разные, и я слышу их все. Я слышу звук моего слушания, прислушиваюсь к звуку моего мозга, его кора морщится, и это тоже ясно слышно, и это сморщивание, как рев восстания против всех звуков, которые я слышу и которые сводят меня с ума.

Я с пониманием отношусь к своему мозгу, ему, как и мне, нужна тишина, конечно, не та, абсолютная, божественная, в которой ничего не слышно, а тишина, в которой что-то едва слышится, тишина, в которой я мог бы услышать то, что никто никогда не слышал, о чем я бы мог потом написать рассказ. Но такой тишины не существует. Все звуки громкие, мир громыхает, в могилах веселье, призраки поют во весь голос, их я тоже слышу. И вообще, я слышу все, потому что все прекрасно слышно. И то, что слышу я, предполагаю, слышат и все остальные. Мне нечем их удивить, мне нечего сказать им такого, чего они еще не знают. Нет у меня рассказа.

Жанна Перковская

“Как воздух, вдыхаемый нами ежесекундно...”

“...Да, у поэзии есть свое место даже в современном циничном мире, иначе бы он не уцелел, не дожил бы до наших дней. Все дело в том, что в повседневной жизни поэзия остается незаметной — как воздух, вдыхаемый нами ежесекундно, или как здоровье, пока оно еще есть...”

Это слова из выступления Стевана Раичковича, выдающегося сербского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика, автора книг для детей, на церемонии вручения ему литературной премии в городе Жица (1999). По свидетельству современников, вся жизнь Стевана Раичковича протекала не параллельно его творчеству, а “внутри” него. Но если мы говорим о поэте настоящем, возможно ли иное? Способен ли человек, принесший в мир свой поэтический дар, проживать свою жизнь частным образом? Ведь то, что он переживает, по выражению другого сербского классика, Ивана В. Лалича, “перерастает его век и его бытие”.

Преемственность, ответственность за сохранение памяти о пройденном пути — это то, что осознается, наверное, всеми видными сербскими литераторами. И когда уходит один из них, его строки тут же фейерверком цитат вспыхивают в печатных и сетевых изданиях, сопровождаясь всплеском откликов коллег по перу и читателей. “Память позволяет поэту воссоздать мгновения пережитой радости, пробудить чувства, испытанные им в далеком прошлом. И тогда каждый из нас, будучи сам по себе обречен на одиночество, может ощутить причастность к общему наследию, почувствовать себя на мгновение частью огромного целого”, — так

© Жанна Перковская, 2015

писала об Иване В. Лаличе, поэте, прозаике, эссеисте, составителе и авторе переводов целого ряда поэтических антологий, британская газета “Индепендент”. Частью огромного целого, вероятно, почувствовал себя и сам Иван В. Лалич, когда его, в то время секретаря Союза писателей Югославии, взял с собой в качестве сопровождающего великий сербский прозаик Иво Андрич, отправляясь в 1961 году в Швецию за Нобелевской премией. Это был провидческий жест, не предусмотренный ни уставом, ни протоколом, — просто писатель, имя которого ныне у всех на слуху, уже тогда распознал в стихах “Бывшего мальчика” (такое название получил первый стихотворный сборник поэта) живую мелодию будущей сербской поэзии, разглядел задачу, определенную им для себя самого, — “достичь своей меры”, “оставить след”. Именно это стало для Лалича впоследствии критерием оценки творчества тех писателей, произведения которых он подвергал профессиональному критическому анализу.

Меняются времена, но вместе с ними меняется далеко не все. Существуют и константы.

Предлагаем вниманию читателей стихи двух классиков сербской поэзии XX столетия, чьи произведения “перерастают век и бытие” их авторов.

Жанна Перковская. “Как воздух, вдыхаемый нами ежесекундно...”

Стеван Раичкович

Стихи

Перевод Жанны Перковской

Б*алкон*

Закат.
Человек на балконе
смотрит в сизую дымку.
Рассеянно перебирает
предметы, попавшие в поле зрения,
и те, что стучатся в двери
дремлющего рассудка,
не проникая вглубь.
И вот он уже разделяет в сознании
темные пятна скошенных крыш
и квадраты тусклого света,
лимонная жизнь которых течет
в окнах слева
и справа.
Он вмещает в свою черепную коробку
урезанный силуэт кургузого дерева
и дым из трубы, который,
возносясь к мерцанию звезд, растворяется в воздухе.
Человек на балконе чувствует,
и даже вполне отчетливо,

© Стеван Раичкович
© Жанна Перковская. Перевод, 2015

какое-то шевеление
за непрозрачными стенками
коморок, только что запертых на ночь.
Он провожает взглядом за горизонт
полуночную птицу,
и много чего без счета и без числа
осязаемо, неудержимо
переливается
через край его памяти —
голове
уже не вместить всего,
и одиночество,
такое огромное для одного,
невыносимо.
Он смотрит с балкона,
и сизая дымка внизу открывает ему целый мир
забытых ассоциаций.
И все, что когда-то казалось несовместимым,
теперь — единое целое,
как будто невидимые мосты
связали все замыслы —
его и чьи-то еще.
И, воздевая руки —
единственные, других у него не было и не будет, —
человек порывается дать ответ
на загадку, которую время загадало этому городу
не сегодня и не вчера.
И вдруг вспоминает,
в крошечный промежуток между решением и
поступком,
о чем-то еще,
об Икаре, внезапно и выпукло
возникшем в мысленном взоре,
как круги на воде от камня,
и, сжав руками перила,
почувствовав холод металла,
человек отступает назад,
прислоняясь к стене, закрывает глаза
и хочет что-то сказать,
еще не написанное поэтами.

Незнакомка из дальнего прошлого

Смотрю теперь отсюда: двор, залитый светом,
забором обнесен высоким, и лишь птахи ранние
с высот зовут тебя на волю, в небо. Во дворе том,

давно знакомом мне, — ты замечталась... Я в бурьяне
засел, чтоб невидимкой быть с тобой. В разгаре лето.
Здесь, в сорняковой поросли, таюсь я, как бродяга;
кирпич стены крошится от малейшего касания.
Тебя ласкает солнце, и каких-нибудь три шага
нас разделяет: чувствую, как кровь моя шальная
по каплям иссякает, как уходит в почву влага.

Растет вокруг безмолвие: оно — прозрачный замок.
А я боюсь, что вдруг нарушится гармония —
падет созревший плод, раздастся скрип оконной
рамы...
Пусть все останется, как есть, и тихая симфония
стихов тебя окутает, неведомая дама.

На некой улице

Есть некая улица, и есть на ней человек —
он каждое утро в урочный час открывает
дверь, над которой осыпалась штукатурка,
и, затворив ее за собой суетливым движением,
удаляется прочь, при этом
у него на лице написано,
что это всего лишь чужая, случайная дверь,
за которой он лишь однажды,
заблудившись, остался на ночь.

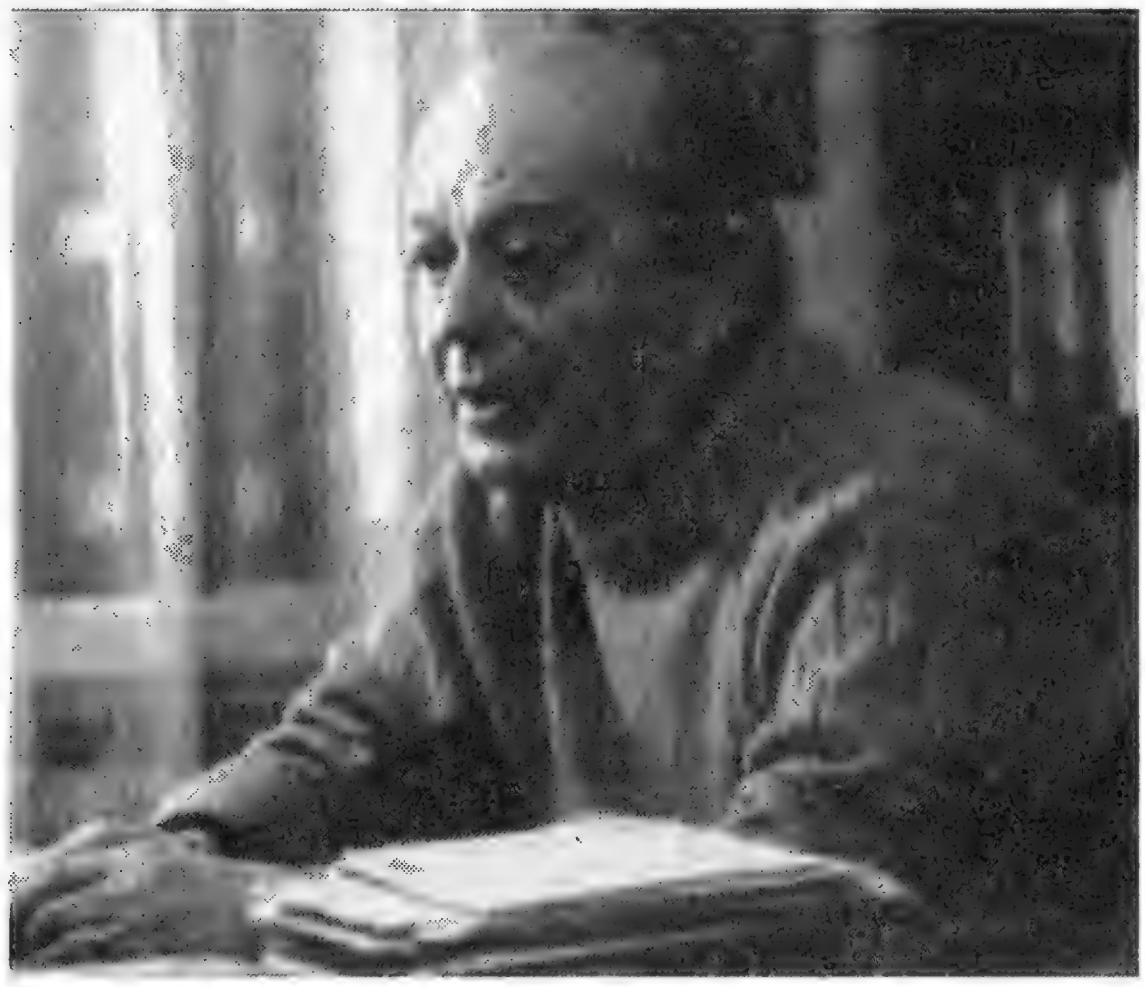
Иллюзия лета

И не надеялись уже, а вот: долой
одежду теплую, так солнце припекает!
Она в шкафу еще немного поскучает,
а мы опять попали в летний зной.

Как ласков день! Сверкает гладь реки
(вчера мы на нее с моста, в пальто
смотрели!). Впрочем, и сейчас никто
не хочет плавать наперегонки!
Леса редеют... Грезите о лете?
Пора по перестуку желудей
понять: в аллее набирает силу ветер...

И вновь с того же самого моста
мы видим дымчатую реку — ей
к лицу, пожалуй, эта вдовья красота.

Иван В. Лалич



Стихи

Перевод Жанны Перковской

То, что любовь сотворила

То, что любовь сотворила,
по свету рассыпано,
словно следы побоища,
и пробиваются травы
там, где гремели бои.
Влажное пламя земли
взвивается, чтобы страстью
вновь озарить добродетель,
как до памяти, до объятия,
голосов на заре, доносящихся
из едва приоткрытых губ.
То, что любовь сотворила,
спорно:
когда крошится стена,
когда разрастается сад,
когда стираются буквы,
лопается кольцо —
любви наносится рана;

© Иван В. Лалић
© Жанна Перковская. Перевод, 2015

но вслушайся в птичий крик
над заливом, где море
от влюбленных учится нежности.
Время неумолимо.
Мир наш вверен любви
и вечному тщанию
неповзрослевших богов.

Amor fati [1]

Слышу, как шепчут две липы у дома:
ты виноват, это ты посадил нас на северной
стороне косогора, чтобы мы удержали
фундамент твоей развалины — а лет уж прошло
немало;
теперь мы, подросшие, бережем твою кровлю,
истекая кровью июньского золота,
шелестим под дождем и ветром.
Ты виноват, теперь наши корни уходят
в бесплодную почву скупого на ласку города,
шепчут мне липы, и я отвечаю им шепотом:
ладно вам, ведь это даже неплохо —
несоразмерность, встреча причины со следствием;
благословляю вас, липы, а вы меня благословите,
перерастая мой век и мое бытиё.

1. Вера в судьбу (*лат.*). (*Прим. перев.*)

Стефан Лазаревич
Слово любви

Перевод Ольги Панькиной

Вступление Любинки Милинчич

Перевод вступления Василия Соколова

Это стихотворение сербского правителя Стефана Лазаревича, написанное в 1409 году, является одним из самых замечательных признаний в любви во всей сербской поэзии.

По непосредственности выражения, по высказанным чувствам, по тонкому лиризму, по свежести языка это стихотворение является шедевром нашей литературы. Все желаемое поэт передает исключительно намеками, поскольку он уверен, что его строки будут поняты. Однако сегодня мы не можем с уверенностью сказать, кому посвящено это произведение. Кто-то скажет — сестре Оливере, которую турки увезли в гарем султана Баязита; другие — что стихи посвящены невесте Елене, дочери Франциска II, которая из-за непрерывных войн три года ждала жениха на итальянском острове Митилени; третьи сочтут, что это приглашение к примирению двоюродному брату Джурдже Бранковичу, брату Вуку. Как бы то ни было, это стихотворение о любви, красоте и взаимопонимании, которое могло быть обращено и к одним, и к другим, и вообще к любому человеку, с которым надо установить дружеские отношения.

Поводом для написания стихотворения могла стать тяжелая политическая ситуация в Сербии того исторического периода, но в данном случае правитель Стефан выступает не как правитель, а как человек и поэт. Его послание — не просто предложение мира, но и воспевание красоты и любви. Красоту он видит в природе, в нравственности, в человеческом теле, красота природы изначальна, она рождает и красоту нравственную, а подлинная красота — это единство красоты природы и нравственности, с чего и начинается красота духовная. Красота природы стимулирует любовь, духовная же красота придает любви высокий смысл и величайшую ценность. И стих этот звучит как гимн красоте и любви, исполненный нравственной чистоты и гуманных устремлений.

© Стефан Лазаревић
© Ольга Панкина. Перевод, 2015
© Љубинка Милинћић. Вступление, 2015
© Василий Соколов. Перевод вступления, 2015

Впервые в средневековой сербской литературе поэт воспевает и чувственную любовь, что придает этому тексту необычность и свидетельствует, кроме того, и о знакомстве автора с воззрениями на жизнь, характерными для эпохи Возрождения. Новые европейские идеи уже стали проникать в отсталую, порабощенную Сербию.

Это послание любви говорит о Стефане Лазаревиче как о состоявшемся поэте. Строфичность, стремление сохранить деление стиха на ритмические единицы, использование так называемого десетераца — десятисложника, традиционного стихотворного размера, широко распространенного в устном народном творчестве, — все это свидетельствует о том, что автор был хорошо знаком с современными ему законами стихосложения. Но поэта не сковывают привычные схемы, обуревающие его чувства выливаются в строфы неодинакового размера, стих его свободен и естественен. Прекрасным доказательством его владения стихом стал и своеобразный акростих, тоже признак развитого стихосложения. Так что послание это и по своему содержанию, по эмоциям и по поэтическому мастерству бесспорно принадлежит к лучшим поэтическим произведениям сербской литературы.

Стефан Лазаревич (1374—1427), сын князя Лазара и княгини Милицы, правил Сербией в ее тяжелые времена, после гибели отца в Косовской битве, сначала как князь, а с 1402 года как деспот (высокий византийский титул, второй по важности после царя). Мудрый правитель и храбрый полководец, деспот Стефан превратил вассальное княжество Сербию, находящуюся на грани полной потери государственности, в богатую деспотию, страну, в которой процветали искусство и культура. Главную роль в укреплении деспотии сыграла успешно развивающаяся горнодобывающая отрасль, а именно — производство серебра. Город Ново Брдо в Косове, где находился главный рудник, в то время был крупнее Парижа. Сербия давала приют ученым монахам и людям искусства, бежавшим от турок, в ней развивалась литература, да и сам деспот, владевший несколькими языками, занял подобающее место в средневековой европейской литературе благодаря своему “Слову любви”, обращенному, скорее всего, к брату Вуку. Деспот Стефан Лазаревич выстроил монастырь Ресава (Манасия) — настоящий укрепленный город, ставший вершиной моравского стиля в архитектуре, а население провинциального пограничного городка Белграда при нем выросло в десять раз, и город превратился в современную, хорошо укрепленную европейскую столицу.

Стефан, деспот,
сладчайшему и любезнейшему,
от сердца моего неотделимому,
дважды и многажды желанному,
премудростью обильному,
царству моему верному
(имяреку)
шлю Господне лобзание
и вместе с тем милости нашей
неоскудевающий дар.

Лето и весну создал Господь,
как сказал псалмопевец,
и дал им красоты многие:
птиц быстрых вольный полет,
и гор вершины,
и лугов обширность,
и полей простор,
и воздуха тонкого
дивных волн излияние,
и земли дары
и благоуханных цветов и трав;
а уж человека
обновление и веселье
кто описать бы мог?

Однако все это
и другие чу́дные дела Божии,
которые самый острозоркий ум
не может обозреть,
любовь превосходит.
И это не странно,
ибо Бог и есть любовь,
как сказал Иоанн, сын грома.

В любви нет места обману.
Потому и Каин, любви чуждый,
сказал Авелю: “Пойдем в поле”.

Остро и быстротечно
действо любви,
всех добродетелей она выше.

Любовь вдохновенно воспел Давид,
сказав о ней: “Как миро на голове,
стекающее на бороду Ааронову,

и как роса Ермонская,
сходящая на горы Сионские".

Юноши и юницы,
для любви созревшие,
возлюбите любовь,
но чисто и непорочно,
блюдя целомудрие и девственность,
коими наша природа
соединяется с Божественной,
дабы Божество не вознегодовало.
Ибо сказал апостол:
"Не оскорбляйте Святого Духа Божия,
печатью которого вы отмечены
в день крещенья".

Были рядом мы, один близ другого,
и телом, и духом,
но что разлучило нас —
то ли горы, то ли реки.
Как сказал Давид: "Горы Гелвуйские!
Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас,
ибо не сохранили вы ни Саула,
ни Ионафана!"
Слушайте, слушайте, цари,
о беззлобии Давидовом!
Саула ли ты оплакиваешь,
о, Богом найденный?
Ибо нашел я, сказал Господь,
мужа по сердцу моему.

Ветры да столкнутся с реками,
и те да отступят,
как перед Моисеем море,
как перед Иисусом судьи,
как перед ковчегом Иордан.

И мы да пребудем вместе
и увидимся вновь,
соединившись любовью
во Христе, Боге нашем,
слава ему с Отцом
и Святым Духом
во веки веков,
АМИНЬ.

Юрий Лобачев
Когда Волга впадала в Саву

Фрагмент книги

Перевод Ольги Панькиной

ЛЕТНИЙ отпуск мы провели в Опатии. Истрия была разделена на две зоны. Для въезда в югославскую зону "А" было необходимо специальное разрешение, которое мы получили без труда. В городе, все еще сохранявшем свой предвоенный внешний вид и дух, мы провели три замечательных недели. Мы остановились в отеле, у которого был свой собственный пляж. Посетили и осмотрели Постойнские пещеры.

По возвращении в Белград мы сразу включились в повседневную жизнь: Лизин квартет много концертировал по всей стране, особенно в Сербии; я был занят в газетах "Глас", "Дуга", "Еж", в Союзе сербских сельскохозяйственных кооперативов; вновь стал делать рисунки для учебника, теперь уже для второго класса. Бора Глишич ушел из "Дуги" — думаю, потому, что ему отказали во вступлении в КПЮ. На его место пришел Таса Младенович. На нас, остальных сотрудниках газеты, это никак не отразилось. Сам Таса ничего менять не стал.

В 1946 году был принят закон, согласно которому каждый должен был определиться со своим подданством. В нашем случае, югославским или советским. Поскольку мы были лицами без гражданства и русскими по национальности, то мы с семьей решили принять советское. Еще давно, когда мы только узнали, что у нас будет ребенок, Лиза и я договорились: если родится девочка — то пусть станет гражданкой той страны, гражданином которой будет ее муж. У меня в семье были похожие истории: в начале века, когда мой отец служил в Шкодере, к нему в гости приехала его сестра Зинаида. И в это же время после учебы в Италии в Шкодер вернулся молодой врач, албанец, Паскаль Ашику. Они полюбили друг друга, через какое-то время тетя приняла католичество, вышла за

© Ђорђе Лобачев, 1997
© Ольга Панькина. Перевод, 2015

Паскаля замуж и стала гражданкой Албании. Две старшие дочери моей сестры вышли замуж за французов, стали француженками. Похожие истории случились почти со всеми русскими женщинами, вышедшими за югославов. Ну а если у нас будет мальчик? И тогда мы решили: он должен быть русским. И не русским эмигрантом, а настоящим русским. И вот теперь у нас появился шанс.

В "Голосе", как раньше в "Политике", мы встречались вечером и ждали, когда из типографии принесут первый оттиск. Как-то раз зашел разговор о моем гражданстве: какое из них принять.

Одни говорили:

— Но ведь ты же наш. Ты совершенно не знаешь Россию, то есть СССР.

Другие же твердили:

— А какая, в сущности, теперь разница — быть югославским или советским гражданином? И здесь и там одно и то же: мы строим социализм, идем к коммунизму, где не будет ни государств, ни национальностей.

А один товарищ из ЦК Сербии, по фамилии, как мне помнится, Прибичевич — он стал потом заместителем начальника Секретариата по иностранным делам — сказал:

— Я думаю, что тот, кто сегодня не хочет стать советским гражданином, не может быть хорошим гражданином Югославии.

Я говорю это не для того, чтобы вы подумали, что эти разговоры повлияли на наше решение, а, скорее, чтобы вы почувствовали тогдашнюю атмосферу и то, как люди понимали отношения между двумя дружественными странами.

Во всяком случае, мы все стали советскими гражданами: Лиза, ее брат Валериан и маленький Митя. Единственное, что изменилось в нашей жизни: мы начали посещать Русский дом. На торжественное открытие Дома пришел Влада Рибникар, в то время министр образования. Мы как будто бы приветливо поздоровались, но в нашей встрече — я, к сожалению, сразу же это почувствовал — не было той теплоты, которую я всегда ощущал, когда Влада Рибникар был директором "Политики", а я его сотрудником, художником. Я бы не сказал, что он изменил свое отношение ко мне, скорее он сам не знал, как держаться, — и, клянусь Богом, я тоже. Мне показалось, будто ему не в радость его новые обязанности. Когда я его увидел, он сидел один в вестибюле Дома. Мы обменялись несколькими словами, я сказал ему, что в программе принимает участие и Лиза со своим квартетом, а потом побежал, нашел директора Дома, сообщил ему, что министр

сидит один в холле, отвел директора Дома к товарищу Рибникару, познакомил их. Министра Рибникара торжественно усадили в первый ряд партера. Это был первый и последний раз, когда мы встретились после освобождения.

В сентябре Митя пошел в первый класс Пятой белградской гимназии, находившейся на улице Иво Лолы Рибара.

Летом 1947 года Лиза с квартетом отправилась в большое турне по всей стране, а я и Митя решили поплыть на корабле из Дубровника вдоль побережья до Риеки и потом доехать до Горски-Котара. Я был счастлив оттого, что таким образом Митя познакомится с этой частью страны, с одним из самых красивых морей, чудесным побережьем, великолепными островами, городами. Из Риеки мы поездом поехали в Фужине, там мы пробыли две недели, и туда же приехала после турне Лиза.

Все русские, не ушедшие с оккупантами, включились в работу по восстановлению страны, многие на своих прежних рабочих местах. Большинство приняло советское гражданство, но были и такие, кто еще раньше стали гражданами Югославии, ими они и остались. Русскую церковь теперь снова в субботу вечером и в воскресенье утром наполняли прихожане. Служил отец Виталий Тарасьев, отец покойного протоиерея Василия. Отец Владислав, его предшественник, который по неизвестным причинам был арестован ОЗНА[1] сразу после освобождения, – как, впрочем, и некоторые югославы и русские, – вскоре умер в тюрьме. По одной из версий, его расстреляли, по другой – он повесился в своей камере. В то время многие так погибали – неизвестно почему и за что. К сожалению, такие были времена.

Валериан и я добровольно взялись два раза в месяц менять выставки фотографий ТАСС в окнах дома Игуманова на Теразие. По случаю 110-летия со дня смерти Пушкина в Русском доме была организована большая выставка, ее подготовили члены ССП[2]. И каждую субботу ССП устраивал в Русском доме концерт и танцы. Выступали Павел Холодков, Лиза Попова, ее сын Каракаш, квартет Комарова, Соня Тишанская, студентка театральной академии, актеры-любители. Одним словом, культурная жизнь быстро обновлялась,

1. ОЗНА (Отдел защиты народа) – служба безопасности перед образованием и в первое время существования ФНРЮ, основана в 1944 г., в 1946 г. преобразована в Управление государственной безопасности. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. ССП (Союз советских патриотов) – просоветская антифашистская организация в Югославии.

как и по всей стране, чрезвычайно успешно развивалась киноиндустрия, это касалось как документальных, так и художественных фильмов.

Наш Митя стал горнистом в своем пионерском отряде. Он участвовал во многих фестивалях, сборах. В одном из номеров "Дуги" на первой странице был опубликован снимок Нидже Стокича – во время первомайского парада, под трибуной Маршала[1] стоят четыре пионера-горниста, среди них и Митя.

Но, увы, похоже, что в этом мире люди, вернее руководители государств, политики, не могут жить в мире. Хотя об этом громко не говорили, но все больше ощущалось ледяное дыхание "холодной войны". Впервые ее явственно почувствовали в выступлении Уинстона Черчилля еще в марте 1946 года в Фултоне, США. И в отношениях между ФНРЮ и СССР все чаще возникали трения. В качестве примера можно упомянуть хотя бы провал идеи создания федеративного союза Белград–Тирана–София или очень скромные успехи в организации смешанных советско-югославских хозяйственных объединений, они были созданы только в области речного и воздушного транспорта.

Но в стране в кружках политпросвещения все еще говорили о союзнических отношениях, о ведущей роли Советского Союза в строительстве социализма, изучался и "Краткий курс истории ВКП(б)". Все с тем же успехом выступал квартет Комарова, в кинотеатрах показывали советские фильмы, по радио передавали советскую музыку. Я все так же переводил репортажи, статьи, сообщения из советских газет.

Даже когда в начале 1948 года в наших отношениях стал намечаться кризис, когда в марте были отозваны все советские специалисты, когда появились письма ЦК ВКП(б) и ответы КПЮ, в кружках нам говорили, что это чисто партийные вопросы и что все разногласия будут быстро улажены. Но 28 июня в Бухаресте была опубликована резолюция Коминформа – Информационного бюро коммунистических и рабочих партий. А 21 июля открылся Пятый съезд КПЮ. Он закончился 27 июля. Стало ясно, что кризис гораздо серьезнее, чем мы предполагали.

Вскоре начались аресты членов КПЮ, голосовавших за резолюцию. Шепотом стали говорить о переполненных тюрьмах, о концентрационных лагерях, о пресловутом Голи Отоке – Голом острове.

1. Имеется в виду лидер Югославии Иосип Броз Тито.

Но и Валериан, и я по-прежнему делали свое дело, несмотря на то что атмосфера с каждым днем все более сгущалась. Квартет Комарова выступал все реже. Люди старались как можно меньше говорить о политике, не доверяя друг другу. Среди арестованных были и вчерашние высшие руководители, министры, генералы – Сретен Жуйович, Арса Йованович...

В 1949 году пропасть стала еще глубже и между бывшими союзниками – на Западе была создана военно-политическая организация НАТО, а вскоре после этого в качестве противовеса на Востоке Варшавский договор, – и в отношениях между СССР и ФНРЮ. Были арестованы почти все русские, которые до войны получили югославское гражданство, а в 1946 году приняли советское. Всем им было предъявлено одно и то же обвинение: измена. Большинство из них отправили на Голи Оток. Некоторые, как, например, Владимир Лебедев, врач, президент Союза советских патриотов, отбыл там полных восемь лет.

Были и совсем невероятные случаи: Нина Тумина, художница, сестра Зои Йоканович, была, как и ее муж, тоже художник, членом КПЮ. До войны оба они жили и работали в Скопье. Когда болгары оккупировали Македонию, мужа расстреляли, а она оказалась в болгарской тюрьме, где просидела всю войну в камере смертников с Цолой Драгойчевой, членом ЦК БРП(к). В сентябре 1944 года, когда после наступления Красной Армии к власти пришел Отечественный фронт, Нину освободили, и она вернулась в Югославию, а в 1946 году получила советское гражданство. Она была против той резолюции Коминформа – Информационного бюро коммунистических и рабочих партий. Но в ОЗНА сочли ее шпионкой, которую Советы хотели внедрить в ряды КПЮ. И бедную Нину снова посадили, на этот раз в Югославии. В результате она пробыла в тюрьмах целых 12 лет, вплоть до 1956 года, когда советско-югославские отношения нормализовались.

И вот пришел мой черед. В конце мая мне предстояло высказать свое отношение к той резолюции. И 3 июня 1949 года меня уволили. Причина: “Слишком громко разговаривает, тем самым мешает работе редакции”. Между прочим, у меня был отдельный кабинет. А через три дня, в понедельник 6 июня, я получил распоряжение – как “нежелательный элемент” я должен был в течение восьми дней покинуть страну вместе с семьей. Валериан был тогда в больнице – операция на среднем ухе, так что мы ждали только его.

В тот же день я пошел в советское консульство. Я счел, что нам необходимо получить визу для въезда в СССР. Но консул вдруг сначала куда-то ушел, наверное, чтобы с кем-то посовето-

ваться, потому что, как потом выяснилось, мой случай был первым в таком роде, а вернувшись, спросил меня, не соглашусь ли я стать своего рода "подопытным кроликом": чтобы посмотреть, что будут делать югославы, если нам не дадут визу? А за это время мы должны будем все упаковать и быть готовыми к немедленному отъезду. Я, конечно, согласился. Хотя, надо признать, без большого воодушевления, потому что мне было неясно, что из всего этого выйдет.

Новость о моей высылке, похоже, мгновенно распространилась по всему городу, так как на улице некоторые мои коллеги и знакомые перестали меня узнавать. Правда, не все, и таких было немало: Бора Глишич, все коллеги из первой "Дуги", Чубриловичи, Раевские, Лизин квартет... Ниджа Стокич пришел к нам домой, чтобы сделать фотографии для паспортов. В соответствии с законом, нам нужно было получить подтверждение, что мы не вывозим драгоценности и предметы, имеющие художественную ценность... Такую справку надо было получать во дворце княгини Любицы, забыл, как называлось это учреждение, в котором директором был мой друг по университету и "Политике", поэт Милорад Панич-Суреп. Сначала, зная, что он был членом КПЮ, и не желая его компрометировать, я обратился к чиновнику, чтобы он утвердил список вывозимых вещей. Пистолет я сам передал в консульство. Но когда Суреп узнал, что я приходил за справкой — а он должен был ее подписать, — он позвал меня, попросил принести кофе и сказал:

— То, что случилось, не должно мешать нашим личным отношениям. Это чисто политические вопросы. Мы можем только сожалеть, что настало такое время. Ты хотя и наш, но ты — русский. Я на твоем месте сделал бы то же самое!

Мы сердечно распрощались. В консульстве мы узнали, что, кроме нас, еще три семьи и трое одиночек, всего пятнадцать взрослых и детей, получили приказ выехать из страны: один бывший сотрудник смешанной советско-югославской авиационной фирмы с супругой, один агроном, который работал в имении бывшего премьер-министра Николы Узуновича, с женой и тремя детьми, работник Министерства транспорта с женой. Его в 1944 году ССП переправил из "Шуцкора"[1] к партизанам. Один инженер, один механик, у которого была небольшая мастерская где-то в провинции, один аферист, которого от суда спасла в 1941 году война, не-

1. Русский охранный корпус в составе Вермахта, сформированный из русских эмигрантов, воевавший против партизан Народно-освободительной армии Югославии во время Второй мировой войны.

задолго до нее выяснилось, что он держал на Саве, рядом с рестораном "Шесть тополей" и русским яхт-клубом, на обычной барже казино и небольшой бордель. В то время, да, по-моему, и после войны, он был связан с черным рынком, доставал некоторым советским представителям драгоценности, разные дефицитные товары. Как видите, эти пятнадцать человек были очень разными людьми, ничем между собой не связанными.

Все наши вещи были упакованы: несколько сундуков и чемоданов. Мебель – кое-что мы сумели продать соседям по дому, большую часть пришлось оставить. Душевное состояние, скажем так, – не самое лучшее.

Пришло 14 июня. На следующий день мы должны были покинуть страну. Но ведь мы – "подопытные кролики"... И когда наступил этот следующий день, в пять утра – звонок. Открываю. Двое в штатском:

– Приготовьтесь, вы пойдете с нами. Нет, ваша жена и сын пока остаются здесь. Я думаю, мы можем обойтись без наручников.

Я оделся, попрощался с Лизой, Митей, взял приготовленный сверток: мыло, зубная щетка и паста, полотенце, миска, ложка. Я знал, что бритву в тюрьму брать нельзя. Внизу ждала машина. Мы поехали по направлению к "Главняче"[1]. Сегодня этого здания больше нет. Там у меня забрали документы, бумажник, ремень, шнурки и отвели меня в подвал, в камеру размером 5×2,5 метра с маленьким зарешеченным окошком под потолком. Камера была переполнена. Как я потом узнал, все сплошь преступники: воры, мошенники, взломщики. Лежат в основном на газетах, разложенных прямо на бетоне. У некоторых есть нечто вроде подстилки, одеяла. Под окном камеры на толстом матрасе с парой подушек и одеял сидел крупный красивый мужчина средних лет с аккуратно подстриженными усами, он оценивающе осмотрел меня с головы до ног:

– Я вижу, вы не из наших. Кто вы и за что сюда попали?

Стоя у двери, я объяснил ему.

– А вы случайно не художник из "Политики"?

– Да, это я... точнее, был им.

Он посмотрел на остальных:

– Ну-ка, освободите место нашему гостю!

1. "Главняча" – неформальное название старого здания Белградской городской управы, в нем находилась также полиция и тюрьма, в которой содержались противники режима.

Приказ был немедленно выполнен, люди потеснились и освободили место, чтобы я мог лечь. “Начальник” дал мне одеяло:

— Возьмите, вы не привыкли к бетону!

Так или иначе, мне удалось устроиться.

— Расскажите, пожалуйста, что происходит в стране, в мире. Будет ли война?

Я начал издалека. Все слушали очень внимательно. Я понял, что человек, который умеет рассказывать, здесь ценится.

Дверь открылась, и появился охранник:

— Лобачев Джордже! — я взял свой сверток и встал.

— Вещи оставьте! — И он повел меня наверх. Там, за столом, двое в штатском:

— Садитесь! — Сначала, как всегда, общие вопросы. — Почему вы не выполнили приказ и не покинули страну?

— Потому что мне некуда было ехать.

— Вы обращались в какое-нибудь консульство?

— Нет.

— Почему? — Я молчу... — Ясно. Ваше консульство не выдало вам визу. Оставило вас и вашу семью в беде! — И охраннику: — Уведи его!

На лестнице я встретил Николая Страдецкого, того, кто был в Шуцкоре. Его вел охранник. Мы только посмотрели друг на друга. Значит, всех арестовали. Но что будет с нами дальше? Вышлют? Будут судить? Меня отвели в камеру. Я сел, рассказал “начальнику”, зачем меня вызывали, и продолжил свой “доклад” о политической ситуации в стране и мире. На обед нам дали “суп” — теплую воду, где плавали два кусочка картошки с листом капусты, и кусок хлеба. На ужин — то же самое.

Где-то около часу ночи меня снова вызвали. В кабинете следователь — я его узнал: он был политкомиссаром в Товарнике, где я был ранен. На столе лампа с сильным светом, направленная прямо мне в глаза.

— Вы во время оккупации делали антисоветские, антисталинские карикатуры. Вы признаетесь в этом?

— Не признаюсь!

— Жаль. Это было бы вам зачтено как смягчающее обстоятельство. У нас есть доказательства!

— Очень хорошо, в суде я не признаюсь, вы представите свои “доказательства” и сможете меня расстрелять, повесить, сделать все, что захотите.

Он оперся головой о руку и долго молчал. Посмотрел на меня:

— Ты ошибаешься. А мы правы. Все обвинения против нас, против нашей партии безосновательны, лживы!

— Все, что я знаю о политике, я узнал от вас. Вы мне говорили, что Сталин непогрешим. Если выяснится, что я не прав, у меня хватит мужества, чтобы признать это. И сделать из этого выводы.

Опять наступило долгое молчание. Он вынул пачку сигарет, отвернул лампу в сторону:

— Кури! — Мы молча курили. — На сегодня хватит. — Он нажал кнопку звонка.

Меня отвели обратно в камеру. "Начальник" не спал.

Я рассказал ему, что было.

— И вас не били, не пытали?

— Нет!

— Вам повезло.

В "Главняче" я пробыл три недели. Больше меня не допрашивали. Все это время я ничего не знал о своих: что с ними? где они?

О чем я только не рассказывал "соседям по комнате": об истории Югославии, и о Колумбе, и о Париже, о происхождении религии, пересказал им: "Дубровского", "Детей капитана Гранта"... А где-то приблизительно 25 июня за мной снова пришли:

— С вещами!

Я попрощался с "начальником", со своими "слушателями". Меня привели в тот же кабинет, в котором я был раньше. Привели еще шесть человек, раньше я их никогда не видел. Мы познакомились. Потом нас посадили в "марицу"[1]. Куда нас везут? Темно, ничего не видно. По звуку колес показалось, что мы ехали по какому-то мосту. Какому?

Земунская тюрьма. Нас распределили в две камеры, также переполненные. Но по сравнению с "Главнячей", здесь "санаторий". Во-первых, окно, хотя и зарешеченное, но довольно большое, его можно открыть, чтобы проветрить камеру. Во-вторых, на бетоне вдоль стен низкие дощатые нары. В-третьих, два раза в день двадцатиминутная прогулка во дворе, окруженном высокой стеной с колючей проволокой. В-четвертых, если охранник в хорошем расположении духа, он может выпустить в туалет вне определенного времени. Вообще-то, с туалетами и здесь то же самое: уборная на пять очков, а на полу слой экскрементов, смешанных с мочой. Как лезть в это? Пять кранов над длинным жестяным "умывальником",

1. Так назывался автомобиль для перевозки заключенных.

два не работают. Запускают туда на пять минут по 25 человек... Бритье раз в неделю.

В первую неделю мы получили от своих передачи: чистую одежду, хлеб, копченую грудинку, чеснок и лук, какие-то конфеты, сигареты, коробок спичек. На его внутренней стороне рукой Лизы написано: "У нас все хорошо. Мыслями с тобой". Слава Богу, с ними все в порядке. Передачи мы получали два раза в месяц. Конечно, все вскрыто, хлеб изрезан, коробки, пакеты открыты. Но зато или вышитые на вещах, или написанные под воротником рубашки, или же на коробке спичек несколько слов: "все нормально", "помним о тебе", "мы здоровы...".

Здесь почти все "политические". Большинство – интеллигенция. Говорят, что эта тюрьма – вроде пересыльной, где содержат до суда. Некоторые здесь с 1945 года. В среднем – около полугода. Курить разрешается только в коридоре перед камерой. Есть шахматы. Доска из куска картона, на котором нарисованы клетки, фигуры сделаны из хлеба. Устраиваются бесконечные турниры. Разговаривают мало, дни тянутся крайне медленно. Людям настолько тесно, что лечь часто настоящая проблема. Рядом со мной Коста Тимотиевич, Дудин брат. Они давно не общаются. Он был богатым, нигде не работал. Был заядлым игроком в покер. Про него ходили слухи, что он мог физически возбудиться, только когда наблюдал, как перед ним совокупляются другие. Для этого он нанимал молодые пары. Здесь сидит почти год. За что? На этот вопрос он не отвечал, только отворачивался и бранился:

– Всех к черту! Соврут – не дорого возьмут...

Каждый раз, когда открывали окно и устраивали сквозняк, чтобы быстрее проветрить комнату, он кричал:

– А ну, закрывай окно. Наплевать на гигиену, главное здоровье!

Агроном Филипенко целыми днями спал. В "суп", который нам давали, он крошил хлеб и делал из него жидкую тюрю, которую жадно ел, держа миску у самого рта. Ему было очень жалко имение Узуновича, где-то рядом с Нишем, в котором под его руководством все было в идеальном порядке, а теперь наверняка заросло сорняками. А может быть, его национализируют коммунисты. Тогда оно, без сомнения, пропадет. Но самое большое удивление у обитателей камеры вызывал инженер Калашников, который, как он мне рассказал, работал на строительстве дорог, но, несмотря на это, за почти четверть века не выучил сербский. Каждое утро он трижды крестился, а вечером становился на колени лицом к вос-

току и неслышно читал молитвы, кланялся до пола и размашисто крестился. После этого он ложился и сразу начинал храпеть.

О тюремном храпе наверняка можно было бы написать целую поэму. Сначала из-за него невозможно заснуть, но, в конце концов, и к нему привыкаешь. А какого только храпа нет?! Точнее — нет двух одинаковых храпов.

В земунской тюрьме мы оставались до конца июля. А потом, опять около полуночи, нас семерых подняли и с вещами затолкали в "марицу". Мы снова пытались понять, куда нас везут. Калашников сказал:

— Скоро нас выпустят на свободу. Я предлагаю нам всем возблагодарить Господа!

Из темноты раздался голос Страдецкого:

— Держи карман шире. Так нас и отпустили!..

Мы снова едем по мосту: значит, мы вернулись в Белград. Машина остановилась. Открывают дверь. Двор "Главнячи" освещен яркими фонарями. Нас привезли туда, где мы были после ареста. В комнате никого. Мы ждем. Прошло добрых четверть часа. Наконец, входят двое: один в штатском, другой — милиционер, в форме. Тот, который в штатском, подошел к сейфу, открыл его, достал толстую папку и начал перекличку. Каждому вернули документы, бумажники, все, что у нас забрали при аресте:

— Проверьте содержимое. Если все в порядке, распишитесь!

Неужели нас действительно отпустят на свободу?

Но почему ночью? Скорее всего, освободят?.. Гражданский и милиционер вышли. Мы снова ждем. За дверью слышны шаги милиционера. Молчим. Уже два часа ночи... Мы расселись — кто на стол, кто на стул, кто на подоконник зарешеченного окна. Курильщики курят, комната полна клубами дыма. Светает. Прошел еще час. Калашников и Скорик, аферист, заснули, сидя на стульях, храпят.

Наконец, в четыре опять открывается дверь:

— Выходите! — Во дворе "марица". — Залезайте!

Да, не слишком похоже на освобождение. Выходим. Кажется, опять едем по мосту... "марица" останавливается, вылезаем. И сразу видим — наши: Лиза, Митя, остальные. Объятия, поцелуи, слезы. Их привезли сюда полчаса назад, также на "марице". Но где мы? Осматриваемся: да, старый вокзал в Панчево. Так, значит, нас куда-то повезут. Но, по крайней мере, сейчас мы вместе. Локомотив притащил старый вагон третьего класса. Мы входим. С нами милиционер с автоматом. У некоторых из наших по два-три чемодана. У Лизы

только маленький чемоданчик-саквояж, у Мити сумка, в которой белье, полотенце, свитер, три бутерброда, печенье. Лиза хотела взять два чемодана, но ей сказали:

— Не надо, ваши вещи привезут позже!

На главной железнодорожной станции наш вагон прицепляют к какому-то поезду. И мы отправляемся. Поезд не спешит, останавливается почти у каждого столба. Мы проехали Ковачицу, Зренянин, Меленце, Банатско Милошево. Лизе хорошо знаком этот маршрут — сколько раз она тут ездила. И, наконец, около полудня — Кикинда. Нам пришлось подождать, пока выйдут все пассажиры.

Напротив железнодорожного вокзала в казалось бы обычном доме — пограничная милиция. Первый раз за три месяца мы смогли принять душ, по-настоящему помыться горячей водой с мылом. Всех нас разместили в одной большой комнате. Начали вызывать: и снова нас первых. Опять общие вопросы, проверка документов. Митя был вписан в удостоверение личности Лизы, то есть в ее "Вид на жительство" — личный документ советских граждан, постоянно проживающих за рубежом. "Вид..." был и у меня, и у всех, кто получил советское гражданство в 1946 году. У настоящих советских граждан был так называемый паспорт, его не следует путать с заграничным паспортом, который выдается при выезде за рубеж. Из примерно 70000 динаров, которые у нас были, нам отдали всего 6000. Нам вернули документы. Лизу отвела в соседнюю комнату женщина-милиционер, а потом в той же комнате меня и Митю тщательно, раздев догола, осмотрели. И вернули в общую комнату. Мы шепотом предупредили других, чтобы они спрятали деньги, потому что каждому оставляют только по 2000 динаров. Когда осмотр закончился, нас, мужчин, отвели в парикмахерскую, где мы могли, за свой счет, постричься и побриться. Мы собрали все, что у нас было из еды, чтобы перекусить. После десяти вечера нас отвели в привокзальный ресторан. Зал был пуст. Здесь мы поужинали, опять за свой счет.

На вокзале нет ни одной живой души. У перрона "наш" вагон. Мы вошли. У обеих дверей по пограничнику с автоматом. Разговаривать запрещено. Слабо светит одна маленькая лампочка. Вагон медленно движется сквозь ночь. Вдруг останавливается. Два пограничника выпрыгнули из вагона, и в тот же момент локомотив так дернул вагон, что мы все попадали. Потом вагон замедлил движение. Двери открылись. С автоматами наперевес — румынские пограничники в светлой желто-коричневой форме, выцветшей от солнца. На ногах гетры. Автоматы — советские. Что-то говорят по-румынски.

Мы – то по-русски, то по-сербски. Понять друг друга не можем. Вынимаем наш "Вид...", показываем на печати советский герб. Они, кажется, поняли. В это время вагон останавливается. Один пограничник вышел и стал подавать карманным фонариком какие-то знаки. Жестом показывает нам, что надо подождать. Мы не шевелимся. Я посмотрел на часы: 23.58. Через две минуты – полночь.

Послышался гудок локомотива, стук колес. Локомотив остановился. В вагон входит молодой офицер, судя по всему, лейтенант – на погонах одна звезда. Говорит по-сербски. Смотрит наши документы, слушает нашу историю. Он говорит, что это первый случай в его практике, но что теперь от "бандита-ревизиониста" можно всего ожидать. Приедете в Бухарест, пойдете в советское посольство. Там решат. Сейчас нас отвезут в Жимболию, пограничную станцию.

Значит, нас все-таки выслали...

Прощай, Белград!

Прощай, Югославия!..

Писатель путешествует

Йован Максимович
В *гостях у Толстого*

Перевод Василия Соколова

БЫЛО 4 мая 1909 года, пять часов пополудни. В имении Толстого в это время года все цветет, как у нас в мае или в середине апреля. То здесь то там на обочинах дорог или в оврагах, скрытых от солнечных лучей, все еще виднелся нерастаявший снег.

Миновав сельцо Ясная Поляна и попав в огромный парк, раскинувшийся вокруг дома Толстого, мы с Радивоем увидели множество цветов, подобных тем, что месяцем ранее можно в больших количествах наблюдать в сербских лесах. А когда мы въехали в имение, я увидел фиалки, лютики, гладиолусы, их у нас называют — "цветы братской крови". Мой Радивой не выдержал, выпрыгнул из коляски и начал рвать яснополянские цветы.

Охваченный неким приятным возбуждением, я тоже вышел из коляски и с наслаждением принялся рассматривать сочную весеннюю зелень, которая привольно раскинулась под кронами столетних сосен, высоких дубов и лип. С проезжей дороги я перебрался на тропу, ведущую в одну из широких, высоких и длинных аллей яснополянского парка. По этим тропинкам, над которыми шумят гигантские древние ели и мощные липы, прогуливается в минуты отдыха Толстой: здесь ему приходили в голову его великие мысли, разгоняющие мрак и тьму нашего времени.

Потом, после трех-четырех минут езды по аллее, мы добрались до его дома. В окне первого этажа молодая полная светловолосая женщина в очках, улыбаясь, смотрела на цветник перед домом, а другая женщина занималась рассадой. Дама в окне была младшей дочерью Толстого — Александрой.

Пока я рассчитывался с извозчиком, из дома вышел слуга в очках и в белых перчатках — черноволосый, сухощавый, и обратился ко мне с вопросом:

© Јован Максимовић
© Василий Соколов. Перевод, 2015

– К кому изволите?

– К доктору Маковицкому, Йован Максимович из Белграда, из Сербии.

– Подождите немного.

Через несколько мгновений из дома поспешно выходит крепко сбитый светловолосый мужчина средних лет с приветливой улыбкой на лице – врач Толстого Маковицкий, или, как его здесь все зовут, Душан Петрович.

– Я ждал, что вы заедете в Ясную Поляну, – говорит мне Маковицкий. – Среди славянских гостей, приехавших на гоголевский юбилей, я увидел и вашу фамилию, так что был уверен, что вы заглянете к нам. Добро пожаловать. Извольте пройти в дом.

Мы входим в дом. Доктор Маковицкий живет на первом этаже – в одной из тех комнат, которые служили Толстому рабочим кабинетом, когда он писал "Анну Каренину". Это те комнаты, в которых Репин создавал портрет Толстого. Толстой сидит за простым, грубым столом, подвернув под скамейку ногу, и пишет. Рядом в комнате – пила, лопата, сельскохозяйственные и сапожные инструменты.

Все тот же слуга приносит воду, мы смываем с рук и лиц вагонные пыль и копоть, он подает нам два свежих, очень длинных русских народных полотенца, похожих на те, что можно видеть в поповских домах сербской Бачки.

Когда я умылся и отряхнул с себя железнодорожную пыль, ко мне обратился любезный, всегда пребывающий в добром расположении духа Маковицкий:

– Не желаете ли быть представленными Льву Николаевичу?

По самому этому вопросу, по сердечной интонации, с которой он был произнесен, я понял, что моя просьба о приеме у Льва Толстого не будет ни неуместной, ни обременительной.

– Конечно же, прошу вас, – ответил я ему, приятно удивленный таким быстрым и легким решением вопроса, который до сего момента казался мне весьма сложным.

Я познакомился с доктором Маковицким, когда в дни австрийской оккупации Боснии и Герцеговины перевел и опубликовал брошюру Толстого "О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии". Мы с Маковицким по этому поводу обменялись письмами. Отправляя экземпляры брошюры в Ясную Поляну, я написал Толстому о впечатлении, которое произвел у нас его антивоенный и антигосударственный труд, и д-р Маковицкий ответил мне на это несколькими словами от имени Толстого. Я не сомневался, что Маковицкий,

поднявшись на второй этаж, чтобы доложить обо мне, сообщил, что я занимаюсь переводами произведений Толстого на сербский язык.

Две-три минуты спустя доктор возвращается и, сохраняя на своем лице, как всегда, радостное и одухотворенное выражение, сообщает мне:

— Лев Николаевич просит пожаловать.

Я поворачиваюсь к Радивою, который, где бы он ни появился, вечно выпрашивает гашеные почтовые марки и даже в комнате доктора — бывшем кабинете Толстого — уже обнаружил нечто для себя интересное. Полагая, что я предстану перед Толстым без него, велю ему:

— Ты, Радивой, оставайся здесь, сиди спокойно, я ненадолго.

— Нет, нет, — вмешивается Душан Петрович, — Лев Николаевич велел прийти и ему.

Выходим в просторную переднюю, через которую мы только что прошли, поднимаясь в дом со двора. В ней есть что-то от господского дома и в то же время что-то от крестьянско-господского. В нее попадаешь из парка, то есть из леса, фруктового сада, луга — и потому в ней невозможно поддерживать ту элегантность и чистоту, которая царит в остальных помещениях дома, у графини Толстой. Из передней мы поднимаемся по деревянной лестнице на второй этаж. (Мне кажется, будто весь дом деревянный.) Поднявшись, круто поворачиваем по коридору вправо. Входим в комнату, где я замечаю сначала только черный рояль, а около него, повернувшись к нам, стоит рослая дама, которая держится прямо, с достоинством, но сразу же вызывает к себе симпатию милым и ясным взглядом. Я тут же узнаю ее — это Софья Андреевна, жена Толстого. Подхожу к ней, здороваюсь, она, любезно улыбаясь, мягким движением руки указывает на широко открытые двери слева от меня. Я вхожу в них и оказываюсь перед Толстым, который стоит, а может, и делает шаг-другой в направлении дверей, в которые я вхожу. Все это время я не вижу ни сына, ни мебели в комнате, ни даже самого Толстого, а только ощущаю всем своим существом какую-то тихую, безграничную радость, подобную которой вряд ли когда-нибудь еще чувствовал в своей прежней жизни.

Шагаю навстречу Толстому и здороваюсь с ним.

— Мне очень приятно познакомиться с вами, извольте присесть, — произносит он старческим, неуверенным голосом, предупредительно указывая на место у старинного круглого, покрытого черным лаком стола, за которым он, похоже, только что работал.

Находясь под влиянием реформаторских работ Толстого последнего периода его творчества, свидетельствующих о необыкновенной силе, ясности, подвижности его духа, я, пытаясь вообразить физический облик Толстого, никогда не представлял себе старика, наоборот, мне всегда виделся крепкий, живой, сильный мужчина. В каждой строчке, в каждой его фразе ощущалась огромная духовная сила, и в полном соответствии с этим я воображал себе и его фигуру. И вот теперь я был просто поражен (я не могу сказать, что неприятно поражен, поскольку речь о Толстом, но мне стало почти жаль его), я увидел перед собой немощного старца, который и стоял, и шагал не совсем твердо, и слова произносил совершенно беззубым ртом.

Отзываюсь на приглашение Толстого и сажусь. Он тоже садится за стол, из-за которого он только что поднялся и который хранит следы его недавних трудов.

Размышляя по дороге о возможной встрече с Толстым, я, конечно, думал и над тем, о чем буду с ним говорить, с каким вопросом обращусь к нему — но теперь я начисто забыл о каких-либо заготовках. Сам Толстой, его любезность и сердечность, с которой он встретил меня и пригласил сесть, настраивали на обычную беседу с дорогим другом, с которым давно не виделись.

— Как ваше здоровье, Лев Николаевич? — спрашиваю я, вкладывая в этот вопрос всю свою любовь и безусловную преданность ему, которые лелею в себе уже четверть века.

— Как мое здоровье?.. Какое здоровье может быть у восьмидесятилетнего старика? Сегодня здоров, завтра болен... Жду освобождения...

Я хотел предстать перед ним как его поклонник и сторонник, полагающий, что всякому реформатору человеческой жизни приятно и необходимо слышать слова поощрения его общественной деятельности, и я сообщил Толстому, что принадлежу к числу тех, кто одобряет его отказ от сочинительства романов преимущественно эстетического направления (например, таких, как “Анна Каренина”), и то, что он посвятил себя делу гораздо более важному — разъяснению великой истины: что главное в жизни человека не удовлетворение потребностей тела, а его нравственное совершенствование и любовь ко всему живому. Любовь к Богу и к ближнему, которая одна только и способна дать человеку благо — счастье.

Толстой спокойно выслушал меня, и слова мои, похоже, затронули что-то важное и чувствительное в его духовной жизни, он спросил меня живо, весело, почти шутливо:

— Знаете ли вы, что такое наш русский балаган?

— Кажется, знаю. Это что-то вроде шатра, в котором веселится народ. То есть ярмарочный цирк, комедия, — ответил я.

— Да, да, именно так, — продолжил, улыбаясь, Толстой. — А представляете ли вы того циркача, что перед балаганом, одевшись в смешное пестрое платье, напялив на голову картонный бочонок, кривляется, вопит, трубит... Он кривляется и дурачится, чтобы привлечь как можно больше зрителей, заманить их внутрь, в шатер, чтобы именно там показать им то самое, настоящее... Нечто подобное есть и в моих прежних эстетических писаниях. Мои литературные труды тридцатилетней давности, "Анна Каренина" и тому подобное, похожи на вопли того циркача перед шатром... Хорошо, что я был таким художником, который своим эффектным поэтическим творчеством привлек обширную публику, она и потом оставалась со мной, а ко мне постепенно приходило понимание более важных вещей, о коих я стал говорить позже. Теперь, когда вокруг меня собрались слушатели, я не предлагаю им дворянских романов с присущими такой литературе атрибутами: влюбленности, туалеты, измены и так далее, но указываю им на то, что важнее всего на свете: напоминаю людям, что все они — дети одного Отца и что счастья в жизни могут достичь только в том случае, если будут следовать любви, этой главной заповеди Закона Божьего.

Я спросил Толстого:

— Правда ли, Лев Николаевич, как написал Бирюков в книге о вашей жизни, что в период ваших великих духовных перемен (1878–1881), когда вы писали "Исповедь", "В чем моя вера" и когда вы отошли от православия и церковного догматизма, вас в то время даже Фет-Шеншин стал избегать, даже он оставил вас?

— Боже сохрани! — почти взорвался доселе весьма мирный и тихий Толстой. — Фет все время продолжал искать моего общества, он очень гордился тем, что оставался со мной. — Говоря об этом, Толстой, я это точно помню, употребил еще и слово "заискивал", которое несколько мягче, но означает то же, что и наши слова "напрашиваться", "льстить"...

После описанного выше разговора Толстой неожиданно обратился ко мне с вопросом:

— А в каком направлении развивается духовная жизнь у вас, сербов? Знаете ли вы, что жизнь — это не только потребности тела. Жизнь имеет духовную (любящую) природу; знаете ли вы, что если жизнь направлена лишь на удовлетворение телесных желаний, то это проявление низшего вида любви. А наивысший вид любви в отречении от всех утех жизни, в служении всем людям. Знают ли ваши земляки вели-

кие евангельские слова: “Люби Бога и ближнего – и будешь жить”?

Я ответил ему:

– В этом смысле дела у нас обстоят плохо. Религия в высшем (духовном, активном) значении этого слова еще не стала действенным фактором нашей жизни... У нас, как и повсюду, существует ложная религиозность (“православие”), но она не в состоянии приучить людей к тому, что Бог есть любовь и что вера в Него – как вы говорите – требует от нас отказа от богатства, от собственности на землю, от роскоши, чинов, титулов, от карьеры – от всего, что нарушает братское единение людей...

Не помню точно, в этот ли момент или же в конце нашего разговора Толстой спросил меня, знаком ли я с верой и жизнью наших сербских назарян. Спросил, сколько их и растет ли их число.

Я ответил, что их в Сербии, вследствие полного и общего равнодушия к религиозным идеям, очень мало, несколько больше их среди сербов, проживающих в Венгрии, которая, собственно, и является родиной назарянства. Я рассказал ему, что лично знаком с многими нашими назарянами и они произвели на меня впечатление весьма развитых духовно, истинно религиозных, смелых людей. В их понимании христианства есть некоторые отличия от нашего понимания, но сущность Христова учения – Божий закон любви, непротивление злу насилием, всепрощение, смирение, неучастие в судилищах и отказ от службы в армии – они понимают правильно и живут в гармонии с великими Христовыми заветами. С удовольствием и с торжествующей улыбкой выслушал Толстой мой рассказ о белградском назарянине, бедном уличном зеленщике, дядюшке Тодоре Груиче, которого несколько раз арестовывали по требованию непримиримых белградских попов и предавали правительственному суду за то, что он почитал Закон Божий более, чем антихристианское мироустройство человеческое (суды, армия...), с которым смирилась современная государственная церковь. Однажды, когда некий судья во время процесса принялся угрожать ему и пугать жестоким наказанием, дядюшка Тодор посмотрел на него своими маленькими мудрыми насмешливыми глазами и, добродушно улыбаясь, произнес: “Неужели вы меня испугаете этим? Ваших мучений и каторги я не только не боюсь, но и с радостью приму их. То, чем вы грозите мне, 1900 лет тому назад сделали с моим Христом – чего же более мне желать? Чем страшнее муки – тем сильнее моя гордость!”

Толстой с огромным удовольствием, прямо-таки восторженным удовольствием, выслушал мой рассказ о храбром поведении дядюшки Тодора перед земными судиями. Когда много позже я прочитал его изданные письма, то увидел, что он во время моего визита, равно как и до, и после него, получал письма от своих друзей, религиозных сектантов — духоборцев или других истинно религиозных людей, пострадавших от земных властей за то же дело, что и наш дядюшка Тодор, и державшихся на суде так же, как и он. Из письма Толстого В. Молочникову мы видим, что тот держался на суде, как дядюшка Тодор. В письме, отправленном ему в тюрьму 6 июня 1908 года, Толстой писал: "Спасибо вам, милый Владимир, за ваше письмо мне... Помогай вам Бог, Тот, к[отор]ый в вас, жить Им и для Него и Его приемами. Вы это и делаете. Вот истинная свобода и истинное, несокрушимое могущество, п[отому] ч[то] не человеческое, а Божеское, когда человек говорит [судьям], как вы: 'Вы хотите посадить меня в тюрьму, сделайте одолжение, я сам этого именно и желаю'. 'Желаете высечь меня розгами, очень благодарен вам за внимание. Желаете повесить: в какую петлю прикажете всунуть голову?'"

Так Толстой писал своему "милому брату" Молочникову за неполный год до того, как я ему рассказал о белградском его товарище.

Теперь я понимаю, почему Толстой улыбался, радуясь и даже торжествуя, когда я донес до него весть о том, что "свет светит" и в далеком, но родном для него сербском мире, где некогда жили и преследовались богомилы, его братья по духу. Толстой всегда верил, и в могилу он сошел, будучи убежденным, что дело его неудержимо растет и продвигается, и часто повторял: "Редко какой день мой пройдет без радостных подтверждений, что огонь, который Христос принес на землю, разгорается все ярче и ярче".

Мое сообщение о сербских назарянах стало еще одним подтверждением того, что радость его была не напрасна.

Сербская литература на страницах "ИЛ"

1955

Чопич Бранко — *Хоровод козарский.* Стихотворение. Перевод Дм. Кедрина [1]

Из поэзии народов Югославии. Стихи. Переводы П. Э. [4]

Сремац Стеван — *Почтенный старец.* Рассказ. Перевод и вступление Е. Рябовой [5]

1956

Чосич Добрица — *Солнце далеко.* Роман. Перевод Т. Поповой и А. Романенко [1—3]

Из югославских поэтов [7]:

Костич Душан — *После всего.* Стихотворение. Перевод Н. Тихонова

Максимович Десанка — *Хлеб месят.* Стихотворение. Перевод Б. Слуцкого

Йованович-Змай Йован — *Стихотворения.* Перевод С. Маршака [10]

1957

Чопич Бранко — *Случаи из жизни Николетины Бурсача.* Рассказ. Перевод Е. Рябовой [3]

1958

Зогович Радован — *Хотя и не придут.* Стихотворение. Перевод Н. Тихонова [2]

Югославские рассказы [5]:

Исакович Антоние — *Ложка.* Перевод Ю. Брагина

1960

Из югославской поэзии [5]:

Зогович Радован — *Инструкция маслине. Сентиментальное путешествие.* Стихотворения. Перевод Бориса Слуцкого

Максимович Десанка — *Стихи.* Переводы Виктора Виноградова, Бориса Слуцкого, М. Ваксмахера, Веры Инбер

1964

Из современной югославской поэзии [10]:

Попа Васко — *"Если бы глаз твоих не было..." Стечак.* Стихотворения. Перевод М. Кудинова

1965

Оляча Младен — *Это было в Крагуеваце...* Рассказ. Послесловие Б. Слуцкого [5]

Джуранович Петар — *Мамаев курган.* Поэма. Перевод Якова Белинского [11]

Зогович Радован — *Владичин-хан.* Стихотворение. Перевод М. Николаева [12]

1966

Из современной югославской прозы. Перевод Александра Романенко [7]:

Андрич Иво — *Запертая дверь. Повесть о соли.* Рассказы

Вукович Чедо — *Предостережение.* Рассказ

Исакович Антоние — *Человек и дерево.* Рассказ

Кош Эрих — *Лодки.* Рассказ

Маркович Мирко — *Я знал Хемингуэя.* Перевод Александра Романенко [8]

Из современной югославской поэзии [10]:

Вешович Радоня — *Свеча на его могилу. Эскиз памятника храбрости.* Стихи. Перевод Якова Белинского

Раичкович Стеван — *Люди просыпаются без оружия.* Стихотворение. Перевод Юрия Левитанского

Младенович Танасие — *Время.* Перевод Якова Белинского. *Между листвою и мною...* Перевод Юрия Левитанского

Зогович Радован — *Из новой книги.* Переводы Леонида Мартынова, Бориса Слуцкого, Мориса Ваксмахера, Роберта Рождественского [12]

1967

Из югославской поэзии [10]:

Алечкович Мира — *Октябрьская сказка.* Перевод Валентина Корчагина

1968

Шчепанович Бранимир — *Рассказы.* Перевод Георгия Кофмана, Л. Иванова [9]

Зогович Радован — *Вера в людей.* Заметки писателя. Перевод Е. Рябовой [12]

1969

Селимович Меша — *Чужая земля.* Маленькая повесть. Перевод Александра Романенко [3]

Оляча Младен — *Моя мать.* Рассказ. Перевод А. Романенко [11]

Из югославской поэзии:

Лалич Иван В. — *Романс.* Стихотворение. Перевод Асара Эппеля [12]

1970

Из югославской поэзии [11]:

Александр Романенко — *Дороги времени*

Вукмирович Мирьяна — *Я под шапкой неба. Из книги дождя.* Стихи. Перевод Бориса Слуцкого

Милошевич Велимир — *Царь-колокол.* Стихотворение. Перевод Юрия Левитанского

1971

Из югославской прозы. Перевод Александра Романенко [12]:

Исакович Антоние — *Наш лисенок. Вверх и вниз.* Рассказы

Киш Данило — *Собака и мальчик.* Рассказ

1972

Надежда и память. Стихи поэтов Югославии. Вступление Владимира Огнева [7]:

Раичкович Стеван — *Стихи.* Перевод Александра Кушнера, Юрия Левитанского

Андрич Иво — *Знаки вдоль дороги.* Составление, предисловие и перевод Александра Романенко [10]

1973

Кош Эрих — *Рассказы.* Перевод Татьяны Вирты, Н. Вагаповой. Вступление Н. Вагаповой [6]

1975

Алечкович Мира — *Стихи.* Переводы Риммы Казаковой, Тамары Жирмунской, Юнны Мориц [1]

Еремич Драган М. — *Мысли и максимы.* Из книги *С лица и с изнанки.* Перевод Александра Романенко. Послесловие автора [8]

Из югославской прозы [11]:

Исакович Антоние — *Миг озарения.* Рассказ. Перевод О. Кутасовой

Лалич Михаило — *Арджан-озеро. Снег тает.* Рассказы. Перевод Александра Романенко

Миланков Момчило — *В плавнях.* Рассказ. Перевод Александра Романенко

Чопич Бранко — *Грустная песня. Военный корреспондент.* Рассказы. Перевод Александра Романенко

Максимович Десанка — *Стихи.* Перевод и вступление Маргариты Алигер [11]

1979

Кош Эрих — *Рассказы.* Перевод Т. Вирты [2]

1980

Лалич Михаило — *Праздник под землей.* Рассказ. Перевод Т. Вирты [5].

Андрич Иво — *Рассказы.* Перевод и вступление Александра Романенко [6]

Из югославской поэзии. Вступление и перевод М. Алигер [11]:

Попа Васко — *Стихотворения*

1981

Ковачевич Велько — *Бела.* Роман. Перевод В. Сахарова. Послесловие Ивана Стаднюка [6]

1984

К 40-летию освобождения Белграда. Перевод и вступление А. Романенко [10]:

Божович Саша — *Мой Белград*
Глигорич Велибор — *Книга в челюстях смерти*
Вешович Радоня — *Битва за Белград*
Андрич Иво — *Тот день*

1985

Блечич Михайло — *Последнее эхо.* Перевод Александра Данилова [5]
Селимович Меша — *Воспоминания.* Перевод Александра Романенко [11]

1987

Кош Эрих — *О сатире и сатириках.* Перевод и вступление Н. Яковлевой [1]

1988

Булатович Миодраг — *Самая большая тайна на свете.* Рассказ. Перевод Татьяны Вирты [4]
Булатович Влада — *Афоризмы.* Перевод Валентины Поляновой [11]
Чопич Бранко — *Фараон.* Рассказ. Перевод Росена Янкова [11]

1991

Павич Милорад — *Хазарский словарь.* Роман-лексикон в 100000 слов. Фрагменты. Перевод Л. Савельевой [3]
Капор Момо — *Книга жалоб.* Роман. Перевод и вступление И. Юферева [7]

1995

Андрич Иво — *Знаки вдоль дороги.* Фрагменты книги и очерк. Перевод и вступление Александра Романенко [5]
Киш Данило — *Энциклопедия мертвых.* Фрагменты книги. Перевод И. Юферева [5]
Павич Милорад — *Вечность и еще один день.* Меню для театрального ужина. Перевод Н. Вагаповой и Л. Савельевой. Вступление Ясмины Михайлович [7]

1997

Павич Милорад — *Шляпа из рыбьей чешуи.* Любовная история. Перевод Н. Вагаповой [1]

Петрович Горан — *Атлас, составленный небом.* Роман. Перевод Л. Савельевой. Вступление Милорада Павича [6]

Павич Милорад — *Последняя любовь в Константинополе.* Пособие по гаданию. Перевод Л. Савельевой [7]

1998

Михайлович Ясмина — *Три стола.* Рассказ. Перевод Натальи Вагаповой [4]

Павич Милорад — *Корсет.* Рассказ. Перевод Натальи Вагаповой [4]

Павич Милорад — *Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства?* Статья. Перевод Ларисы Савельевой [6]

1999

Павич Милорад — *Дамаскин.* Новелла для компьютера и плотничьего циркуля. *Стеклянная улитка.* Предрождественская повесть. Перевод Н. Вагаповой [10]

2000

Петрович Горан — *Рассказы.* Перевод Жанны Гилёвой [9]

2001

Великич Драган — *Белград.* Рассказ. Перевод Л. Савельевой [3]

2002

Михайлович Ясмина — *Завтрак у "Цитураса".* Рассказ. Перевод Ларисы Савельевой [2]

Павич Милорад — *Тунисская белая клетка в форме пагоды.* Рассказ. Перевод Ларисы Савельевой [2]

2003

Павич Милорад — *Кровать для троих. Краткая история человечества.* Интерактивный показ моделей одежды с пением и стрельбой. Белград, XX—XXI век. Перевод Ларисы Савельевой [3]

2004

Чосич Бора — *Словарь попа Теодора.* Перевод и послесловие Василия Соколова. Андрей Битов *Порядок слов* [3]

2005

Петрович Горан — *Киносеанс.* Рассказ. Перевод Ларисы Савельевой [10]

2006

Чосич Бора — *Катарина.* Фрагменты романа *Наставники.* Перевод и вступление Василия Соколова [10]

2007

Капор Момо — *Зеленое сукно Монтенегро. Повесть о Зуко Джумхуре и Осман-паше Сархоше.* Перевод Василия Соколова. Послесловие С. М. Иванова [9]

Огненович Вида — *Путешествие по Норвегии с ИсидоройСекулич.* Эссе. Перевод с сербского Н. Вагаповой [12]

2008

Павич Милорад — *Бумажный театр.* Фрагменты книги. Перевод Ларисы Савельевой. Вступление автора [7]

2010

Павич Милорад — *Избранник.* Рассказ. Перевод Василия Соколова. Послесловие Владимира Пиштало [6]

2012

Братич Радослав — *Ты куда, Моисей?* Рассказ. Перевод Василия Соколова [4]

2013

Чосич Бора — *Записная книжка Музиля.* Новая версия. Фрагменты. Вступление автора. Перевод Василия Соколова [4]

Попович Александр — *Чулок в сто петель.* Комедия абсурда. Перевод Ларисы Савельевой [6]

Ягличич Владимир — *Стихи.* Перевод и вступление Бахыта Кенжеева [8]

2014

Кецман Здравко — *Стихи из книги "Домашняя утварь".* Перевод и вступление Жанны Перковской [9]

Авторы номера

Любинка Милинчич
Љубинка Милинћић
Переводчик, журналист, редактор. Учредитель и главный редактор литературного журнала *Књиге*. Лауреат многих премий, в том числе премий *Милош Джурич* [высшая переводческая премия в Сербии], Йована Максимовича [за лучший перевод русской литературы], *Югра*, в номинации *Славянский перевод* — за лучшие литературные переводы славянских авторов и за популяризацию современной русской литературы в Сербии [2012].

Перевела более 40 книг русских писателей на сербский язык, в том числе таких, как — В. Набоков, А. Солженицын, Е. Евтушенко, Л. Улицкая, М. Шишкин, П. Басинский, Д. Быков. Автор нескольких книг о России *Лучшие произведения Сергея Есенина* [*Најлепше песме Сергеја Јесењина*, 2001], *Владимир Путин* [*Владимир Путин*, 2005], *Олигархи* [*Олигарси*, 2007], *Лица России* [*Лица Русије*, 2010], *Россия и Запад* [*Русија и Запад*, 2010], *Сибирь далекая и близкая* [*Сибир, далеки а близак*, 2011], *Романовы – дорога страданий* [*Романови – пут патње*, 2013; награда *Любомир Ненадович*].

Горан Петрович
Горан Петровић
[р. 1961]. Прозаик. Лауреат премий сербского журнала *НИН* и *Югра* [Россия, 2010].

Автор сборников рассказов *Советы для облегчения жизни* [*Савети за лакши живот*, 1989], *Остров и рассказы его окрестностей* [*Острво и околне приче*, 1996], романов *Осада церкви Святого Спаса* [*Опсада цркве Светог Спаса*, 1997], *Книга с местом для свиданий* [*Ситничарница "Код срећне руке"*, 2000], драмы *Паром* [*Скела*, 2004] и др. В *ИЛ* публиковался его роман *Атлас, составленный небом* [1997, № 6], рассказы из сборника *Народная книга* [2000, № 9] и рассказ *Киносеанс* [2005, № 10].
Перевод романа выполнен по рукописи.

Милена Марković
Милена Марковић
Драматург, поэт и сценарист. Лауреат литературных премий, в том числе и международных.

Автор около десятка пьес, в том числе *Павильоны, или Куда иду, откуда иду и что у меня есть на ужин* [*Павиљони или куда идем, одакле долазим и шта имам за вечеру*, 1998], *Бог на нас посмотрел* [*Бог нас погледао – шиша*, 2002], *Лес сияет* [*Шума блиста*, 2003], *Корабль для кукол* [*Брод за лутке*, 2005], которые были поставлены в театрах Сербии, а также Австрии, Словении и Македонии. По ее сценариям снято несколько художественных и документальных фильмов. Опубликовала четыре сборника стихов.
Публикуемая пьеса *Драконоубийцы. Героическое кабаре* [*Змајоубице – јуначки кабаре*] написана в 2014 г. по заказу Югославского драматического театра [Белград]. В этом же году осуществлена ее постановка.

Любомир Симович
Љубомир Симовић
[р. 1935]. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Член Сербской академии наук и искусств. Лауреат многих национальных премий.

Автор сборников стихов *Славянские элегии* [*Словенске елегије*, 1958], *До третьих петухов* [*Уочи трећих петлова*, 1972], *Суббота* [*Субота*, 1976], *Ум за морем* [*Ум за морем*, 1982], *Хлеб-соль* [*Хлеб и со*, 1985], *Игла и нить* [*Игла и конац*, 1992], *Ученье во тьме* [*Учење у мраку*, 1995], *Яичная скорлупа* [*Љуска од јајета*, 1998], *Точка* [*Тачка*, 2001], *Стихи* [*Песме*, 2005] и др. В 2008 году вышло собрание сочинение в 12-ти тт. Переводит русскую, английскую, польскую, итальянскую и румынскую поэзию.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Борислав Радович
Борислав Радовић
[р. 1935]. Поэт, эссеист, переводчик. Лауреат ряда престижных национальных премий.

Автор сборников *Поэтичности* [*Поетичности*, 1956], *Братство по бессоннице* [*Братство по несаници*, 1960], *Избранные стихи* [*Изабране песме*, 1979], *Стихи 1971–1982* [*Песме 1971–1982*, 1983], *Сорок два избранных стихотворения* [*Четрдесет две изабране песме*, 2007] и др. Опубликовал четыре сборника литературоведческих эссе. Переводил с французского П. Элюара, Ш. Бодлера, О. Бальзака.
Публикуемые стихи взяты из сборников *Избранные стихи 1954–1984* [*Изабране песме 1954–1984*, 1996] и *Стихи* [*Песме*, 2000].

Томислав Маринкович
Томислав Маринковић
[р. 1949]. Поэт. Член Союза писателей Сербии. Лауреат ряда национальных литературных премий.

Автор сборников *Двойник* [*Двојник*, 1983], *Известное время* [*Извесно време*, 1986], *Стихи* [*Стихови*, 1991], *Сомнения, обращенные к зеркалу* [*Сумње у огледало*, 1996], *Школа выживания* [*Школа трајања*, 2003], *Свет на коже* [*Свет на кожи*, 2007].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Гойко Божович
Гојко Божовић
[р. 1972]. Поэт, литературный критик, эссеист. Основатель и главный редактор издательского дома *Архипелаг* [2007]. Лауреат ряда национальных премий.

Автор сборников стихов *Подземный кинотеатр* [*Подземни биоскоп*, 1991], *Душа зверя* [*Душа звери*, 1993], *Стихи о вещах* [*Песме о стварима*, 1996], *Архипелаг* [*Архипелаг*, 2002], *Элементы* [*Елементи*, 2006], *Соседние божества* [*Оближња божанства*, 2012], а также сборников эссе *Поэзия во времени. О сербской поэзии второй половины XX века* [*Поезија у времену. О српској поезији*, 2000] и *Любимые места. Эссе о сербской поэзии* [*Места која волимо. Есеји о српској поезији*, 2009]. Составитель *Антологии новейшей сербской поэзии* [*Антологија новије српске поезије*, 2005] и антологии современной сербской краткой прозы *Мир вокруг нас* [*Свет око нас*, 2009].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Мирослав Максимович
Мирослав Максимовић
[р. 1946]. Поэт, филолог. Почти все выпущенные им сборники

Автор сборников *Стихи* [*Pesme*, 1978], *Спящий под пресс-папье* [*Спавач под упијачем*, 1971], *Менялы* [*Мењачи*, 1972], *Воспоминания одного служащего* [*Сећања једног службеника*, 1983], *Небо* [*Небо*, 1996], *Избранные стихи* [*Изабране песме*, 2000], *Белградские стихи* [*Београдске песме*, 2002], *77 сонетов о жизненных радостях и трудностях* [*77 сонета о*

отмечались литературными премиями.

животним радостима и тешкоћама, 2008], *Шепот дождя о свободе* [*Шапат кише о слободи*, 2009] и др. Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Давид Албахари
Давид Албахари
[р. 1948]. Романист, новеллист, переводчик, эссеист. Член Сербской академии наук и искусств. Лауреат премий *Золотой подсолнух*, журнала *НИН*, Иво Андрича и др.

Автор романов *Цинк* [*Цинк*, 1988], *Снежный человек* [*Снежни човек*, 1995], *Приманка* [*Мамац*, 1996], *Гец и Майер* [*Гец и Мајер*, 1998], *Пиявки* [*Пијавице*, 2006], *Дочь* [*ерка*, 2010], *Контрольный пункт* [*Контролни пункт*, 2011], сборников рассказов *Описание смерти* [*Опис смрти*, 1982], *Каждую ночь в другом городе* [*Сваке ноћи у другом граду*, 2008].
Рассказ *Тайное общество* [*Тајно друштво*] опубликован в сборнике *Упущенная возможность* [*Пропуштена прилика*. Вршац: КОВ, 1997].

Михайло Пантич
Михајло Пантић
[р. 1957]. Прозаик и литературный критик, преподаватель Белградского университета. Лауреат многих сербских литературных премий, в России награжден премией *Югра* [2012].

Автор сборников рассказов *Не могу вспомнить одну фразу* [*Не могу да се сетим једне реченице*, 1993], *Седьмой день северо-восточного ветра* [*Седми дан кошаве*, 1999], *Если это любовь* [*Ако је то љубав*, 2003; рус. перев. 2011], *На этот раз о боли* [*Овога пута о болу*, 2007]. Автор многих критических статей и исследований о современной прозе.
Публикуемый рассказ *Клуб замерзающих* [*Клуб зимогрожљивих*] взят из сборника *Хождение по облакам* [*Ходање по облацима*. Београд: Архипелаг, 2013].

Владимир Тасич
Владимир Тасић
[р. 1965]. Новеллист, романист, эссеист. Защитил докторскую диссертацию в Канаде, преподает в университете Нью-Брансуик. Лауреат премий журнала *НИН* и *Золотой подсолнух*. Живет в Канаде.

Автор романов *Прощальный подарок* [*Опроштајни дар*, 2001], *Дождь и бумага* [*Киша и хартија*, 2004], *Стеклянная стена* [*Стаклени зид*, 2008], сборников рассказов, в том числе *Радость потерпевшего кораблекрушение* [*Радост бродоломника*, 1997], сборника эссе *Математика и корни постмодернистской мысли* [*Математика и корени постмодерне мисли*, 2001].
Рассказ *Тайная история электронной музыки* [*Тајна историја електронске музике*] взят из сборника *Псевдонаука фантастика* [*Псеудологија фантастика*, Нови Сад: Матица српска, 1995].

Александар Тишма
Александар Тишма
[1924–2003]. Прозаик, романист и эссеист. Лауреат премии журнала *НИН*. Был членом Сербской академии наук и искусств и членом Берлинской академии искусств.

Автор романов *Книга о Бламе* [*Књига о Бламу*, 1972], *Употребление человека* [*Употреба човека*, 1976], *Капо* [*Капо*, 1987] и сборника рассказов *Школа безбожия* [*Школа безбожништва*, 1978].
Рассказ *Величайший знаток в мире* [*Највећи зналац на свету*] взят из книги *Антология Тишмы* [*Антологија Тишма*. Нови Сад: Прометеј, 2006].

Гордана Чирьянич
Гордана Ћирјанић
Поэтесса, романист, эссеист и переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий журнала *НИН*, Милоша Црнянского и др.

Автор романов *Дом в Пуэрто* [*Кућа у Пуэрту*, 2002], *Говорят, вечность длинная* [*Вечност је, кажу, дугачка*, 2005], *Поцелуй* [*Пољубац*, 2007], *То, чего всегда желаешь* [*Оно што одувек желиш*, 2010] и др., сборника рассказов, стихотворных книг *Госпожа с семью грехами* [*Госпођа са седам грехова*, 1983], *Горькая вода* [*Горка вода*, 1994], а также путевых записок *Письма из Испании* [*Писма из Шпаније*, 1995].
Публикуемый рассказ *Эрогенная зона* [*Ерогена зона*] взят из сборника *Каприччио и длинные рассказы* [*Каприци и друге приче*. Београд: Народна књига, 2009].

Милица Мичич-Димовска
Милица Мићић Димовска
[1947–2013]. Прозаик, переводчик, литературный критик. Лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Призраки* [*Утваре*, 1987], *Бельмо* [*Мрена*, 2002], сборника рассказов *Рассказы о женщине* [*Приче о жени*, 1972] и др.
Рассказ *У перекрестка* [*У процепу*] взят из одноименного сборника [Београд: Нолит, 1998].

Радован Бели-Марковић
Радован Бели-Марковић
[р. 1947]. Прозаик, журналист, редактор, библиотекарь. Лауреат одиннадцати национальных литературных премий.

Автор книг *Поджигатель и Тереза, прощения исполненная* [*Паликућа и Тереза милости пуна*, 1976], *Сетембрини в Колубаре* [*Сетембрини у Колубари*, 1996], *Лайковачская железная дорога* [*Лајковачка пруга*, 1997], *Последняя роза Колубары* [*Последња ружа Колубаре*, 2001], *Князь Мышкин в Белом Валево* [*Кнез Мишкин у Белом Ваљеву*, 2002] и др.
Рассказ *Возвращение Лазара Дражича* [*Повратак Лазара Дражића*] взят из сборника *Короткие рассказы* [*Мале приче*. Београд: Филип Вишњић, 1999].

Мирьяна Павлович
Mirjana Pavlović
Юрист, магистр экономики и преподаватель английского языка и литературы. Лауреат премии Иво Андрича и др.

Автор сборников рассказов *Общий знаменатель* [*Zajednički imenitelj*, 1976], *Зал ожидания* [*Čekaonica*, 1980], *Смертоловка* [*Smrtolovka*, 1986], *Суморески* [*Sumoreske*, 1995], *Зерно к зерну* [*Zrno zrnu*, 2002].
Рассказ *А где здесь я?* [*Gde sam ja*] взят из сборника *Трапеза без основного блюда* [*Trpeza bez glavnog jela*. Београд: Архипелаг, 2012].

Драган Великич
Драган Великић
[р. 1953]. Прозаик, журналист. Работал на радио, вел колонки в ведущих газетах и журналах. Был послом Сербии и

Автор романов *Via pula* [1988], *Каракуль* [*Астраган*, 1991], *Хамсин 51* [1993], *Северная стена* [*Северни зид*, 1995], *Площадь Данте* [*Дантеов трг*, 1997], *Дело "Бремен"* [*Случај Бремен*, 2001], *Досье Домашевского* [*Досије Домашевски*, 2003], *Русское окно* [*Руски прозор*, 2007], *Bonavia* [2012], сборников рассказов *Неверное движение* [*Погрешан покрет*, 1983],

Черногории в Вене. Лауреат премий Милоша Црнянского, журнала *НИН*, Меши Селимовича, стипендиат фонда Бориславa Пекича.

Оранжерея [*Стаклена башта*, 1985]. В *ИЛ* был опубликован его рассказ *Белград* [2001, № 3]. Перевод рассказа *Трактат о тишине* [*Трактат о тишини*] осуществлен по изданию *Белград и другие рассказы* [*Београд и друге приче*. Београд: Стубови културе, 2009].

Жанна Перковская

Переводчик со словенского, сербского, хорватского, македонского и польского языков.

Составитель и автор переводов *Антология словенской поэзии* [2008]. В ее переводе вышли книги М. Павича *Вывернутая рукавица* [2001, совместно с Е. В. Верижниковой], М. Ленарчича, словенского летчика, совершившего кругосветное путешествие на сверхлегком самолете, *Вокруг единого мира* [2012].

В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы стихи А. Ихана, А. Поповского, Ф. Прешерна, М. Есиха, С. Макарович, З. Кецмана и Т. Павчека, а также рассказы Г. Петровича и Андреевского [в соавторстве с Е. В. Верижниковой].

Стеван Раичкович

Стеван Раичкович [1928–2007]. Поэт, эссеист, прозаик, автор книг для детей. Действительный член Сербской академии наук и искусств. Удостоен ряда престижных премий Югославии.

Автор более двадцати поэтических книг, в том числе *Колыбельная камня* [*Камена успаванка*, 1963], *Идет корабль рекой* [*Пролази реком лађа*, 1967], *Случайные мемуары* [*Случајни мемоари*, 1978], *Дыба* [*Точак за мучење*, 1981], *Мир вокруг меня* [*Свет око мене*, 1988], *Стихи из дневника* [*Стихови из дневника*, 1990], а также ряда сборников эссе (преимущественно по теории стихосложения) и книг для молодежи. Переводил У. Шекспира, Ф. Петрарку. Отдельным сборником – *Семь русских поэтов* [*Седам руских песника*, 1974] – вышли его переводы стихов русских поэтов (А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, И. Бродский и др.). На русском языке его стихи печатались во многих антологиях. В *ИЛ* публиковались его стихи [1966, № 10; 1972, № 7].

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Иван В. Лалич

Иван В. Лалић [1931–1996]. Поэт, прозаик, эссеист, литературный критик. Переводчик с французского, немецкого, английского и венгерского языков. Удостоен ряда премий Югославии.

Автор поэтических книг *Бывший мальчик* [*Бивши дечак*, 1955], *Мелисса* [*Мелиса*, 1959], *Аргонавты и другие стихи* [*Аргонаути и друге песме*, 1961], *Время, костры, сады* [*Време, ватре, вртови*, 1961], *Помехи на линии* [*Сметње на везама*, 1975], *Византия* [*Византија*, 1987] и др. Составитель и переводчик ряда поэтических антологий и сборников, в том числе *Антологии новой французской лирики – от Бодлера до наших дней* [*Антологија новије француске лирике – од Бодлера до наших дана*, 1966]. В *ИЛ* публиковались его стихи [1969, № 12].

Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Стефан Лазаревич
Стефан Лазаревић [1374–1427]. Правитель Сербии с 1389 г. Второй и последний монарх из рода Лазаря. В 1403 г. перенес столицу Сербии в Белград. Считался одним из наиболее выдающихся воинов и военачальников своего времени.

Ему приписывают ряд литературных произведений.
Перевод стихотворения *Slovo ljubve* осуществлен по изданию *Деспот Стефан Лазаревич – литературные произведения* [*Деспот Стефан Лазаревић – Књижевни радови.* Београд: Српска књижевна задруга, 1979].

Юрий Лобачев
Ђорђе Лобачев [1909–2002]. Русский художник, основоположник жанра комикса в Югославии. Родился в Албании, где его отец служил русским консулом. В 1946 г. с женой и сыном принял советское гражданство. В 1949 г. в связи с конфликтом между Югославией и СССР был с семьей выслан из страны. В 1949 – 1955 гг. жил в Бухаресте. В ноябре 1955 г. переехал в СССР.

Автор книги воспоминаний *Когда Волга впадала в Саву: Роман моей жизни* [*Када се Волга уливала у Саву: Мој животни роман.* Београд: Просвета, 1997].
Перевод фрагмента книги осуществлен по этому изданию.

Йован Максимович
Јован Максимовић [1864–1955]. Переводчик, литературовед. Защитил докторскую диссертацию о творчестве Пушкина.

Опубликовал много работ о самых известных писателях-современниках. Переводил Достоевского, Толстого, Тургенева, Чехова, Горького, Куприна, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Крылова, Соловьева, Тютчева, Фета.
Публикуемый текст взят из *Сербского литературного журнала* [*Српски књижевни гласник*, 1912, № 28].

Переводчики

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Василий Николаевич Соколов
[р. 1946]. Литературовед, журналист, переводчик с сербского.

В его переводе опубликованы романы Б. Чосича *Роль семьи в мировой революции* и *За что боролись*, М. Капора *Подходящий день для смерти*. В *ИЛ* в его переводе напечатаны фрагменты книги *Наставники* [2004, № 3; 2006, № 10], фрагменты *Записных книжек Музиля* [2013, № 4] Б. Чосича, повесть М. Капора *Зеленое сукно Монтенегро* [2007, № 9], рассказ Р. Братича *Ты куда, Моисей?* [2012, № 4] и др.

Евгения Викторовна Шатько
Младший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Автор статей о творчестве М. Павича *Образы Кирилла и Мефодия в романе М. Павича "Хазарский словарь"* [Славянский альманах, 2011], *Параисторические мотивы в прозе М. Павича* [Славяноведение, 2013, № 3]. В *ИЛ* опубликована ее статья *Читать Павича — обманываться и верить...* [2013, № 4].

Ольга Викторовна Панькина
Поэт, переводчик. Лауреат премий *Хрустальное перо* [2010], *Золотое перо* [2011], имени Чехова [2011], Глигора Прличева [2011] и др., обладатель медали Блаже Конеского [2012].

Переводит в основном литературу южных славян.
В *ИЛ* в ее переводе публиковались рассказы македонских писателей [2013, № 3].

“ИЛ” в 2016 году

В Букеровском романе **“Жара и пыль”** американо-индийской писательницы РУТ ПРАЙВЕР ДЖАБВАЛЫ разворачиваются две любовные истории: первая – в колониальной Индии, другая – в Индии, обретшей независимость. Мы погружаемся в увлекательное параллельное повествование – авторское и дневниковое, – линии которого тесно переплетены: близкая нам по времени вторая героиня совершает путешествие в Индию, чтобы разузнать утаиваемую в семье историю бабушки, но там с ней самой происходит много неожиданного: “Индия всегда меняет людей, и я не исключение”, – признается она.

Повесть чилийского писателя ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА **“Гимн ангела с поджатой ногой”** – поэтичное описание одного дня тринадцатилетнего мальчика – можно назвать современным “романом воспитания”.

Избранные тексты из новой книги **“Мир идет...”** ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ – венгерского мастера апокалипсиса, продолжателя Гоголя и Мелвилла, по определению Сьюзен Сонтаг. В эссе и новеллах лауреата Международной Букеровской премии 2015 года отражено состояние мира, безнадежно блуждающего в трагическом лабиринте истории. И надежда, что выход из этого лабиринта все-таки должен быть.

Мексиканский писатель ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТЬЯ в своем романе **“Мертвые”** воспроизводит реальные события, рисует жизнь публичных домов в захолустных городках. Перед читателем раскрывается мир провинциальной Мексики, развращенный и лицемерный, с двойной моралью, где все имеет свою цену, даже женщины.

“Лжетрактат о манипуляции” АНЫ БЛАНДИАНЫ – очерки, написанные с блеском опытного колумниста. Как людьми манипулируют и как они сопротивляются или поддаются – на эту ось нанизано множество фактов, от которых румынская поэтесса АНА БЛАНДИАНА, не раз представлявшаяся в “ИЛ”, уходила в стихи и на которых росли ее фантазии в прозе.

В подборку малой прозы ГЕРМАНА ГЕССЕ вошли небольшие тексты разных жанров, написанные приобретающим популярность писателем в 1904–1908 годах, а также две более поздние притчи. Уже в ранних рассказах появляются важные для его творчества черты: автобиографизм, внимание к деталям, ясность композиции. ГЕССЕ обращается к излюбленным романтическим темам: странствия, поиски себя, противопоставление героя и мира.

Впервые на русском языке выйдут несколько рассказов из сборника **“Неоновая пустыня”** НЕЛЬСОНА ОЛГРЕНА, известного американского писателя, лауреата главной литературной премии Америки

“Национальная книжная премия”. Подобно нашему Горькому, Олгрен много скитался, повидал жизнь – и описал ее талантливо и бесхитростно в произведениях с криминальным сюжетом и живыми, списанными с жизни персонажами.

В рубрике “Ничего смешного” – стихи ТОМАСА ГУДА, одного из самых блестящих английских юмористов XIX столетия.

Три театральных монолога известного итальянского драматурга, эссеиста и критика КЛАУДИО МАГРИСА.

“Византия” болгарского прозаика НИКОЛАЯ ТАБАКОВА – современный исторический роман, в котором две линии – прошлое и настоящее – развиваются параллельно, чтобы соединить своих героев самым невероятным образом. Историческая линия относится ко времени императора Юстиниана, а современная расположена в актуальной плоскости “власть–деньги–СМИ”. Это книга – об истории и о современности, о Византии и современном мире, о вере и цинизме, о людях – былого и нынешнего времени.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. “Третьяковская”, “Новокузнецкая”);
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске “Москва” (ул. Арбат, д. 20);
в киоске “Лингвистика” (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине “Русское зарубежье” (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске “Книжные мастерские” (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине “Книжные мастерские” (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине “Все свободны” (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине “Мы” (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске “Книжные мастерские” (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине “В переплете” (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015г.
(взамен свидетельства
№ 066632 от 23.08.1999)

Подписано в печать
20.10.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1362.
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в
ОАО “Можайский полиграфический комбинат”.
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru,
www.ОАОМПК.рф
тел.: (495) 745-84-28,
(49638) 20-685
Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

В оформлении обложки использован фрагмент картины сербского художника Владимира Дунича [р. 1957] *Картина неба и земли.*

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

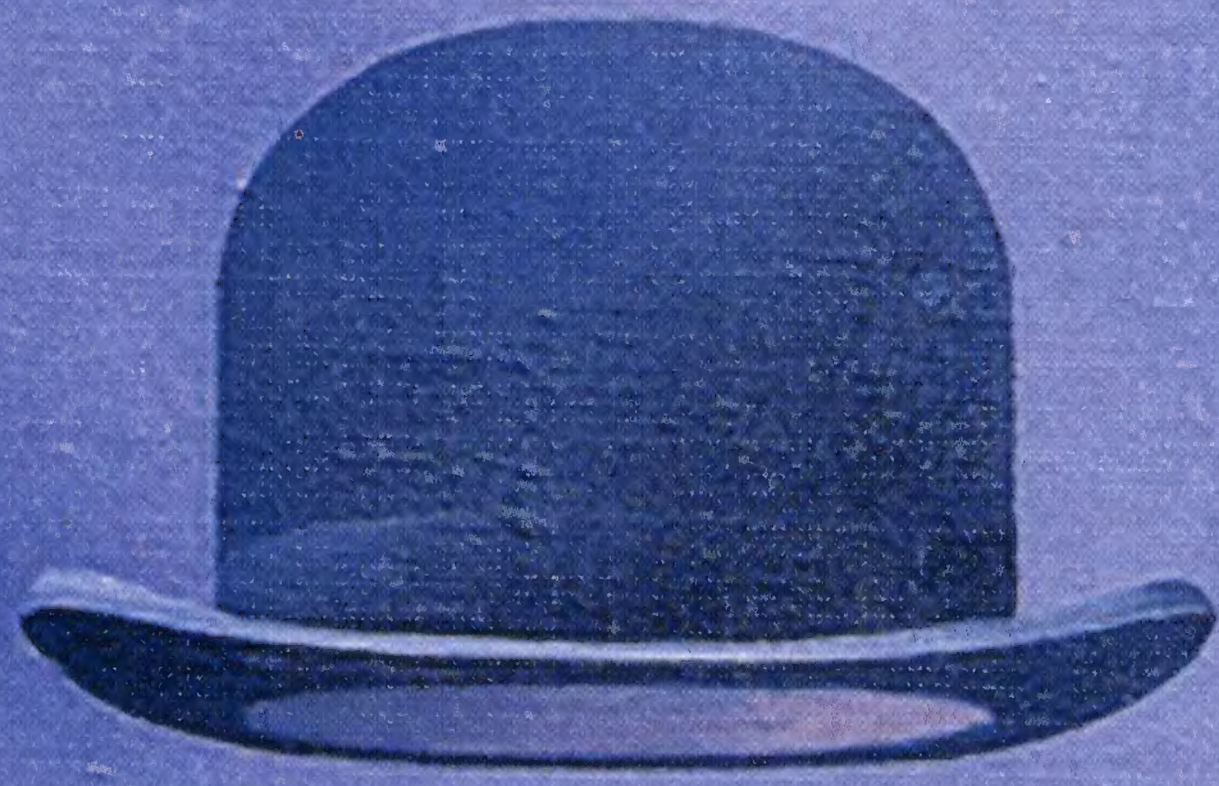
Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

[12] 2015

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР
“ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ...”
НАМ — ШЕСТЬДЕСЯТ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

ISSN 0130-6545 15011 >
9 770130 654770

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература” :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2015, №11, 1–288

ISSN 0130-6545